

1999

12

Октябрь

Октябрь

12 1999





# ОКТЯБЬ

НЕЗАВИСИМЫЙ  
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ  
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

# 12

# 1999

# ДЕКАБРЬ

В Н О М Е Р Е:

## ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

### НОВЫЕ ИМЕНА

- Тамара ОРЛОВА. **Муза**. Рассказ. \* Наниша НЕНЬТЬЕВА. **Белое поле**. Стихи. \* Аркадий ПАСТЕРНАК. **На деревню к дедушке**. Рассказ. \* Геннадий РУДНЕВ. **От снега до снега**. Стихи. \* Людмила МАКАРОВА. **Мармазетка**. Мартовская зарисовка. \* Михаил КОРОБОВ. **Дебильная сумка маде ин Джапен**. Рассказ. \* Леонид САКСОН. **Покинутые острова**. Стихи ..... **3**
- Павел КРУСАНОВ.  
**Укус ангела**. Роман ..... **41**
- Геннадий КРАСНИКОВ.  
**На декабрьском причале**. Стихи ..... **99**
- Светлана ВАСИЛЬЕВА.  
**Песнь странствий** ..... **102**
- Георгий ФЕРЕ.  
**Три разбойника с большой дороги**. Русская народная святочная сказка ..... **122**
- Феликс МЫСЛИЦКИЙ.  
**Три стихотворения** ..... **130**
- Нечаянные страницы***
- Лариса СЫСОЕВА.  
**Берлинские эпохалки**. Предисловие Евгения Попова .. **132**

## ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

Александр МЕЛИХОВ. Прививка невозможного .....	163
<i>Год как век</i> Рубрику ведет Евгений ПЕРЕМЫШЛЕВ .....	175

## ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Владимир БЕРЕЗИН. Всё нормально .....	178
<i>Мелочи жизни</i> Павел БАСИНСКИЙ. 100-летие конца века .....	184
<i>В несколько строк</i> Рубрику ведет Б. ФИЛЕВСКИЙ .....	186
Письмо в редакцию .....	188
Содержание журнала «Октябрь» за 1999 год .....	189

**Главный редактор**  
Анатолий АНАНЬЕВ

Ирина БАРМЕТОВА *заместитель гл. редактора*

### Редакция:

Инесса НАЗАРОВА	<i>отв. секретарь</i>
Алексей АНДРЕЕВ	<i>зав. отделом прозы</i>
Анна ВОЗДВИЖЕНСКАЯ	<i>зав. отделом критики</i>
Виталий ПУХАНОВ	<i>проза</i>

### Общественный совет:

Леонид Баткин, Юрий Буртин, Василь Быков, Алексей Варламов, Борис Васильев, Андрей Вознесенский, Игорь Волгин, Александр Гельман, Даниил Гранин, Юрий Карякин, Давид Кугультинов, Анатолий Курчаткин, Юнна Мориц, Анатолий Найман, Олег Павлов, Людмила Сараскина, Леонид Филатов, Юрий Черниченко, Родион Щедрин.

**Из общего тиража каждого номера институт «Открытое общество»  
выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России  
и ряда стран СНГ 3500 экземпляров журнала.**

Адрес редакции: 125124, Москва, А-124, ул. «Правды», 11/13.

Телефоны: главный редактор – 214-62-05, заместитель гл. редактора – 214-63-64,  
ответственный секретарь – 214-34-44, отдел прозы – 214-51-68, отдел поэзии –  
214-63-64, отдел критики – 214-71-34, отдел публицистики – 214-60-24.

Телефон для справок: 214-31-23.

© «Октябрь». 1999. Электронная версия журнала [www.infoart.ru/magazine/October](http://www.infoart.ru/magazine/October)

При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.

Редакция не имеет возможности  
рецензировать рукописи и возвращать их по почте.

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь».

Регистрационное свидетельство № 1 от 14 августа 1990 г.

Технический редактор Т. С. Трошина.

Сдано в набор 28.10.99. Подписано к печати 22.11.99. Формат 70x108<sup>1/16</sup>.  
Офсетная печать. Усл. печ. л. 16,80. Усл. кр.-отт. 17,50. Учетно-изд. л. 21,61.  
Тираж 8430 экз. Заказ № 2584. Цена 24 руб.

ОАО «Производственное объединение «Пресса-1».  
125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

# Н о в ы е и м е н а

Тамара ОРЛОВА

---

## МУЗА

РАССКАЗ

В детстве и отрочестве Хаскель производил впечатление вполне обычного еврейского мальчика, не без странностей, но как, впрочем, и многие другие. Ему, например, нравился скрип: мела по школьной доске (его Хася любил грызть, соскребая слой за слоем, тогда скрип приобретал еще и вкус, полезный, как выяснилось позднее, для Хасиного здоровья) и еще натужный или визгливый — от тормозов автомобиля. Особенно нравился — от дверцы кремового, с гирляндами деревянных роз и пятнистыми от времени зеркалами бабушкиного шкафа, куда она клала и его вещи тоже. И еще — скрип пружинного матраса на пахнувшей по-стариковски даче.

Были у Хаси и другие, побочные странности, но те рано или поздно проходили, как проходят детские неудобства и подростковые заблуждения с увеличением размера обуви и первым обращением на «вы». Из прежних у Хаси на всю жизнь осталась привычка, сидя за столом, раскачиваться на задних ножках стула, отчего стулья под гостями приглушенно вскрикивали, forte или piano, в зависимости от веса и темперамента сажающегося. А то и вовсе рассыпались с восхитительно ломким трезвучием под нелепо вскинувшимся и все же не успевшим встать человеком.

В таких случаях родители и гость взаимно извинялись, никак не подозревая злого умысла, даже если за несколько минут до события Хасе выговаривалось, что он может опрокинуть, балансируя, стол или уронить вазочку с вареньем на чистую скатерть. Обломки складывались в конец сумеречного коридора, гости шли за табуретками на кухню, а Хася спокойно продолжал доканывать очередной стул, стараясь по скрипу определить, под кем и каким причудливым образом он сломается.

Хаскель вообще был очень музыкальным мальчиком, что неудивительно — в семье музыкой занимались долго и успешно. Покойный дедушка был замечательный виртуоз, остальные родственники так или иначе известны широкому кругу профессионалов и ценителей (который, собственно, из них же и состоял), папа с мамой придумали и вели мистико-музыкальные вечера со свечами в бронзовых канделябрах и темно-малинового плюша портьерами. Словом, Хасе оставалось только выбрать инструмент.

Разумеется, лет с пяти он играл несложные пьески на старом кабинетном «Petrov'e», бормотал на клавишах собственные немудреные сочинения и учился музыкальной грамоте. Но рояль почему-то не волновал, его фигура и голос были привычны и обязательны с детских лет, как манная каша, как громоздкий, с цветными окошками витражей буфет в гостиной, как бабушкины контрольные рулады за стряпней, как, наконец, привычны шум и вид водопада живущему рядом дикарю. Слишком простая клавиатура и легкость обращения с ней

обесценивали инструмент, лишали его тайны, к тому же в нем ничего, кроме правой педали, не скрипело. А может, Хася слегка в этом смысле отупел и оглох, чуть не с пеленок воспринимая глубокие фортепьянные волнения.

Как ни странно, смычковые также оставили его равнодушным, хотя он и закончил класс по-женски полнозвучной виолончели. Однако никто не беспокоился — у мальчика был абсолютный слух, несмертельная доля гениальной расseyанности и множество вполне заурядных для каждого возраста дел и развлечений. Правда, некоторые опасения стали возникать у бабушки (которую вообще-то так никто не звал, даже внуки, настолько ей не шло, просто Мура, Мурочка), когда она заметила, что Хася вместе со своей троюродной (приблизительно) сестрой зачастил на балеты.

Чайковский и Минкус для настоящего музыканта не бог весть что, тем более Щедрин, а сам балет приятен иногда, под настроение и не каждую неделю, когда весь год подряд одно и то же. Мура все это рассудила на спектакле в Большом, куда ее пригласил по случаю юбилея старинный приятель и известный дирижер и где она встретила немного странного Хасю, поймав его за рукав, настолько он был сомнамбулически заторможен и невнимателен. Остановившись, он, казалось, не знал, что делать со своими руками и тем более ногами, они его тяготили, и Хаскель попытался составить из них устойчивую композицию, в процессе чего наступил на бархатную туфлю Муриной приятельницы, предусмотрительно державшейся от них несколько в стороне. Ничего ужасного, конечно, не произошло, многие временами забывают, как произносится то или иное слово, или начинают тяготиться каким-нибудь жестом, определенным положением тела в постели, но с ума сходят не все, в его-то юные годы. На всякий случай Мура попросила под благовидным предлогом больше не давать Хасе контрамарок.

Танцором, как щемяще больно и трепетно, до судорог в нервных икрах, мечталось Хаскелю в юности, он, разумеется, не стал, а стал дирижером камерного оркестра. Решилось это вполне закономерно: он любил и слышал одинаково хорошо все инструменты, умел читать композиторов по-своему, к тому же его поразили, даже ранили произнесенные в их гостиной одним случайным человеком слова об особенностях названной профессии. Этот человек, судя по всему литератор, сидя за круглым столом под крапчатым тканевым абажуром, рассматривал чайные подтеки на внешней стороне фарфоровой чашки и говорил, словно обращаясь за разъяснением к специалистам, невозможные вещи. Казалось, он хотел, чтобы его разубедили, но в то же время утверждал свое насмешливо-увлеченно, и спорить с ним никому не хотелось.

Он говорил:

«Удивительно, что такое дирижер... на мой взгляд непосвященного любителя. Каждый играет на своем инструменте, играет по нотам, написанным зачастую композитором несколько десятилетий, а то и столетий назад...»

Настоящий музыкант — а я говорю о настоящих — знает технику в совершенстве и следует наставлениям с листа, там все написано, кто за кем и где какая пауза. В конце концов он слышит свою тему, помнит едва ли не наизусть...

А перед ним стоит человек, который, вы меня простите, судорожно размахивает руками, строит за четверть доли с десятков различных гримас, трясет злобно головой. И его именем называют весь оркестр!.. М-да. Может, я ошибаюсь, но если музыкант увлечен произведением, он же не мастеровой, ему присуще — или в оркестре необязательно? — вдохновение, то ему элементарно некогда смотреть на этого лицедея...

А между тем многим кажется, что это именно дирижер, строгий закллина-

тель, вызывает великолепие звуков, строит их, выкликая то один, то другой инструмент, и в конце концов заставляет, как дрессировщик зверей, утихать и уползать, поджав хвост, на место. Пряма-таки шарлатанство какое-то, надувательство!..»

Все-таки гостю, как могли, вежливо объяснили, зачем нужен дирижер, в тонкости никто не вдавался, поскольку дирижеров непосредственно в семье не было, а знакомые ничего такого не рассказывали. Хаскель посмеялся вначале над остроумным невежеством литератора, но последние слова были созвучны его мыслям. Он сам нередко любовался плоской, с перхотью на черном сукне, если смотреть в бинокль из первого ряда, фигурой Муриного приятеля, как бы давшего обет молчания во имя божественной гармонии пусть самого эклектичного и безумного сочинения. Жесты дирижерской палочки были давно знакомы и понятны, но все же завораживали, всегда предупреждая мелодию, и действительно лицо невообразимо и быстро страдало, не так, как у музыкантов, которые тоже мучились, но более обстоятельно и каждый за себя.

Хаскель успешно закончил Гнесинку, где уже несколько лет преподавал его старший брат (Хася был поздним ребенком), и, как того следовало ожидать, получил приглашение в один неплохой оркестр, а его знаменитый учитель обещал спустя положенный срок кое-что и получше.

По правде говоря, Хаскель в тот период был не больше чем талантлив и прилежен. В жизни его ничего не менялось — та же с детства знакомая среда столичного города, те же залы и концерты, тот же слегка безалаберный быт и не всегда ухоженный дом, те же родительские интонации. Даже внешне Хаскель ничего своего не прибавил: поразительно походил лицом на мать, довольно пожилую женщину с удивительно слабо вырезанным рельефом профиля, но тяжелыми и по-мужски удлиненными чертами анфас. Те, кто видел их вместе впервые, поражались, до чего противоестественно схожи старое и молодое лицо.

При всем при том Хаскель не был некрасив, напротив, приятно выделялся среди консерваторских юношей и многочисленных братьев, те походили друг на друга умной сосредоточенностью, уместными на них очками и выпуклой формой высокого лба с непременным треугольником неглубоких залысин. У Хаси же волосы были темно-русые с беглым рыжеватым оттенком, почти прямые, и в тон им глаза — светло-карие, небольшие, разрезанные по-восточному немного наискось, без этого верблюжьего грустного выражения большинства Хасиных соплеменников. И никаких дурных предчувствий ни у кого не возникало, пока Хася встречался с разными девушками и приводил их в дом. Оставался он до двадцати восьми лет девственником или переступил черту много раньше, в отрочестве, никого не интересовало до поры до времени.

Была у него своя небольшая компания, вернее, свой круг отдельно взятых друзей; навещался по соседству и к художникам, но они слишком много и долго, недели напролет, пили, перебираясь из мастерской в мастерскую, а однажды приبلудились и к Хасиному порогу. После чего пыль и мусор, обычные в квартире, несколько дней имели незнакомые запах и качество и вообще в доме было все как-то не так.

Все же Хаскелю нравился их ничем не ограниченный, на первый взгляд, образ жизни, нравился ресторан на Гоголевском, где все друг друга знали и где Хасин приятель в драных джинсах и с месяц не чесанной кудрявой головой целовал в губы шикарно разодетых господ художников в виде приветствия, а те радостно привставали навстречу. Плелись, наверное, какие-нибудь интриги, не прост был и приятель, который, кстати, состоял председателем похоронной комиссии

цехового союза. Любил он это дело не из корысти и не ради абсурда, а кто его знает почему, может, из-за важности момента, имел на этот случай траурный смокинг и пару черных ботинок с трагически узкими мысами, а больше из вещей мало что имел, хоть и не беден был вовсе.

Из его мастерской Хаскель и взял себе невесту, взял за руку и повел домой, благо она не сопротивлялась. Не противилась она не потому, что Хася ей нравился, или нравилась его квартира, или карьера, а потому, что ничего не соображала, опять-таки не из-за того, что была пьяна, а просто очень немного отпустил ей Господь для ума, и никто в этом не был виноват. На вид, если бы не чрезмерная неряшливость, она была даже мила, не очень четкие формы искупались относительной молодостью (двадцать два года). Говорили, она рисовала картины. Как и с кем она попала в мастерскую, никто не помнил, но ее приняли, как принимали всех, не обладавших правом от рождения, — с удовольствием и равнодушно.

Поскольку она была молчалива и пышноволоса, оживлялась только после стакана вина, то ее вечно подпаивали, и она соглашалась на многое. Женская неразборчивость не удивляла, здесь к этому привыкли, странным казалось только ее сонное, граничащее с тупоумием равнодушие ко всему, кроме вина. Кое-кто из художниц, жалеючи, брал ее к себе пожить в надежде исправить характер, но бесполезно. За несколько лет с ее присутствием смирились, таскали за собой по мастерским и иногда забывали там, пьяную и беспомощную. Спать с ней никто уже не спал — она стала писать в постель. Вот такую невесту привел Хаскель к себе в дом и, толком даже не представив, поселил в своей комнате.

— Помнишь оранжевую булавку в швейцарском сыре и детскую виселицу под бузиной?

— Ня-ням, ты моя козочка с червивым бочком, что у тебя тут между пальчиков? Ветка винограда! Дай откусить от наливной пяточки. Моцарт, да где же стиральная доска?!

Слышался хохот и писк, писк испуганного цыпленка под набросившимся на него камнем коршуном, писк, переходящий в куриное квохтанье.

— Съешь, съешь яичко всмяточку, не хочешь ребенка — вынь ложкой желток, о Моцарт! Не надо чертить по обоям! — И, клопоча смехом, доведенным до рыдания, Хаскель с подносом для завтрака выскакивал за дверь, роняя ложки, выставял для мытья в раковину обгрызенный по краям фарфор.

Родители были изрядно шокированы не присущей ранее Хасе бесцеремонностью, но, кто ее знает, может, она гениальная художница, а сейчас в трансе от творческого перенапряжения, только вот перед гостями неудобно: сидит, сонно напевая, перед нетронутым десертом. Хаскель по своему усмотрению купил ей несколько приличных, из простой материи платьев, помыл и расчесал волосы, заплел, как мог, в косицу, и в таком виде она неприкаянно блуждала по всем шести комнатам, изредка оглаживая рукой попадавшие на пути предметы. Или сидела в столовой, днями раскладывая только ей известный, похожий на голову жирафа пасьянс.

Первой встревожилась Мура, когда после двухмесячного пребывания невесты в доме зашла переменить постельное белье. Хасин старенький диванчик источал не вызывающий никаких сомнений, знакомый с детских пеленок мокрый запах; неумело застиранная простыня подтвердила ее догадку. Мура была сражена наповал, и если тут же не побежала делиться скорбной новостью, то только потому, что дома никого, кроме невесты, не было, а чужим такое не расскажешь. Она стояла над диваном, обхватив морщинистую, как у черепахи, шею



длинной, с фамильным, туго сидящим на пальце бриллиантом рукой, и поражалась все больше и больше. Значит, если ее мальчик терпит добровольно (а добровольно ли?) такое, то все очень серьезно, чрезвычайно серьезно. Ей стало дурно не то от запаха, не то от мыслей, и она присела на самый краешек. Под ногами что-то звякнуло: еще и это! Неужели Хся пьет? Исключено, у него к спиртному неприязнь с детства, был такой случай. Следовательно, он поит ее... Мура плотно закрыла за собой дверь и принялась думать, не обращая никакого внимания на блуждающую по комнатам невесту.

Хаскелю досталось. Впрочем, на него не кричали, а убедительно воздействовали, на вопросы он, и прежде немногословный, почти не отвечал — да или нет,— родителям пришлось напрячь фантазию. Он оказался по-взрослому неуступчив и, вопреки принятому годов с пяти мнению, крайне резок и независим. Это было еще одним откровением, которое то ли из-за непривычки к семейным распрям, то ли в силу фамильной предначертанности надо было молчаливо и с достоинством признать. К тому же дела у Хаскеля шли неплохо, из дома он уходить не собирался, да его никто и не гнал, а брать измором невесту было бессмысленно. На пятый день пристрельных разговоров родители предложили девушку подлечить, но он и от этого отказался.

К Хаскелю стали, насколько это позволяла родственная близость, приглядываться внимательней, полагая отыскать причину в некоторой психической неисправности, мысленно перебирая знакомых врачей, и тут случилось приятное — учитель сдержал слово, и Хаскель занял желанную многими вакансию. К чести его сказать, он никак не заботился об этой должности, хотя, конечно, возможности большого, не камерного, оркестра волновали его сильно, слишком сильно: до радостных молоточков в висках и краткосрочного сладкого обморока, пережитого на ногах. Приходилось себя всячески сдерживать, оборачивать прорастающие фантазии вспять, допуская иногда невероятные, с точки зрения его музыкантов, трактовки Генделя и Боккерини. По-своему он заслужил повышения, для многих его выдающиеся способности были бесспорны, для многих — сомнительны, то и другое оказалось одинаково неплохо, удалось избежать долгих и неприятных вокруг его имени разговоров,— родители остались довольны.

Хаскель заранее немного побаивался своих новых, усталых то ли от серьезности репертуара, то ли от собственной известности оркестрантов; их было так много, и все они двигались, шевелились группками — струнные, смычковые, духовые, ударные. Теперь предстояло собрать их в одно, ему только ведомое созвучие, и от громоздкости такой задачи становилось дурно и хотелось уйти.

Когда Хся закончил «консерву» и стал дирижировать самостоятельно, все получалось само собой, легко и естественно — знакомый зал, знакомая работа, благожелательные лица и голоса. Правда, Хаскель к тому времени окончательно пересмотрел детское заблуждение о дирижере как заклинателе музыкальных стихий, слишком подробны и трудоемки оказались годы ученичества, а магия если когда появлялась, то только посредством слушания, не всегда осознанного, скудного по бедности исполнительских средств. Теперь же на Хаскеля, поблескивая кое-где очками и притушенной пасмурным днем медью, смотрело более сотни музыкантов, смотрели по-разному, наверное, даже сочувственно или отчужденно, но непривычному говорить перед аудиторией Хасе казалось, что смотрят насмешливо, враждебно к его молодости (многие из них были солидные, пожилые люди). Он отчаянно искал и не находил ни одного знакомого, участливого лица. Превозмогая паузу и негромкий, как шелест переворачиваемого на пюпитре листа, но с каждым мгновением все более опас-

ный для него гул голосов, Хаскель произнес первое слово. Наверное, произнес, потому что все дружно обернулись в его сторону. От этого общего взгляда Хаскель отлетел назад и чуть не закатился под кресла, но зацепился за ножку и замер. Потом, много позже, когда он станет дирижером мирового уровня, люди будут вспоминать этот случай как начало его болезни, однако так ли это, останется неизвестным.

Через день, когда Хаскель заново знакомился с музыкантами, извиняясь, он не выказывал никакого смущения, был прост и дружелюбен. Так же прошла первая репетиция: он ходил с концертмейстерами от группы к группе, слушал, спрашивал, под конец сдирижировал Малера. Симфония № 5 прозвучала чисто и холодно, только гобой, дважды споткнувшись, сфальшивил — это могла быть случайность, но Хася на всякий случай ему погрозил.

Началась работа, оркестр был тяжелый, не желающий никак отвыкнуть от почерка прежнего, хорошего, но чересчур рассудительного дирижера, делал все упрямо по-своему. Бедному Хасе, изгонявшему скучного беса, приходилось поспевать везде — кого-то подстегивать, кого-то тормозить, после часа репетиций он уже был мокрым с головы до пят, а через два часа начинало ломить суставы, особенно на правой руке, и справлялся он с этой болью, только забывая о ней. Зашедший как-то на прогон Хасин сокурсник был прям-таки потрясен дирижерской техникой, он не успевал прочитывать всех наставлений и уговариваний, почти бессвязно расточаемых Хасиными руками. И, что всего удивительнее, музыканты понимали и слушались их, каким-то чудом за пару месяцев обучившись Хасиным иероглифам.

Мурин внук скоро стал значительным дирижером, но иначе, говорили некоторые, с таким известным коллективом и быть не могло. По-своему это верно, не будь у Хаси оркестра, нечем было бы и дирижировать, а там, возможно, родился бы в нем гениальный садовник или просто добрейшей души человек... Говорить о виртуозности пианиста или скрипача весьма затруднительно, хотя кое-кто приспособился, а тем более дирижера. Специалисты, разумеется, напишут много интереснейших исследований, растащат по жесту Хасино богатство, запечатлят моментальными снимками, записями. Но живой, не мертвый звук так удручающе недолговечен, так непостижимо прекрасен в этой своей краткости, — грустно размышлял Хаскель, — он только появился — и его уже нет. Так насекомые живут полдня, чтобы найти любовь и, свершив ее, погибнуть, и, кто знает, может, жизнь для них так же вечна, как для него, когда сыгранные музыкантами ноты выпархивают из оркестровой ямы и танцуют великолепный пурпурный контрданс, а он танцмейстер, и невозможно удержаться от восторга, от слез, от ужаса...

Примерно так объяснял он свои ощущения, перед тем как упасть в первый раз, болезненно ударившись боком о край пюпитра; ничего не прибавилось и во второй, и в пятый. Дело в том, что Хаскель, дирижуя на концертах (никогда — на репетициях, там он был собирателем музыки, мастеровым), последнее время становился жертвой так называемой падучей, но весьма своеобразной. В какой-то момент, независимо от характера и темы произведения, он терял сознание, опрокидывался вперед или навзничь, иногда не падал и, очнувшись, продолжал дирижировать, что любопытно, именно с того места, которое исполнял оркестр, не догоняя фразу, а продолжая ее, словно в минуту беспамятства не переставал отсчитывать такты.

Врачи с ученой натяжкой кое-как оправдали болезнь и главным лекарством прописали психоаналитика, который по вечерам тихо приходил к Хасе расспрашивать о снах и родителях. Больной улыбочиво принимал заботу, тонко, но непонятно иронизировал над собой, однако многого не рассказывал, делая вид, что, собственно, и рассказывать нечего. Ему смутно верили, так как в остальном

Хаскель оставался абсолютно нормальным, уравновешенным человеком. История с невестой забылась; внешне он выглядел отлично, даже щеголевато, деньги тратил, как все, и без всяких видимых усилий поддерживал обычный стиль жизни.

Была у него и постоянная девушка, вполне приличная и интеллигентная, отсюда опасности, казалось, ожидать не приходилось. С Мусей же (так звали, как выяснилось, первую невесту) произошло то, что и должно было рано или поздно произойти. Она стала пропадать из дома, через день-другой возвращалась, но почему-то не в квартиру, а на лавочку у подъезда под красавцем каштаном, откуда ее и забирали. Хаскель к пропажам привык, перестал бегать с глупыми глазами по мастерским, разыскивая беглянку. Может, он стал покупать для нее меньше вина, оттого она и уходила, отчего еще? Она же мало что соображала, а там кто знает... И вот Муся пропала вовсе. Вполне вероятно, что Хаскелю она уже разонравилась, но он долго, несколько недель подряд, искал, обходя лавочки и скверы, студии знакомых и угрожая малознакомых художников, зачем-то избегая узнавать о ней по телефону. Он стал мрачен, сосредоточен, даже пропустил одну важную репетицию, и к середине третьей недели у всех сложилось ничем не объяснимое мнение, что она умерла от любви. Только через месяц Хаскель успокоился, принеся с утреннего своего обхода пушистую, весьма потрепанную кошку с серой, свалывшейся на боках шерстью и штанишками на задних лапах. Кошка не спеша и нимало не смущаясь новой обстановки, подошла прямо к любимому невестиному креслу, вспрыгнула на него и оглядела всех сонным желтым взглядом. Хаскель сказал, что кошку зовут Мусей.

Итак, если отбросить грустную и немного эксцентричную затею с первой невестой, которая, надо признать, кончилась довольно мирно и сама собой, то жизнь Хаскеля И., по мнению любезных биографов, была (то есть, наверное, есть, но они всегда говорят в конкретном прошедшем, не то что мы, пугаясь в датах, времени) «отмечена высокой музыкальной отрешенностью», «человеческой теплотой», «всепожирающим (запросто!) огнем творческого горения». Насчет последнего сказано не совсем неверно, хотя качество переживаемого Хасей было несколько иным.

С детства он замечал, сам не понимая зачем, разные вещи и забывал их, чтобы вспомнить опять, но в другом месте, при другом освещении и иногда через десяток лет. Некоторые воспоминания, самые пустячные (например, затененная комната в большом приморском городе, где он заболел детской аллергией и ночью все не мог уснуть — мешал запах шероховатых на язык персиков, пыльная точеная ножка стола, видимая в балконный проем, там же, на шахматной плитке, застывшая умная ящерица), вернувшись, становились навязчивыми, проявляясь по малейшему поводу или намеку на него. Хаскель не сразу понял, но, немного помучившись, вычислил некий ассоциативный код наиболее восстанавливаемых картинок. Тогда он еще серьезно учился музыке, много занимался и как-то раз, проигрывая Боккерини в его предполагаемой униженно барочной манере, заметил, что строй звуков в одном месте, от цифры восемь, совпадает с построением его недавно проклюнувшегося воспоминания, и дело вовсе не в тональности, а скорее в отношении друг к другу деталей, различных по долготе и написанию. Подобные мысли он знал по публичным концертам: так, Прокофьев, что-то такое ля минор (в программке ошиблись, напечатав «мажор»), в Хасином представлении совпал с «Преступлением и наказанием» Достоевского, именно с ним, — та же настаивающая социальность, сквозящий дырами подворотен Петербург, в ненастье пугающий алебастром посмертных масок и лицами диковинных зверей.

Но это было слишком просто и занимательно, похоже на игру, когда смотришь на картину абстракциониста и даешь ей название, а потом открываешь авторское и т. д. Теперь же Хася сам, пусть нечаянно, выпускал ужившийся в нем хаос, не умея пока распорядиться им. Он тревожно следил за развитием мелодии дальше, потому как, читая с листа, ничего не замечал, но наваждение прекратилось, и только в последних тактах прозвучало что-то от маминого жеста, которым она брала, выходя из дома, отца под локоть. Возможно, он слышался, но повторить было страшно: вдруг вся мелодия закишит подобными попаданиями? И так она не сразу рассеялась в воздухе, постепенно бледнея и все больше напоминая запах сухих Муриных духов, когда ее минут двадцать как нет в комнате. Было в этом что-то неприятное, мешающее жить, вроде знания того, что весь мир лепится из одной пастилы — и ты, и склизкий червяк, и вечный мрамор... Обман: как будто ты расколол грецкий орех, а там вместо лакомых полушарий — землистый прах. Как смешение невозможного: травы, лягушек, голоса и огня...

Ладно, здесь он кое-как разобрался и научился обходиться без потерь, даже наоборот, потихонечку стал использовать свое открытие, и, как оценивали, небезуспешно. Однако теперь слух оказался основным смыслом Хасиной жизни: увлекшись вызыванием всегда чуть коричневатых от ностальгии образов, он перестал думать, как все, по-римски просто и логично, без этой математической вязи хрупчайших исчислений. В мире все было скучно и знакомо, но вот кто-то сжалился над Хасей и разъяснил ему все еще раз, иначе. Теперь он не удивился бы, начни вдруг понимать язык змей или на худой конец глуховатых ворон (змеи в городе попадают не так уж часто, а жаль).

Нередко он ловил знакомые, уже кем-то произнесенные темы, иногда они слагались из двух, а то и трех произведений, написанных разными людьми в разное время; его это забавляло. Самое большое удовольствие было искать разногласия между подлинником и списком, вдохновенно решая в пользу того или другого. Расценив по своему вкусу, Хаскель закреплял понравившийся вариант в уме и выглядел при этом необычайно довольным.

Новым своим познаниям он, должно быть, и следовал в работе с оркестром, иначе трудно объяснить, откуда у спокойного, уравновешенного Хаскеля бралась такая самонадеянная дерзость, граничащая с наглостью, аранжировать признанных мастеров на свой собственный вздорный манер. Дерзость эта обсуждалась на разные лады довольно долго, и, хотя никому не удалось найти ключ, который подходил бы ко всем его музыкальным разработкам, через год стало очевидно, что это «новое дирижерское слово», «жизнь после жизни», «вдохновение сквозь века» и т. д. и т. п.

Хаскель был доволен: оркестр много и с успехом гастролировал, сохраняя для него возможность свежих открытий — в Бадене звучало все, от плитки тротуара до шпиля замка, несмотря на чистоту и яркость красок, банально, зато в Париже, действительно, химеры вопили восхитительно гнусными человеческими голосами, а Монмартр оказался безгласен. От Вены он услышал то, что и ожидал, мешая по слуху предчувствия и оперу (теплый сквозняк, запах корицы, вагнеровские тембры приснившихся улиц, каску с кивером, да, пожалуй, музей музыкальных инструментов из-за повтора слогов «муз-муз»). По-настоящему его поразило другое: при переезде из Европы в Англию — море, поразило до такой степени, что проведенные несколько дней на островах вспоминались бледно и неблагозвучно, а это, Хаскель был уверен по отдельным фрагментам, никак не соответствовало действительности.

И все-таки он начал уставать, не то от скоропостижности впечатлений, не то от тяжелых для него и слишком частых репетиций, вряд ли он сам точно знал. Может, поднадоела, как всякая другая, игра без правил и наскучил несносно от

сотворения своего звучащий мир, в чье многоголосье он теперь добавлял собственные истерические диссонансы и тянущие за душу паузы. Хаскель чувствовал, что его обманули, и обманули серьезно, на всю жизнь.

Бросить дирижировать он, разумеется, не мог; за пюпитром стоял сутулясь, на поклон выходил по-прежнему строго, скорбно скривив — якобы для улыбки — губы. Бытовые проблемы раздражали нестерпимо, гастрольные возвращения домой не радовали — после смерти Муры и отца (первая случилась без него, а отец страдал долго) там стало больше порядка и меньше жизни, как в какой-нибудь мемориальной квартире, где Хася чувствовал себя центральным, пусть не всегда представленным экспонатом. К довершению сходства приходили посетители, редкие, но любознательные к его, Хаскеля, судьбе, и два раза в неделю приезжали служительницы — помогавшие маме по хозяйству двоюродные сестры или что-то в этом роде. Дом перестал быть тем, чем был раньше; разгонять застоявшуюся и придумывать новую, животворящую атмосферу у Хаскеля не было ни времени, ни желания. Конечно, случались просветления, минуты божественной умиротворенности, но в основном Хаскель, мрачно раздражаясь, ждал, когда же все кончится, и продолжал репетировать.

Здесь тоже все было не очень хорошо. Прирученный за столько лет оркестр вдруг становился непослушно враждебным, и сердил как никогда сильно несносный гобой — Хаскель давно замечал, что раз или два тот за репетицию обязательно сфальшивит. По привычке попытался выявить внешний прототип ошибки, присмотрелся: среднего роста и возраста, полный, с начинающей беднеть макушкой и аккуратными, несмотря на специфику, губами. Ничего выдающегося, то есть совсем ничего, даже странно, что играет, и играет неплохо, очень и очень неплохо, с темпераментом. Хаскель подумал даже: а вдруг музыкант прав, вдруг он тоже *знает*?.. Но нет, ошибался он по-разному и довольно, на взгляд маэстро, глупо.

Когда оркестр начал Шнитке, симфонию № 5, Хаскелю полегчало, он снова обрел упругую уверенность и радостную наполненность бытия, начал подумывать, не согласиться ли ему на предложенный из-за границы контракт. Падучая беспокоила его мало; утерянное в гастрольных переездах стоячее кресло, предохранявшее от падений в публику, было отстроено заново, и теперь его спинка выгибалась не черным, а густо вишневым бархатом. Возможная работа с известным на весь мир оркестром освежит его, Хаскеля, избавит от успевшей состариться раньше его *idea fix*, и тогда перестанут мерещиться загробные напевы, которых в последние годы развелось великое множество.

Хаскель загадал так: если он расследует тайну фальшивого гобоиста и если дома на следующей неделе починят хрипло ревуший по ночам водопровод, то он обязательно, непременно согласится. Судьба должна быть довольна его приложением — он сделает так, как она укажет. Хаскель вызвал сантехника (оказалось не очень трудно), а после репетиции отправился выслеживать гобоиста (это было ново, а потому занимательно).

На улице гобоист выглядел еще банальнее, практически неотличимо; Хаскель даже засомневался: а этот ли человек так волнующе пунктуально фальшивит? — но тот, заходя в подъезд, повернулся вполборота, как Хаскель привык его видеть в оркестре, и сомнения рассеялись — да, это он. На следующее утро маэстро, вовсе не подумав надеть что-нибудь более тривиальное, чем бледно-лимонное английского кашемира пальто, пришел по записанному накануне адресу пораньше. Какова же была его радость, когда, разглядывая и трогая парадную дверь, он вычленил из утекающего через неплот-



но прикрытое окно первого этажа кухонного звяка и говора знакомый, чуть измененный квартирной акустикой тембр. Хаскель оставил дверь, отошел подалее и, поднявшись на тротуар, постарался заглянуть в окно. Подробности ничего здесь не значили, с первого взгляда он понял, что дело не в них, детская пиеска для фортепиано, *molto espressivo*, людей же было видно очень плохо — слишком высоко, а слов совсем не слышно. Как знать, может, в соотношении движения и звуков объяснится искомое, но отсюда ему этого не угадать...

Хаскель был разочарован — история с гобоистом начинала его злить, он достаточно уставал на репетициях, а тут еще и это. Водопроводчик тоже никак не шел, и утробные стенания наполняли Хасины ночи первозданным хаосом, в котором терялись мысли, руки, ноги, тени, папино и Мурино привидения, кошка, и всякое утро, перед тем как проснуться, Хасе приходилось расставлять все по местам. Короче, Хаскель снова начал хандрить и рассудил отказаться от приглашения в новую жизнь, чтобы не мучиться.

Шнитке продвигался с трудом; тропинка, по которой дирижер мог вести оркестр, была слишком узка, постоянно терялась в беспредметности авторских разглагольствований, то, что вначале восхищало и вдохновляло, при малейшей попытке интерпретации отколупливалось мелкими сколами, собрать и восстановить которые в первоначальном замысле стоило слегка оглохшему и слабому теперь на подъем Хаскелю невероятных усилий. Ему казалось, что звуки перепархивают из симфонии в мир и остаются там подолгу без спросу и приходится выманивать их оттуда хитростью или, рассердившись, вытаскивать из-под дивана старой щеткой. Однажды утерянную пару тактов он нашел в домашнем тапочке, другие, от цифры восемь и дальше, — в волосах пожилой брюнетки, а пропущенную гобоистом ноту — вытаскивая из кармана носовой платок.

Все же, несмотря на частые потери и все растущее раздражение, Шнитке удался на славу, даже музыканты что-то такое почувствовали и после генеральной расходились негромко, по одному. Хаскель опять чуть не свалился в падучей, но, очнувшись, понял: все его страхи и страдания шли от этой симфонии, поэтому и сыгралось так хорошо, без усилий, а значит, он по-прежнему в руке Божьей, ведомый и оберегаемый.

Вечером, когда он отдыхал от пережитой победы, пришел давно не званный водопроводчик и исправил хлюпающие неполадки, не спросив лишнего, приятно величая Хаскеля «хозяин». Ночью трубы вели себя сносно, умиротворенно урча, и Хаскель спал беспорядно, без тяготящих наваждений.

Утром надо было идти по делам в консерваторию, и шаг его лепился по влажному теплему асфальту точно и плоско, ничто не смущало мыслей.

После дел, которые вопреки гнусному своему обыкновению разъяснились легко и сразу, Хаскель спустился в буфет выпить чаю с шоколадным эклером, полюбившимся не так давно. Осторожно неся блюдечко с горячим стаканом, он определился было в пользу столика у окна, как нечаянно уловил нечто поразительно знакомое, вроде предмета, который сто лет назад потерял и забыл. Хасе пришлось отречься от утренней невозмутимой праздности и постараться вспомнить... После паузы вышло: гобоист. Он сидел к маэстро спиной и тоже пил чай, заметьте, не вынимая ложки. Отхлебнув несколько раз, он все-таки ее вытащил и аккуратно положил на край салфетки. Хаскель довольно выдохнул — он мог поклясться, что музыкант забывал вынуть ложечку из стакана всякий раз, когда пил чай, пока она нагретым

концом в щеку не напоминала о себе и он механически не откладывал ее в сторону.

На следующей репетиции, когда гобой промахнул едва ли не на такт, маэстро важно ему кивнул и сделал движение рукой, будто размешивая в чашке сахар, но тот его, кажется, не понял или не захотел понять.

Так разрешилась многими вожеленная поездка в город Т., что расположен на берегу не моря, а зеленовато-прозрачного, как бутылка из-под солонатовой минералки, океана. Хаскель о приятных географических особенностях Т. сначала мало что знал; для него любое название страны или города предполагало в лучшем случае родину композитора или его произведения, иначе — в отчаянии потерянную и вдруг пойманную надпись на нервно мелькающем табло в аэропорту. И только потом, при чутком, внимательном осмотре, выявлялась особая, специфическая топография места, приятная или нет для Хасиноного слуха.

Длительные перелеты он переносил неважно, стараясь не глядеть в опалово-голубой, стерильный глаз иллюминатора, откидывался сосредоточенно в кресле при взлете и посадке. Из самолета в Т. вышел бледный, чуть покачиваясь на онемевших длинных ногах, вертя опасно головой по сторонам, покуда напряжение моторного рева не спало и он не услышал с начала поездки ожидаемого — отсюда негромкого, с ритмичными перекатами шума океана.

Город Т. был по-своему замечательным, в нем сохранилось всего и понемногу: несколько музеев — краеведческий, музыкального театра и отдельно посвященный древнему ремеслу, которому он и был обязан полуторавековым своим благополучием; замок достославного князя, отца полоумного принца и экзальтированной принцессы, доживающих свой княжеский срок неизвестно где и как; чистенькая, словно только что выставленная декорация к «Трубадуру», площадь перед двурогой, как рыцарь средневековья, ратушей и свежестреставрированным костелом. Кроме того, здесь размещался один из лучших концертных залов мира, куда ежегодно съезжались самые тонкие ценители полифонии и дирижировать в который был зван Хаскель. Наверное, его позабавили бы нагретые солнцем тротуарные плитки с оттиском эмблемы на каждой — похожий на гусиную лапу частый след города, истоптавшего самого себя, или столб с указанием на незнакомом языке, но неприлично читающимся на родном, если бы взгляд маэстро, пристальный до рассеянности, не искал в промежутках между невысокими домами и поверх их то, что издавало завораживающие, невозможные по глубине стоны — тонкую, с ослепительно острым блеском полосу соленой воды.

Едва расположившись в гостинице, Хаскель попросился съездить на побережье. Ему дали машину с шофером, которые остались стоять на дороге, только человек несколько раз крикнул неразборчиво, и Хаскель подумал, что да, людская речь волнительна и протяжна, сыпуча, как пустынный песок или жирный чернозем, как сливового цвета оливка или загадочная прежде папайя, но рождается она на земле, климат дает ей краски, в землю она и уходит, в океане ее не слышно. Может, именно поэтому и строятся города — акустические подмости, а раньше играли и пели, жили под открытым небом у простертого моря, не боясь потерять голос, и слышали больше, молча. Он стоял у самой кромки прилива, пачкая туфли из бежевой замши, и последовательно забывал только что продуманные мысли, старые мысли, старинные. Лицом к морю сидел на чем-то, опять стоял, прикрывая глаза на секунду-другую, и тут же, поспевая за приближающимся прибоем и боясь не успеть, открывал, зрительно проверяя память, определяя на слух препятствие и силу волны.

Работа с новым оркестром доставляла Хаскелю удовольствие; оркестранты были внимательны и послушны, не беда, что он не понимал их подвижной, с торопливой пунктуацией речи — вполне хватало итальянского музыкального, и так было интереснее, не приходилось отвлекаться на ненужное общение. Все свободное время он проводил один, как нередко и раньше, но это одиночество было совершенно иным, обособленным, находящимся не внутри, но и вокруг него, и имя ему было Океан. Он ездил на велосипеде (пригодились дачные навыки) сквозь акварельное по осени предместье, жидкие рощицы, то и дело меняя маршрут в зависимости от того, откуда наиболее властно ветер доносил зов, и, счастливо приветствуя в пенистых раскатах панораму, проводил на берегу столько времени, сколько было возможно. Не торопясь возвращался домой, держа велосипед за седло, поминутно оглядываясь, пока не упускал вид за поворотом к городу, и тогда нежно прислушивался к приглушенному домами и посадками ропоту, волнуясь его настроениями, успокаиваясь безмятежностью тона.

Внешняя сторона дел выглядела гладко: после первых коротких гастролей контракт продлили, Хаскель, обычно ленивый к чужим языкам, не желая того, начал понимать и говорить на принятом здесь наречии и, вспомнив шутку столетнего приятеля, что язык мужчине легче всего преподаст женщина, устроил зачем-то по-старомодному неспешный, но очень приятный роман с рыжекудрым бакалавром местного университета. Конечно, он по-прежнему любил свою профессию и даже увлекался ею больше, чем когда-либо, но то были исследования ученого-экспериментатора; логические вдохновения, то и дело вырастающие на обширном фундаменте Хаскиного профессионализма, сменили острые, как болезни в раннем детстве, интуиции. Он знал причину и был согласен с ней, жизнь наконец приобрела обычный свой смысл, и Хаскелю казалось, что он только-только окончил Гнесинку, любит всех людей, а они его, и радостен каждый вдох и благословенен выдох — так неожиданно и ярко выступало перед ним человеческое бытие.

Само собой получилось, что Хаскель остался в этой стране, переехав, правда, в другой, тоже на побережье, город, и даже поменял гражданство, иначе было нельзя. Женился, завел беломраморного, с серебристым по спине крапом дога, родился сын (или дочь?), что, впрочем, никоим образом не мешало дирижерским занятиям отца. Городок был славен музыкальными традициями (хотя, как оказалось, все эти городки были славны чем-то в этом роде), и оркестр симфонический был более чем неплох, и, что приятно, люди на улице улыбочиво и всегда с готовностью здоровались, нимало не выказывая удивления по тому поводу, что осевшая у них знаменитость гоняет по окрестностям, как мальчишка, на велосипеде и часами шатается вдоль океана.

Действительно, каждый день около пяти вечера Хаскель звал пятнистого, как побережье от серых камней, дога и, напевая что-нибудь из Верди или русских балетов, отправлялся дышать морским воздухом. Все об этом знали и уважали как полезную привычку, которой маэстро следовал в любую погоду, благо местный климат был настолько деликатным, что обходилось без нудных насморков и глупых бронхитов. Хаскель, даже если бы захотел (и пробовал — жене) рассказать о своем общении с океаном, с осторожностью посвященного выбирая доступные, приблизительные слова, все равно не мог бы ничего толком объяснить. Получалось примерно так: океан вобрал в себя все мыслимые звуки и звукосочетания, все возможные комбинации, такие и такие, флейтино, флажолеты, все тональности, голоса и подголоски всех инструментов — словом все, весь звучащий мир с городами и людьми, ослиами, Азией, Африкой, древними и новыми богами, ампирной мебелью и пр., пр., пр. Существует же это в нем

единомоментно, словно бесчисленное множество мелких природных гармоний сложилось в одну божественную, как будто океан — оплодотворенный музыкой хаос, поглощенный собой же, верхний и нижний регистр которого — бесконечность.

«Слишком вычурно и непрофессионально,— перебивал себя Хаскель,— а потому неверно, я чувствую иначе, сложнее, но сказать не могу и продирижировать не могу, впрочем, похоже, но только похоже на истину».

«Истина никогда не бывает похожа сама на себя»,— размышлял по-другому один на берегу и улыбался благодарно за подсказку зеленому, как просвеченный на луну круглый изумруд, океану.

В тот серовато-смугловатый от низких туч и неяркого солнца день Хаскель, урча под нос партию отца-барона и пропевая кое-где целые фрагменты итальянского, отправился на прогулку пешком. Со спины, высокой и немного сутулой, он не выглядел постаревшим; светлый дорогой костюм был не совсем впору, как все вещи, что он носил, но в этом сказывалась непостижимая эlegantность маэстро, возмужавшего, как мужают к пятидесяти годам солидные, удачливые люди. Светло-карие глаза еще посветлели и смотрели по-прежнему не прямо, немного наискось, сохраняя с отроческих лет усвоенное выражение пристального интереса, обратным концом обращенного ни к чему и ни к кому конкретно; таким же сглаженным, слепленным не до конца читался его профиль, и даже прическа, следуя круговороту моды, оказалась прежней. Так вот, на тропинке, ведущей меж каштанов под уклон к берегу, догоняя собаку, Хаскель ощутил первый прилив беспокойства, который, увы, не рассеялся при глубоком, до самого желудка морском вздохе. Не то чтобы его захватило что-то особенное, какое-нибудь дурное предчувствие, нет, совсем наоборот — внутренне себя ощупав, он не нашел там ничего, ничего вообще. Обстоятельства вокруг него были те же: прибой, нежно имитируя шелковый женский шепот, откатывался не дальше и не ближе, чем всегда; помыслы Хаскеля вились около того же, что и полчаса, час назад, но песнь, Великая песнь океана, дарившая его неразрешимым спокойствием слуха, вдруг прервалась и обернулась молчанием более полным и страшным, чем обманная немота застывших вод в затмение, когда птицы кричат от ужаса, ветер, рыдая, не смеет подняться с земли и голубая сторона проткнутого, как при заклинании, спицей шара погружается в непроглядную тень.

Не веря еще себе, как не верит враз потерявший зрение слепец, Хаскель застыл на месте, словно чувство, здесь его оставившее, сюда же должно и вернуться, и очнулся, как после крепкого обморока, совершенно безвольным и без сил. Усталость была столь невероятной, что Хаскель, тративший на дорогу двадцать — тридцать минут неспешного шага, припелся домой через два часа с лишком.

С того вечера он предусмотрительно старался избегать неприятного места; необходимость этого его слегка беспокоила, но постепенно забывалась, и забывалась до такой степени, что однажды он снова очутился там, а понял, только когда отошел далеко в сторону и оглянулся, чтобы позвать собаку. Дог старательно что-то вынюхивал и, хотя был недурно воспитан, на окрик не пошел, только дернул нетерпеливо головой. Хаскель, пару секунд поразмыслив, выкрикнул команду собаке еще раз и, оставшись без ответа, двинулся назад. На том же самом месте, он помнил его по камню, повторяющему, если смотреть сверху, очертание одного из пятен на спине дога, именно у этого камня лежала падаль, над которой кружился десяток-другой мух.

С прогулки Хаскель вернулся раньше обычного и сразу же, не закусив и не поболтав, как было заведено, с женой, поднялся к себе. Мухи, эти лилово-изумрудные мухи, так похожие на тех, что в детстве они называли (и не без оснований) навозными, расчертили уже почти стершуюся паузу колко отточенными ритмами, ножевными зигзагами, от которых у Хаскеля закололо невыносимо в висках и стали слезиться глаза. «Надо же, на том же месте...» Много лет назад он нашел-таки свою разомлевшую от вина невесту в привокзальном парке, сидящей в охапке желтых кленовых листьев на земле, играющей с ними, как его малолетняя дочь. От нее несло, как от общественного туалета, но, когда он протянул ей руку, чтобы помочь подняться, она покачала головой. Такая безвольная, покорная всем его желаниям Муся, сидя в собственных экскрементах и щуря на яркое солнце припухшие от диатеза глаза, замыслила от него уйти и, счастливая своим решением, кокетливо улыбалась двум крошечным мушкам, зависшим в дрожащем полете у самого ее лица...

Хаскель присел на низкое покойное кресло у низкого же столика с нежнейшей фарфоровой безделицей на нем, запрокинув голову, и засмотрелся на белый, начинающий сиренево темнеть от наплывающего вечера потолок. Из-под двери потянуло сквозняком, наверное, кто-то вошел в дом. Хаскель подождал, как и тогда, прозрачным осенним утром: не передумает ли она? не послышатся ли чужие шаги? — нет, а потолок меж тем все больше чернел от частых на нем штрихов, покрывался грифельной сеткой, угрожая превратиться в черный квадрат. Глаза перестали слезиться и ничего не видели. Она не захотела возвратиться к нему. Как из дремы, пошарив сонной рукой по столику, Хаскель поймал веревочку выключателя амфоровидной, под голубоватым абажуром лампы. Тонко засветился прозрачный фарфор вазы с искусно подобранным букетом неизвестных цветов. Над одним из них, подробно прорисованные желтой старательной рукой, вились две маленькие мушки.

И ничего не изменилось. Так по крайней мере полагали сам Хаскель и те, кто его окружал; даже жена и собака ничего не заметили — и неторопливо, подспудно совершался заключительный обман. С прежней тщательностью выбирал он галстук и подходящую по погоде шляпу, собираясь на прогулку или в студию, ласково оглаживал двумя пальцами чуть загнутый край полей, целовал на прощание малышку (уже не совсем малышку) и у самой калитки оглядывался на светлый, с большими окнами в переплетах дом. Чувство недавнего благополучия не покидало его, мешая тайным, пусть и редким мыслям завладеть сознанием полностью, только труднее стали даваться привычные уже слова. Легко усвоенный ряд чужой речи то и дело ломался, образуя пустоты, и Хаскель стал разговаривать медлительно и меньше, предпочитая возможное умолчание оживленной беседе с мгновенными пробелами слов.

Он и раньше был немногословен, поэтому даже те редкие приятели по коктейлю, с которыми маэстро после репетиций заходил в кафе напротив поболтать о музыке и погоде, ничего не заметили. К тому же гений, как известно каждому обывателю, имеет право на некоторую долю забывчивости, и ему прощались обрывистое мычание вместо принятого приветствия, когда кто-нибудь из знакомых (примерно полгорода — благодаря жене) заставал его на улице врасплох.

Упомянутое выше кафе размещалось в просторном, но небольшом зальце первого невысокого этажа доходного дома и со стороны входной двери имело



продолговатое окно со стеклянным видом на тротуар. Противоположная большая часть зала по мере удаления от естественного источника света днем погружалась в чайный, полупрозрачный, густой с янтарными отливами по углам от светильников сумрак, заканчивающийся, вероятно, за дверью около стойки, в дегтярно темных кладовых. Хаскель с друзьями предпочитали столик где-то на грани и все же ближе к затененному концу, впрочем, маэстро, подолгу, что называется, лупившийся на сквозной экран, где, не меняя лиц и только в профиль двигались фигуры, особого пристрастия в этом не выказывал, им руководила чужая привычка.

Пил он исключительно фруктовые или овощные коктейли, и в тот раз, когда увидел ее, ему принесли ореховый с ломтиками ананаса. Сначала Хаскель подумал, что виноват ананас — оскомины на детском году жизни, но даже такое сильнодействующее заблуждение не спасло: женщина, женщина в шляпе у низкого окна по эту сторону, он даже не видел, как она вошла, и это лучше — мог бы не выдержать, теперь по крайней мере она сидела не двигаясь. Но даже если бы она застыла замертво, Хаскелю невозможно было оставаться спокойным. Он скользил, как падают в обморок, и все не мог упасть, потому что тогда стал бы на время, на долю от доли секунды незрячим, а женщина бы ушла.

Он услышал ее сразу — алебастровые линии платья, застывшие жесты были взяты из живого модерна, умершего вот уже как полвека назад. Она двигалась, следуя мелодии гемаровской лестницы, на нее больно было смотреть: так прихотливо и плавно вился ее шаг, изгибался позвоночник. Женщина мелкими глотками прихлебывала водку и смотрела туда, куда столько раз глядел и он, — на улицу, и Хаскель видел из своего полумрака открытый шляпой и смутный на световом фоне абрис в три четверти, мочку уха, с которой, когда отворили дверь, скатился драгоценный жемчужный звук, потом — часть темно-русого затылка, пахнущего, он слышал это, отравленными духами беладонны; руку — Боже! — играющую с собственной тенью руку...

Хаскель пришел домой, когда стемнело, не очень поздно, передел светлый дорогой костюм на более скромный. Возникнув, но не проявившись в дубовом проеме гостиной, где жена с родственницей пили вечерний чай, попал, споткнувшись, в прихожую. С трудом собрав подвернувшиеся слова и неприятно удивившись резкому тембру своего же голоса, выкрикнул, натягивая плащ, в ответ на вопрос что-то несурзное и, аккуратно придерживая за собой обе двери, вышел, ни разу не оглянувшись, на улицу.

Мерцающий от полива и ярких фонарей город был прохладен и, разумеется, в этот час безлюден. Маэстро усмехнулся — неправдоподобно короткие перспективы улиц, выставленные ровно сценографом, не пугали средневековой достоверностью, здесь по-настоящему никто никогда и не жил. Не быстро и не медленно, как обычно при ходьбе налевая, он свернул за угол на бульвар к океану, затем по единственно возможному от дома маршруту повернул в сторону от него, миновал под разными углами несколько перекрестков и вышел на шоссе, поднял руку, чтобы поймать машину до аэропорта.

Там, за тысячи облачных миль отсюда, в осыпавшемся золотой листвой привокзальном парке с холодным озерцом посередине высунулась из-под земли небольшая, похожая на детскую коричневую перчатку рука. Ничего не поделаешь: он был слишком расстроен и не смог вырыть достаточной глубины яму в то утро, когда хоронил Мусю, свою невесту, — дрожали от только что пережитого напряжения руки, жалость и обида застили слезами гла-

за. К тому же мушки, беззвучные осенние мушки, все время лезли к ней в могилу, туда, куда он кидал пригоршни сухой песчаной почвы, — на мокрый подол, на голые в прорванных чулках колени, на запрокинутое к небу прекрасное лицо. Слишком неглубоко. Теперь он это поправит.

---

## Наниша НЕНЬТЬЕВА

### *БЕЛОЕ ПОЛЕ*

\* \* \*

Блеклое, выгоревшее, осатанелое,  
 Белое поле, до зелени белое,  
 Просит дождя. Хочешь дождя — пей.  
 Стряпчий, налей!  
 Стряпчий, налей добро дюжему пану.  
 Стряпчий не льет, упирается: — Рано.  
 И дышит ноем, сиречь перегаром,  
 В личики барам.  
 И на старуху бывает проруха.  
 Лес все желтеющий — вот так непруха,  
 Лес, не умеющий выжать корней,  
 Просит: — Налей!  
 — Стряпчий, поди, поднеси панам кружку,  
 Стряпчий, поди, поднеси чарку, душка,  
 Глядь, а за чаркой и дождик вразлет.  
 Стряпчий упрям и не идет.  
 Молнии бродят по небу патлаты,  
 Тучи сбиваются грудой в палаты,  
 Ночи пугаются, сами не рады,  
 Что их сюда невзначай занесло.  
 Стряпчий же нехотя, задним числом  
 Чарки подносит, и грома раскаты  
 Меряют тучи размокшим веслом.

### *Он*

*Он и после смерти не вернулся.  
 Анна Ахматова*

Когда пройдем последний кон игры,  
 Останется всего одна обида  
 На итальянского маститого пиита,  
 Зарисовавшего из темноты миры,  
 Рассеченные, будто клетки в шашках,  
 От рая и до ада самых тяжких.  
 Он их сорвал, содрал куском коры  
 И написал на ней же.  
 Повинуясь нелепому порыву, в пустоту  
 Забросил перья, но вернулись перья  
 Опять к листу.  
 И снова недуг злейший

К своим кругам-круженьям недоверья  
 Кружил. И за верстой опять версту  
 Бросал в листы.  
 Когда игра гейм овер,  
 И нас сотрет с экрана Михаил,  
 Распределяя заново посты:  
 Давно умершим, тем, кто только помер,  
 Ни тем, ни этим неостанет сил  
 Сойти с лица заезженной дискеты.  
 Круги, круги, круги, и он там был.

\* \* \*

Когда пророк  
 Среди пытливых взглядов  
 Изрек,  
 Что от любви сойти с ума  
 Лишь женщине дано,  
 Тогда Она сама,  
 Пробравшись сквозь любовный сумрак адов,  
 Чтоб отыскать то самое зерно —  
 Крупицу чувств и, одолев преграду  
 Мужского разума, вдруг подвести черту  
 Безумия и ту  
 Стереть рукою,  
 Ведь женщина всегда была такою,  
 Чтя прежде мысли — тела наготу,  
 И вот пример:  
 Преодолев барьер,  
 Вдруг стала безнадежно влюблена.  
 Где то зерно? Ей не сыскать зерна!  
 И нету сладу  
 С пустыней, обступающей стеной,  
 Но этот зной  
 Несет в себе прохладу.

\* \* \*

Ангел хранитель мой,  
 Благо еще живой,  
 Леность видя мою,  
 Обленился и сам —  
 Так вот, что узнаю  
 Ангела по усам.  
 Белый пушок-бородка,  
 Да и его щепотка,  
 Будто бы у подростка,  
 Да по пустым глазам  
 Ангела переростка.  
 Перерасходовав часть  
 Жизни моей во благо,

Он просто стал бумагу  
 Под руку тихо класть.  
 И засыпал притом,  
 Чтоб не суметь потом  
 В тусклый иллюминатор  
 Дня различить экватор  
 Строк, осеня крестом  
 То, что напишет автор.  
 Не перечтя, крестил,  
 От фонаря крестил,  
 Так вот теперь, тогда.  
 Видно, меня любил,  
 Раз вот меня крестил,  
 Раз вот крестил всегда.

\* \* \*

Мне сегодня лошадь подарили  
На балконе. Или.  
А напротив — здание, превышающее крен,  
А на кухне пола шатание  
И ничего взамен.  
Только падать с одиннадцатого — прямая дорожка.  
Еще у школы была бомбежка  
И раненых отвозили. Или.  
Это американцы нас бомбили,  
Приговаривая: — За Чечню, за суверенитет малых наций!  
И ждали овец  
Бомбившие нас американцы.  
А мы не замечали  
Этих снарядов,  
Мы смиренно молчали,  
Пробираясь в школу  
Через душный сумрак, грохотавший, адов,  
Пригибаясь к долу.  
И хотелось лошадь себе оставить  
И учить дочурку на ней кататься,  
Не хотелось с лошастью расставаться,—  
Так о ней мечтала. Что здесь лукавить?  
Но кобыла сдохла от бутерброда,  
Ну почти что сдохла. Примчался врач,  
А она смердела вот здесь, у входа,  
И так было жалко, что прямо плачь.  
Здание стояло еще, шаталось  
Прямо у балкона —  
Почти колонна.  
Что-то очень долго не просыпалось —  
Лошадь было жалко.

\* \* \*

Но, залетные!  
И мы пошли,  
Вразной копытами перебирая.  
Нищие, голодные,  
Желая  
Только дотянуть до той земли,  
Где нам отворятся двери рая.  
Пей, ямщик,  
Гони нас, пой!  
Гробовщик  
Не пожелал бы плоше.  
Ты с десяток лет уже не лошадь,  
И тебе, конечно же, негоже  
Не уметь орудовать вожжой.  
Мчится по России удалая  
Тройка? Нет, повозка гужевая.  
Спой-ка, как лететь на этой рохле.  
Спой, пока лошадки не подошли.

\* \* \*

Улица, ведущая к садам,  
Уступает голубям дорогу.  
В голубятнях нынче мало проку,  
Но они стоят то здесь, то там  
Вниз по улице к садам.  
Здесь антенн кресты  
Под опереньем,  
И не верь прохожих завереньям,  
Будто ты  
Прозрел и высшим зреньем  
Видишь падших ангелов. Пусты  
И не так торжественны шесты.  
Но, бывает, промелькнет мгновеньем  
И подранком наземь упадет  
Темный, Тот, побрезгавший прощеньем.  
Улица к садам и окна настезь,  
Невозможно нынче городам  
Окна распахнуть, а эту ластишь  
И бредешь вослед ее следам.  
Господи, скажи, не здесь Адам  
Надкусил червивое с кислинкой?  
Вот смотри, он этой шел тропинкой  
К этим вот потрепанным кустам  
Лист сорвать. Воздать хвалу листам,  
Прикрываясь ими, как косынкой.  
Я иду по улице к садам  
И все думаю теперь, как жили  
В голубятне голуби. Адам.  
Где-то там,  
Но здесь сады срубили,  
Только память порубать забыли,  
И идут, и кланяются мили  
Этим вот потрепанным крестам.

Аркадий ПАСТЕРНАК

---

### *НА ДЕРЕВНЮ К ДЕДУШКЕ*

РАССКАЗ

До сих пор никак не вспомню, как назывались эти цветы. Нет, вру. Вспомнил. «Луговая герань» они назывались. Ядовито-синие, они встретили меня на обочине своими кокетливо-припорошенными пылью лепестками, которые распахнуты во все стороны света. Сколько же сторон света у цветов? У каждого цветка свое количество. Вот, например, сиреневым лепесткам можно сказать, как и полагается: «А пошли вы на все четыре стороны!» А на сколько сторон света послать ромашку с ее извечным: «Любит, не любит?» Ну, это уже другой вопрос.



А сначала была машина, вся желтая, приземистая и какая-то придорожно-луговая, как герань, может, оттого, что припорошенная пылью, а может, от запаха полей вокруг и бесшабашности дорог — колдобина на колдобине. Машина называлась странным словом на букву «б». Я так решил, потому что шофер наиболее часто употреблял это слово перед очередным броском в очередную колдобину. И когда машина нас бросила посреди дороги и поехала колдыбаться дальше, я так и сказал тете с чувством первооткрывателя посреди непознанных равнин: «От нас б... уехала». Тетя почему-то страшно возмутилась и непонятно о чем закричала.

Но не слушал я причитаний. Сраженный поднебесной красотой герани, я терзал нежные цветы, присоединяя стебель за стеблем к жадной до цветочных объятий груди. В обнимку с букетом шагал я на деревню к дедушке. Никогда до этого его не видал и хотел одарить красотой, но только показать, только поделиться, только представиться ею, а оставить для мамы. И терзал больную тетку, полурасплавившуюся от жары, извечным своим: когда мы вернемся, когда я снова увижу маму? И доживут ли цветы до этих времен?

Нас встретили куры, они домовито рылись в земле и кудахтали, еще хотелось про них сказать, что они доморощенные. Такие вот куры. И был, конечно, дом, а в доме, как полагается, — домовый. Он вылетел откуда-то, чуть ли не из трубы, ринулся к ногам тетушки и запричитал, припав к стопам, умильно разглядывая носки ее туфель: «Невестушка моя, невеста!» Так и стоял на четвереньках, косматый, страховидный, а за поясом — кнут. Тетя тихонечко заверещала.

Из распахнутой двери величественно вынесла себя дородная женщина. «Не пугайтесь, Лиля, это наш пастушок, дурачок деревенский, он всех женщин за своих невест считает», — прочрево вещала дородная женщина. В ответ жалкое бляение тети: «Что вы, Ангелина Степановна, я и не пугаюсь. Здравствуйте». — «Ну здравствуй, здравствуй». В упор обчмоканная раскатистыми поцелуями, тетя еще больше сжалась и побледнела. «А где же папа?»

Я усиленно моргал и соображал бойкими мозгами шестилетнего вундеркинда: «Ага, значит, эта мощная женщина, Ангелина Степановна, та самая семнадцатилетняя комсомольская активистка, к которой ушел мой дедушка от моей бабушки, оставив ее с двумя маленькими дочками. Нет, что-то не похоже. Про нее говорили тогда на кухне бабуля с мамулей?»

Появился дед. «Здорово, внук!» — поднял меня на руки, я выронил цветы. Да, именно такой он и был: широкий, разлапистый, оправдывающий прозвание свое: Михаил Косолапов. «Знаешь ли, куда ты прибыл?» — интересовался дед. «Ой, дедушка, цветы». Дед гнул свое: «В самые что ни на есть есенинские места, Рязанщина, мать ее! Во! Знаешь Есенина?» Я усиленно закивал головой, тетя меня всего уже обчитала с головы до ног стихами Сергея Александровича, и это был любимый поэт, только уж больно жалостливый и распахнутый, и плакать хотелось, и стыдно было. Неожиданно для себя я выдал: «Эти волосы взял я у ржи, если хочешь, над ними поржи». Дед залился тонким колокольчиком и посмотрел на меня пристально. Волосы у нас обоих были пышные, вьющиеся, светло-русые. «Дедушка, цветы», — талдычил я свое. «Ладно, ладно, поставим их в банку, если уж они тебе глянулись, у нас этой дряни полно растет», — косолаписто махнул рукой дед.

А потом начались родные места. Я чувствовал, я давно жаждал их обрести, я наткался на предметы своей мечты, полусна, детского послеродового лепета. Голос крови выводил меня, мальчика, из асфальтового мира на разухабистую, съехавшую набок собачью конуру, где обитал великолепно-лохматый

Цыган, и домовитые кольца его шерсти были взрощены этим домом, старым, родовым, разлапистым, косолапым. Я видел этот дом в своих снах, стоящий особняком, на холме, весь в деревьях, усадебно-вознесенный над селом, во всех смыслах он был особняком. Здесь жили дикие люди, непохожие на других, — Косолаповы и норов имели крутой, независимый. Потом пошла сладким соком вишневая смола, очень красивая и неожиданная. Было открытие старой кузни, дуплистых яблонь, ровесниц деда. Поразил укроп и в самое сердце — баран. Когда я попытался расширить границы этого мира, он загнал меня снова за калитку, одновременно загнав мое сердце в пятки, под землю, родную землю Рязанщины, где мои прадеды не боялись ни торков, ни берендеев, ни мещеры, ни монголов, а баранов резали стадами на празднествах диких в честь достославных побед.

А внизу пласталось село, расплзались, как казаки-пластуны, приземистые домишки, затаившись в преддверии Дикого Поля. И сама дверь эта зияла безверхним неограниченным небом, «высасывающим» глаза до беспамятства. Я стоял, и терял, и вновь обретал память, голова шла кругом от неба и от беспредела когда-то дикого Поля. (В свои шесть лет я читал и премного был начитан по истории отечества, знал все войны, конфликты наперечет, сейчас, на родине деда, для меня оживала история, обретая кровь, плоть и почву.)

За завтраком мне в тарелке с молочной лапшой попалась пенка, а я страсть как не любил пенки снимать и, поперхнувшись, выдавил молочный сгусток из себя обратно в тарелку. Дед скривился — плевать в тарелку?! Ангелина Степановна была сурова и непреклонна: «Ну и что? Ребенок. И потом, не в твою же тарелку он плюнул, в свою!»

И был бесконечный день детства. День деревенской воли. Друг Витька, на год старше, неспешный, рассудительный, не по-городскому мудрый. Мы сидели в каком-то овине, жевали сушки, подошла Витькина бабка. «Крошки стряхни», — одними губами прошелестел Витька. Я ничего не понял. Он мне потом обстоятельно разъяснил, что сушки эти из бабкиных запасов на случай войны, запасы огромны, чего там только нет, но все равно бабка ругаться будет и примерно такими словами: «У, ироды, для вас же стараюсь, жмых с лебедой, если что, жевать будете, ни сухарика вам не дам». На самом деле бабка добрая. Витька подарил мне замечательный складной ножик, первый в моей жизни. Я ощутил себя мужчиной, как же — при оружии. Но тут ко мне привязалась злобная собачонка, я от нее дунул с воплями через всю деревню. Витька спас меня, отогнал собаку и объяснил, что псине никогда не надо свой страх выказывать, она от этого пуще звереет, а тем более бегать от нее не след, стоять на своем — ни шагу назад, и все дела!

Нас катал на тарантасе милиционер Кузовкин. Сказал, что раньше на тарантасе был пулемет, из него сначала белогвардейцы расстреливали красноармейцев, а потом наоборот, а после этого тачанка конвоировала кулаков и подкулачников при выселении «вышеуказанных» в Сибирь.

Ходили на конюшню. Дергали лошадь за хвост. Она нас почему-то лягать не стала. Мы немножко подумали, постояли, нам стало неинтересно, и мы ушли.

Пастушок-дурачок катал меня на коне. Он посадил меня впереди седла, прямо на хребетину конскую, и копыта засверкали в бешеном аллюре. Мы, как в сказке, понеслись через два оврага, было очень здорово, ветер свистел в ушах, но слишком больно было вот так, без смягчающего все толчки и удары седла. Я захныкал и был ссажен с коня.

Во время обеда дед произнес с ехидной ухмылкой, прервав застольную беседу: «Да это-то все понятно, непонятно только: от кого дочка у Терешковой?» «Как от кого? — Я был поражен до глубины души. — От Гагарина!» Дед сначала

ла заквакал в кулак, потом захрюкал слезливо, затем его громово раскатило на всю кухню хохотом. «Ну спасибо, внук, ну разъяснил, — промокал дед слезы здоровенным платком. — Да-а», — качал он головой. Я же пребывал в полнейшем недоумении. Чего тут смешного? Гагарин — первый космонавт, Терешкова — первая женщина-космонавт, несомненно, они муж и жена, следовательно, и дети у них общие, чего ж тут непонятного?

Тетя увела меня в поле. И были снова открытия, но превзошел все василек своей простотой, нежеманной красотой. Венценокосный и в то же время с простецким и ласковым именем, он сразу затмил луговую герань. Стройный стебель, а наверху — венец творения из эфирных, полупрозрачных лепестков цвета неба, причем чувствуется, что выросли они в плоть цветка прочно, основательно, не дадут себя сдунуть какому-нибудь залетному бродяге-ветерку, не чета одуванчикам, с их легкомысленным пухом. И никак не хотел я верить тете, что такой цветок может быть вредным сорняком.

Мы звонили бабушке и маме. Телефон на почте оказался ровесником тачанки, из тех, у которых бешено крутят ручку и орут надсадно в трубку: «Барышня! Смольный! Барышня! Смольный!» В помещении почты я понял тайну света: это освещение полужидкое, чуть рассеянное, как профессорский рассеянный взгляд сквозь пенсне, какая-то бледно-желтая пыльность, припорошенность чарила среди голых, убогих досок почты.

А дальше были глубины. Что-то уже на уровне подсознания. Мы подошли к церкви. Полуподвальной вековой сыростью веяло от паперти, грязь, скрип подвод, рогожи, старухи в платках, два оборванных юродивых. Сжатая в жгут жалость и изначальность вошли в меня и скрутили в спираль. Я согнулся пополам. «Что с тобой?» — завоптала тетушка. Я молчал. Один из юродивых что-то бешено кричал, его слушала, сурово поджав губы, толпа старух. «Пойдем отсюда, пойдем», — потянула меня за руку тетя.

«Юродивые — особое племя в нашем отечестве, — говорила она, — их даже опричники не всегда отваживались трогать. Неприкосновенным провидцам — им было позволено говорить правду прямо в глаза даже царям. "Нельзя молиться на царя-ирода", — и все дела! Дурачок, мол, что с него возьмешь?» Примерно что-то в этом роде кричал сейчас и наш деревенский юродивый. «Сумасшедшие, — объясняла тетка, — это часто те, которые стоят себе, стоят на каком-то уме и встают на какой-то новый ум, который недоступен пока другим, староумным, людям. Спрыгивают, одним словом, с ума, горе от ума. Поэтому дворянина одного, Чацкого, объявили с ума сшедшим, поэтому принц один, Гамлет, прикидывается сумасшедшим, чтобы говорить правду. Поэтому новомыслящих людей и гениев так часто путают с сумасшедшими...»

Мы лежали с дедом на раскладушке под разлапистыми вишнями, пели песни о войне: «Землянку», «Синий платочек», «Темную ночь», «Враги сожгли родную хату». Мы любили с ним одни и те же песни. Дед был родной, тысячу лет знакомый, я рос без отца, мне не хватало ощущения мужественности рядом, и вот он рядом — кряжистый, основательный, с пшеничными усами и крепким запахом табака, почти божество для шестилетнего мальчишки. Он, наверное, нет, он даже точно воевал и защищал Родину, только не рассказывает об этом из скромности, но когда-нибудь я выпрошу, я выпытаю про подвиги, про победы.

А потом пришел сторож с колхозного склада, принес водку. Они с дедом стали пить в избе. Я забился в угол и слушал бесконечные словоизлияния сторожа о том, что жуликов развелось великое множество и все чего-то норовят утащить со склада, а в соседней деревне на прошлой неделе так вообще убили сторожа, зарубили топором. Я представил себе сам акт зарубания топором ста-

ренького, немощного сторожа, и противные, склизлые мурашки расползлись по всему телу.

Дед напился, он вцепился в меня красноглазым взглядом навывкат и заорал: «А ты чего тут подслушиваешь, жиденок, мразь?» Сторож вылупил на него: «Ты че, Фирсыч, ты че?» Дед запустил в меня пустой бутылкой, промахнулся. В комнату неспешно внесла свое дебелое тело Ангелина Степановна. «Ты чего разорался, а?! Чего буянишь, свинья?! — наступала она на деда.— Твой ребенок, что ли? Какое право имеешь?!» Она вытащила меня на улицу, дед потянулся за второй бутылкой. Но я рвался туда, к деду, это был мой дед, часть моей крови, я не согласен был с тем, что я не его ребенок, я любил его. Но Ангелина Степановна крепко держала меня. А дед меж тем бушевал: «Кровь жидовская поганая, заполонили всю Россию, продыху не дают! Внука мне привезли, ишь ты! А ты знаешь, Федосей, что отец у него того, наполовину еврей? Подсунули мне рыжую морду. А он такой же грязный, противный, как они все, в тарелку плюет. Над Есениным, падла, издевается, над Терешковой, над национальной гордостью! Как он смеет, мать его!» «Прекрати! — заорал сторож.— Он внук тебе, поимей человеческий облик, Михаил, поимей немедля!» «Нет, не внук он мне, трусливый, как они все, собачонки вот такой испугался, на коне не усидел, обдристался, какой он после этого Косолапов, мы в деревне все видим, все знаем, не дам ему свою фамилию, пусть со своей, жидовской, всю жизнь позорится!»

Дальнейшего я не слышал, тетя и Ангелина Степановна увели меня. Я не мог никак понять, чем так провинился перед дедом, кто такие жида, и кто такие еврей, и в чем они тоже перед ним виноваты, и почему я вдруг из светло-русого так внезапно превратился в рыжего, и чем плох мой отец, которого я редко вижу (он живет за тысячу километров от нас), но который меня очень любит.

Тетя плакала и собирала вещи в дорогу. «Папа теперь будет в запое, надо уезжать»,— говорила она. И я понял, что пьяный — это что-то вроде юродивого, только наоборот.

Мы шли вечерним полем, и герань ядовито-сине улыбалась вслед, и ромашки ошарашенно качали головами: «Любит, не любит?»

Я уважал свою тетю за то, что она всегда говорила со мной, как со взрослым, вот и сейчас она сказала: «Ты должен его понять, у него очень нелегкая судьба. В одиннадцать лет он в теплушке уехал из родного села, сбежал Москву смотреть. Был беспризорником, потом — детдом. А МГУ окончил тем не менее с отличием. В аспирантуре его оставили. Так нет, он отказался и поехал в деревню учительствовать. Там встретил твою бабушку, родились мы с твоей мамой. Потом встретил эту Ангелину Степановну, и от нее у него было еще трое детей. Потом написал роман о коллективизации, отвез в какую-то редакцию столичную. Признали роман талантливым, но сказали, что он занимается «очернительством». Сказали, чтоб переделал. Как тогда не посадили, уму непостижимо! Он переделывать не стал, а принял пачку люминала (это снотворное такое), еле откачали. Стал много пить. Ты представляешь, где он сейчас работает? В школе для умственно отсталых детей, и это с его талантами!»

«Подожди, тетя, а как он воевал?» «А он вообще не воевал,— очень просто сказала тетя,— относил в военкомат справки брата, хронического алкоголика, тоже М. Косолапова, состоявшего на учете в психбольнице и освобожденного от службы, выдавая их за свои. Представляешь, с его талантами...» — продолжала тетя. Но я ее уже не слушал...

Ехали обратно мы почему-то не на машине, а в электричке. Я угрюмо смотрел на мужчин, играющих в карты, на других людей, сидевших на соседних скамейках, и мне во всех мерещились жулики с топорами за пазухой, и я сжимал до

боли в кулаке перочинный ножик, подарок друга, готовый сражаться со всеми жуликами на свете до последнего, защищая свою тетку, и ни шагу назад, как учил меня Витька, драться за этот букет васильков, который я прижимал к груди и вез в подарок своей маме с ее Родины, с моей Родины.

---

Геннадий РУДНЕВ

### *ОТ СНЕГА ДО СНЕГА...*

\* \* \*

Какая долгая зима!  
Уж погреб пуст. Подорожает  
до будущего урожая  
опять картошка. Ждет сума  
детей моих. И как ни врешь,  
а посох свой сгибаешь круче,  
чтобы удобнее канючить  
на пропитанье медный грош.

Какая странная болезнь!  
Как будто мертв наполовину,  
и сам к себе пришел с повинной  
в убийстве, и спешишь залезть  
на плаху, шею под топор  
вытягиваешь в ожиданьи.  
И чем скорее наказание,  
тем справедливей приговор.

Как равнодушие легко,  
когда от Бога нет защиты!  
И день до вечера просчитан  
не воздаяньем, а плевком.  
Сотрешь с лица, и жизнь сама  
подсказывает вывод скверный:  
все преимущество ума —  
в его отсутствии, наверно.

Какие странности в любви?  
Обыденно, обыкновенно  
друг другу мы вскрываем вены,  
пока в душе не закровит.  
В разлад, в разрыв, в разврат навзрыд  
бросаемся вниз головою  
и числим страстью роковою  
зудящий похоти нарыв.

Как целомудренность слаба!  
Когда в тревоге и печали  
смирненно следуешь словам,  
случайно сказанным вначале.



Так прозы стыдная печать  
наружу просится истошно:  
то хочется прикрыть ладошкой,  
то всему свету прокричать!

Но погреб пуст. Легка сума.  
И хрупкий посох — мой попутчик.  
Он путь, как суть, находит чутье,  
чем сам хозяин.

Снег. Зима.

Дорога. Сумерки. Вокзал.  
А на панели — Божья Матьер...  
Скажи мне: не на эту ль паперть  
Твой Сын дорогу указал?

Ответь безбожнику с клюкой:  
отсюда ль греховодным чтивом  
предвосхищать велеречиво  
всю жизнь с протянутой рукой?  
И вновь испытывать раба  
в его неверии убогом?..

Какая дальняя дорога!  
Какая скучная судьба!..

\* \* \*

Беда стократ беда, когда  
ведет неведомо куда  
дорога в гору.  
И камень кругл, тяжел и гол,  
и угол крут, и гладок скол,  
лишь Богу впору  
преодолеть такой подъем,  
гордясь в бессмертии своем  
долготерпеньем,  
но смертным ясно в маяте  
камнепаденья,  
что держит их на высоте  
лишь сила тренья.

\* \* \*

Упомяни!.. На край стола подвинь  
Свечу, что в центре до меня стояла,  
Своих богов низвергнув с пьедестала,  
Как некогда я сбрасывал богинь

С него же. Как в одном огне вдвоем  
Сгореть, когда испуганные нами  
Святые соглашаются с богами  
Оставить нас, оставшись при своем?

В затылки глядя струсившим богам,  
 Все принимая, не пойдем, сгорая,  
 Кому мы воскурили фимиам.

В преддверии обещанного рая  
 Горит свеча на краешке стола.  
 А ночь светла.

\* \* \*

Зима — торжественная смерть.  
 Слепяще-яркая, нагая,  
 На ощупь — твердая такая,  
 Такая мягкая на вид.  
 На лед, на крошки растереть  
 налет морозный помогая,  
 она догадкой настигает  
 вдогонку, походя, навскид:  
 кто первый здесь — она иль мы?  
 И кто кому в непониманье?  
 На собственные поминанья  
 опаздываем, наслоив  
 свой след на след чужой зимы,  
 и нет в сознании заминки —  
 кого вы ждете на поминки?  
 Они сегодня — на своих...

\* \* \*

Первый снег. Нежный холод небес.  
 Запорошенность.  
 Что на глупую память ссылаться?  
 Повторение — жизнь. По-хорошему,  
 хоть бы так на Земле оставаться!  
 Хоть бы как! И один на один —  
 небессмысленно!  
 В пустоте — своя вечная нега.  
 Жажда жизни с весны до весны —  
 та же истина,  
 что и жажда от снега до снега.

---

Людмила МАКАРОВА

**МАРМАЗЕТКА**

МАРТОВСКАЯ ЗАРИСОВКА

**Я** живу на первом этаже и поэтому каждый вечер вижу, как она высматривает меня среди входящих в подъезд. Я машу ей рукой — привет, дескать, зажда-лась? Но на подоконнике ее уже нет, побежала караулить у двери. Когда дверь, наконец, открыта, она не бросается мне навстречу, а терпеливо сидит и наблюдает, как я снимаю пальто и ботинки, осторожно обнюхивает сумку и только по-

сле этого подходит здороваться. Она несколько раз обходит мои ноги, чуть задевая их шелковым боком и кончиком хвоста, и трусит впереди меня в комнату. В квартире она чувствует себя хозяйкой, ведь она проводит здесь все свое время, знает все закоулки, и, когда приходят гости, может спрятаться так, что ни за что не догадаешься.

Гостей она не любит с тех пор, как однажды подруга провела у меня всю субботу со своей пятилетней дочкой. Девочка очень заботлива и любвеобильна. Особенно она любит кошек. И Мармазетка не стала исключением. Еще бы, она такая красивая и умная. Ее так увлекательно пеленать и укачивать. Куда увлекательнее, чем куклу. Я виновата, обнаружила девочкину забаву не сразу, но Мармазетка на меня не обиделась. Она ведь все понимает. Дети есть дети. Они не могут не играть. Только теперь она опасается гостей. Так, на всякий случай.

В комнате я бережно распрямляю на плечиках дорогой офисный костюм, влезаю в длинный пушистый халат и валюсь на широченный диван, наконец-то расслабляя спину. Это мой ежедневный тамбур между работой и домом. Просто не представляю, как можно, едва переступив порог, ринуться на кухню. И Мармазетка этого бы не поняла. Чуть переждав, пока я займу свою часть дивана, она устраивается рядом. Как всегда на хитром расстоянии, таком, чтобы мне было удобнее гладить ее загривок. Она подгибает лапки, старательно укладывает их под себя и огибается длинным хвостом, кончик которого попадает точно в середину грудки и подрагивает, показывая заинтересованность в разговоре.

Мармазетка молода, красива и очень изящна. Я тоже молода и красива, а когда мне хотят сделать комплимент, то первым делом говорят об изяществе и грации, потому что я маленького роста и хорошо сложена. Мы с ней вообще очень похожи — у нее короткая шерсть, у меня короткая стрижка, у нее карие светлые глаза, у меня карие потемнее. Но самое главное — мы сходимся во вкусах. Наверное, потому так и подружались.

Мы обе аккуратистки. Любим во всем порядок. Каждая вещь в нашей уютной квартирке строго занимает свое место, текущая уборка по понедельникам, средам и пятницам, а недельная закупка продуктов по субботам. Мармазетка пользуется унитазом не хуже меня, точит когти о специальное бревнышко и играет только собственными игрушками, а не катушками и мебельными ключами. Когда я приношу свежие цветы, она осторожно обходит узкую, высокую хрустальную вазу, внимательно их осматривает и обнюхивает. Одобряет. Я не могу себе представить, чтобы она разбила фужер или порвала газету. Я ее к этому не приучала, странно даже подумать, что ее можно к чему-то приучить. Она сама знает, что делает. Просто нам повезло — сошлись характерами. Мармазетка устроила свои лапки, включила урчалку и ждет, что я ей сегодня расскажу. Я, как и полагается, предварительно интересуюсь:

— Ну что, Мармазетиха Кошаровна, как дела? Все в порядке?

Она согласно смыкает веки. Я тихонько глажу ее загривок, обводя пальцем пятнышки. Мармазетка вся состоит из пятен. У нее имеются пятнышки черные и белые, двух оттенков рыжего и трех серого. Даже на подушечках лап, кнопке носа и усах умещаются несколько. Говорят, такие кошки к счастью. Но к Мармазетке это не относится. В самом деле, невозможно же представить, что, знакомя с блондинкой, вам говорят: «Рекомендую, это Маша, она натуральная блондинка, поэтому приносит удачу». Не знаю, как Маша, а Мармазетка такого не одобрила бы. Ведь она понимает абсолютно все. Даже странно это объяснять. По-моему, Мармазетка не умеет только работать и разговаривать. А слушает и чувствует она точно так же, как мы. Хотя ее не-

умение разговаривать относительно. Почти по-русски она умеет говорить два слова — «мне» и «угу». «Мне» она говорит, когда я прихожу из магазина, требовательно и протяжно, удостовераясь, что филе хека и пачка «Вискас» предназначены именно для нее. А «угу» она говорит очень часто, соглашаясь с моими предложениями перекусить, немного поспать или посмотреть телевизор. Правда, получается у нее коротенькое «гур-гур», но зато очень убедительно. В остальное время мы понимаем друг друга и просто так. Вот как сейчас, например.

Я рассказываю:

— Устала как собака. Знала б ты, как неохота после работы еще на курсы тащиться. Конечно, тебе хорошо, спи себе, отдыхай.

Но Мармазетка знает, что это не главное, и мне приходится расколоться:

— А у нас сегодня было большое совещание. Наш отдел хвалили. Вернее, меня. За ту самую новую систему учета товаров, которую я придумала. Недаром против нее так восставали. Теперь все как на ладони.

Мармазетка внимательно слушает, кончик хвоста подрагивает. Она за меня рада. Не только за систему учета. Но еще за то, что сегодня мне удалось увидеться с Ним. Она знает, что я влюблена в начальника моего начальника, а вижу его редко, только на больших совещаниях или когда моего начальника нет на месте. Вернее, влюблена — слишком сильно сказано. Просто он единственный, на кого стоит обратить внимание. Он молод и притом солиден, интеллектуален и атлетичен, вежлив и тверд в решениях. Он источает ауру мужественности. Даже очки не портят его волевой профиль. А наличие обожаемой им, очаровательной, беззаботной жены и двух потешных малолетних детишек, фотография которых украшает его рабочий стол, делает образ настоящего мужчины законченным. К нему нечего добавить. Можно только прикоснуться и восхититься. Как произведением искусства в музейном зале. Поэтому слово «влюблена» не вполне верно. Просто приятно, что такие, как он, бывают и что иногда случаются большие совещания.

Мармазетка растрогана моим лирическим настроением, она осторожно, чтобы не нарушить равновесия подогнутых лапок, подвигается поближе, урчит громче и томно прикрывает глаза. Еще немного — и совсем разомлеет. Но я смотрю на часы и спохватываюсь:

— Лежим, да? Размечтались! Между прочим, ужинать пора, а то к сериалу не успеем.

Мармазетка «угукает», и мы идем на кухню. Я делаю салат из крутого яйца, крабовых палочек и парниковых огурцов, накладываю его горочкой в белую креманку, посыпаю желтком и украшаю по краю свернутыми в розочки тонкими ломтиками огурца. Получается красиво. Мармазетка внимательно следит и одобряет мое художество. На горячее у нас цыпленок из СВЧ. Я люблю красивый стол. Расставляю прозрачные тарелки — большую подставную и маленькую хлебную на белую с шитьем салфетку. Мармазетка занимает свое место напротив и терпеливо ждет. Она ест почти все то же самое. Только по чуть-чуть. И тут наши вкусы совпадают. Мы обе не любим то, что называется «мясопродукты». Мы любим настоящее мясо и свежие овощи. И еще пирожки собственного изготовления. Мармазетка мне помогает их печь. Она зовет меня вынимать противень из духовки точно в тот момент, когда пирожки уже не бледные, но еще не подгорели. Она определяет этот момент по запаху. Ей проще: не нужно открывать духовку и смотреть. Вот она и помогает. Но это по воскресеньям. А сегодня вторник, и мы уплетаем курицу и салат. Мармазетка обходится без вилки. Вернее, у нее есть своя. Она накалывает маленькие кусочки крабовых палочек, огурца, яйца, хлеба и курицы на коготок и прямо с

него ест, сидя на табуретке напротив. Очень удобно. На табуретку я ей положила специальную подушечку, чтобы было повыше. Я кладу на ее край стола кусочки всего, что ем сама. Она должна все попробовать, иначе обидится. Если я дам ей курицу, а огурец не дам, она может подумать, что я отношусь к ней просто как к кошке, а не как к подруге. Ведь подругу всегда спрашивают: «Тебе что, чай или кофе?»

После ужина, пока я мою посуду, она занимает кресло перед телевизором. У нас такой уговор — кто первый займет, тот и сидит. Друг дружку не выгонять. Конечно, она пользуется тем, что я задерживаюсь на кухне. Но я ей прощаю. К тому же она так поступает не всегда. Мы включаем мыльную оперу из тех, которые смотрят все, но на работе в этом не признаются. Я, например, точно знаю, что мой начальник тоже ее смотрит, хоть и мужчина. Он однажды себя выдал. А уж нам с Мармазеткой и вовсе позволительна такая слабость. Я смотрю вполглаза, просто слежу за сюжетом, перелистывая параллельно журнал, а Мармазетка смотрит внимательно, не шевелясь, все сорок минут. Только зрачками не водит — просто пялится на экран, и все. Сегодня серия закончилась не на самом интригующем месте, и выключать не жалко. Вполне можно потерпеть до завтра. Тем более что нас ждет еще одно не менее приятное занятие — ванна.

Само собой, ванну принимаю я. Но Мармазетка тоже равнодушна к этой процедуре. Особенно когда она сопровождается огромной шапкой лавандовой пены. Мармазетка осторожно обходит край ванны, садится на уголок и трогает лапкой пену. Наверное, не может понять, почему видит большое и белое, а на лапе остается только влажный след. Хотя спроси меня — почему, я бы тоже не объяснила, несмотря на пятерки по физике и химии в аттестате. Я давно привыкла не задумываться над такими вещами. Ведь они не влияют на объем продаж нашей фирмы. Мармазетка, по-моему, тоже уже не удивляется, просто ей занятно. Вообще она любит воду. Только не любит быть мокрой. Может часами смотреть в сливное отверстие и пытаться поймать струю. На ее немой вопрос, почему вода мокрая и течет, я тоже, к сожалению, не могу ответить. Потому что вода. Но Мармазетку это не удовлетворяет, все, что связано с водой, остается самой большой тайной в ее жизни. В ванне мы проводим довольно много времени — я расслабляюсь, она смотрит на воду. Мы друг другу не мешаем и думаем каждая о своем. А вот кремы, которыми я обильно мажусь после мытья, Мармазетке решительно не нравятся. На ее взгляд, они слишком сильно пахнут. Она презрительно фыркает и старается не подходить ко мне слишком близко, пока запах не выветрится. Вообще-то спать не особенно хочется, вернее, не хочется совсем. Я бы с удовольствием еще почитала или посмотрела телевизор. Но у нас твердое правило: ложиться спать в одно и то же время, с одиннадцати до половины двенадцатого. Каждый раз, когда я отступаю от этого правила, утром об этом жалею. Да и Мармазетке приходится будить меня не нежным щекотанием усов, а громким мяуканьем под дверь. Потому что ей пора в туалет. Я дисциплинированно стелю постель. Но Мармазетка не спешит на нее забираться, а сидит возле дивана и ждет. Я догадываюсь, чего она ждет.

— Слушай, Мармазетанка, ты обнаглела. Я же в воскресенье постелила чистое.

Но Мармазетка продолжает выжидать. И, конечно, добивается своего. Она знает, что свежее постельное белье — не только ее слабость. Едва я достаю из шкафа комплект, как она моментально на нем устраивается.

— Извините, пожалуйста, Мармазетуленция Котовна, мне придется вас тревожить, — язвлю я и вытаскиваю из-под нее простыню.

Я влезая в ночнушку и ныряю в благоухающую постель. В шкафу я держу специальные сухие духи. С запахом нашей любимой лаванды. Спать по-прежнему не хочется, но я себя убеждаю:

— Мармазуль, давай спать.

Она показывает мне, как это делается: смачно растягивается во всю длину, распрямляя ладошки, потом сворачивается клубочком и медленно смыкает веки. От нее веет ровным жаром, как от маленькой печки. Я слеую ее примеру и тоже опускаюсь в сон. Сон приятный, сладкий, тягучий, навеянный запахом лаванды.

В сон врывается странный, неестественный, как из фильма ужасов, стон. Он повторяется еще и еще. Я открываю глаза и слышу стоны еще четче. Мне страшно. Я ищу Мармазетку, но ее нет. Я включаю свет и вижу ее сидящей на подоконнике. За окошком, в пятне света от уличного фонаря, на грязной, не прикрытой ни снегом, ни травой весенней земле сидит и стонет огромный, раза в два больше Мармазетки, рыжий кот. Я беру Мармазетку на руки и успокаиваю:

— Ничего страшного, не бойся, я же с тобой.

Но она вырывается и начинает вторить коту таким же жутким стоном. Этот стон от нее не зависит, она и сама от него мучается, но ничего поделать не может. Она совсем не похожа на прежнюю, деликатную и умную Мармазетку. Мне очень хочется, чтобы она не мучилась, а взяла себя в руки. Или в лапы. Не важно. Я глажу ее и уговариваю:

— Ну, Мармазеточка, ну миленькая, ну не надо.

Но она не понимает. Она меня не понимает. Ее маленькое тельце больно напряжено каждой мышцей. Она не отрывает безумный, страдальческий взгляд от призывных желтых огоньков за окном и со всей силы бросается на стекло. Звуки ударов и дребезжание стекла примешиваются к стонам, и этого я уже не выдерживаю. Я судорожно открываю окошко, кое-как сдирая зимнюю заклепку, и попрекаю:

— Видишь, ты какая! Подруга называется. Предательница ты!

Но она не слышит. Она меня не слышит. Едва приоткрывается створка, она пулей вылетает за окно и исчезает за пределы светового пятна вместе с огромным рыжим котом. Комнату заполняет головкружительный, холодный запах талой земли, без труда вытесняя лаванду и ароматы дорогих кремов. Не боясь простуды, я сажусь на подоконник и горько плачу. Не о том, что Мармазетка ушла. Я уверена, она вернется и наверняка не одна. Просто мне обидно. Мне чертовски обидно, что в такую умопомрачительную мартовскую ночь я могу оставаться всего лишь чуть-чуть, самую капельку влюбленной в начальника моего начальника.

---

Михаил КОРОБОВ

### ***ДЕБИЛЬНАЯ СУМКА МАДЕ ИН ДЖАПЕН***

— Да у него презерватив вместо сердца, — молодо сказала учительница. Около десяти над последними московскими переулками очистилось небольшое осеннее солнце. Через полчаса на густо-синем небе не осталось ни облака. Свежая тень от школьного здания легла параллелограммом вдоль мостовой. Неподвижны стали ржавые листья на считанных тополях и обрубке липы. Застыли форточки. Металлически заблестела трава на единственном клочке

живой земли за забором посольства. Воздух вверху сделался золотистым, редкие открытые окна почернели.

Под аркой грузного дома с каменными фигурами старуха в пальто поставила отвязанной собаке, жившей возле булочной, коробку с едой. Деликатная собака из бывших отворачивала узкую морду и смотрела на еду краем глаза, как будто опасалась, что не выдержит и кинется к коробке слишком жадно.

Сквозь эту арку видна была другая, узкая, а за ней уже — огромная яма, где разрывалось от грохота строительство.

Делалось совсем тепло. На несколько дней выныривало лето. Шоферы, дежурившие в припаркованных машинах, распахивали двери. От одной крыши пошел вверх едва заметный парок.

— Да у него презерватив вместо сердца,— сказала молодая учительница неизвестно о ком.

Она произнесла эти слова с только что открытой легкостью, держа в руке завинчивающуюся бутылочку, откуда — по новой моде — глотнула обыкновенную воду. Слова предназначались менее уверенной в себе подружке.

Подвигин, ученик ...ти лет, оказавшийся тут же, у соседнего окна в школьном коридоре, услышал их и на секунду сделался невменяем. По возрасту он чувствовал еще гораздо острее учительницы. Его увлекла неожиданно приоткрывшаяся женская слабость. Подвигин был влюблен в эту учительницу и сильно влюблен в одну девочку из своего класса.

В следующую минуту он, к собственному разочарованию, уже ничего не чувствовал и активно, точно зверек, вертел головой.

Он ждал, может, подойдет со своим разговором Спасенова, ждал Розентальс, но не дождался. Прошел в класс Серый. Просто Серый, не Серый Петров. Пропрыгал Папа Римский. Толстая Тищенко зачем-то топталась в коридоре.

От нечего делать Подвигин крикнул ей:

— Что стоишь, дебильная? Приколебала!

Тищенко поняла, что влипла, и закрылась книжкой.

Тищенко нужно было зайти в уборную, но она стеснялась это сделать на глазах у Подвигина. Подвигин нравился ей. Но никаких средств заинтересовать его девочка не имела.

Хрипло прозвенел звонок, и ничего из того, на что рассчитывал Подвигин, до первого урока не случилось.

На перемене, наконец, подошла пара: Спасенова и Чаплыгина. Пахнущая утюгом Спасенова спросила:

— Мы скажем на русском. Ты скажешь?

— А ты?

— Вот она скажет!

— Она скажет,— повторила о себе Чаплыгина.

— Дура, ты скажешь! Дошло?

— Нештяк.

Пара отошла. Подвигин ни капли не сочувствовал Розентальс и не жалел ее. Его беспокоило только, что ребята равнодушно готовятся к разговору на уроке и неизвестно, как поведет себя молодая училка Фара (Фарида).

— Не хило Розентальс быть со всем классом! — бесстыдно орал Подвигин на перемене, силясь подогреть одноклассников.

— Ты чего, Подвигин, она же твоя невеста! — нагло крикнул ему Серый Петров.

Подвигин погнался за ним и повалил его на пол. Костлявый Серый Петров поддался, дал сбить себя с ног, но, когда вставали, бородавчатым кулаком ловко ткнул Подвигина в печень. Подвигин согнулся и крикнул по-заячьи.



— Подвигин, а ты сам-то еврей? — испытующе спросил Серый Петров.

— Да нет вроде...

— Ну ладно, — сказал Петров самым гадким тоном и дружелюбно положил на плечо Подвигина тот самый кулак в бородавках и зеленке. Подвигин тоже обнял его, и так они вернулись в класс.

Потом казнил себя за этот ответ. Не так нужно было ответить! Не так, а вот как: «Не ссы, Параша, победа будет наша! Прикол!»

Вот каким должен был быть настоящий ответ, но Подвигин не смог вовремя найти его.

Накануне прошли состязания шестых классов по легкой атлетике. Шестой «А» позорно проиграл. Кроме того, во время прыжков в высоту произошел случай, вызвавший у всех учеников сначала одинаковый восторг, а потом одинаковый гнев. Он-то и выливался сегодня утром на голову ничего не знавшей Майи Розентальс, коротконогой контрастной брюнетки, нравившейся в разной степени пятерым, в том числе одному восьмикласснику.

Майи на физкультуре не было. Вместе с освобожденной Кристиной Калинкиной они убежали на Ордынку смотреть на клочок земли обетованной за забором израильского посольства. Майя часто бегала туда и увлекала за собой явную Кристину. К счастью, в школе об этом пока не знали.

Заикающийся учитель физкультуры Венчунас выстроил в шеренгу всех: и тех, кто пришел в трусах, и тех, кто не смел раздеться дальше тренировочного костюма, и даже тех, кто никогда не раздевался на физкультуру и не имел прав желать этого.

В прохладном актовом зале слабо пахло мокрыми опавшими листьями. Этот бесцельный запах вместе с запутанной в нем острой тревогой проникал с заасфальтированного двора. Он был клочком самого пугающего настоящего.

Впереди на облупленных коричневых стойках покоилась неровная металлическая планка.

Первым делом Венчунас прыгнул сам. Учитель всегда показывал упражнения два раза. Сначала, как надо, а потом — как не надо его делать.

Подвигин со страхом ждал этих состязаний, мечтал победить, но сейчас почувствовал, что не сможет прыгать как следует. От волнения он одеревенел. Ноги сделались тяжелыми, точно он был какой-нибудь старательный жирдяй Гирусов. На разминке Подвигин тщательно отмерил разбег для левой толчковой ноги, побежал, нарочно споткнулся и, мотая головой, заковылял к стульям, сваленным на сцене. Никто не оценил этот спектакль, но теперь Подвигин мог говорить, что травмирован.

Он сел, прикрыв руки и ляжки шерстяной курточкой. Никакая сила теперь не могла оторвать его от стула.

Соревнования же шли своим чередом. На первой высоте послушно сошли все девочки. Они даже не пытались прыгать. Просто подбегали и с визгом брали холодную планку в руку. Мелькали их беленькие подмышки. Подвигин заметил, что Венчунас подталкивал снизу большую, с белыми, как бумага, ногами, Протопопову из «Б», но она все равно не могла подпрыгнуть и с треском шагла на маты. Ребята из шестого «А» все прыгали отвратительно. Планка раз за разом гремела. Один Перельман смог перешагнуть своими длинными заросшими ногами метр пятнадцать. Но он прыгал нехорошо, неспортивно, и ему стали кричать и свистеть под ногу. Перельман скис и смешно сшиб следующую планку задом.

Затем Сыщиков из «Б» класса со своей круглой короткой стрижкой и завитком на шее свободно перелетел метр двадцать пять. После прыжка он хлад-

нокровно поправил высокие шерстяные носки — так, чтобы синие фирменные полосы были одинаково видны при повороте. Сыщиков был признанный спортсмен и нравился нескольким девочкам. Подвигин сильно завидовал ему и подражал, как мог.

Но не Дрон Сыщиков, а другой, из класса «Б», незаметный Цветков, сделал этот невероятный прыжок на метр тридцать пять. Было уже поздно, и Венчунас сказал, что разрешает только одну последнюю попытку. Оба класса встали и поплелись к дверям. За окном приближались сумерки, и листьями теперь пахло сильнее.

Цветков сбоку подбежал к планке. Подвигин запомнил, что в ту секунду, когда он отрывался от земли, многие, даже некоторые девочки, невольно подняли правую ногу, ту самую, которой прыгун потянулся вверх. Цветков верным движением собрал тело, невесомо лег над планкой, проплыл над ней, чуть развернув голову в сторону зрителей, а потом нырнул вниз и складно выбежал с матов под гулкие хлопки.

Десять минут после этого возбужденно говорили только о прыжке. Он действительно состоялся, что не сразу укладывалось в головах.

Ученики «А» класса собрались в коридоре и, перебивая друг друга, хвалили скромного Цветкова. Другим, что с удовольствием обсуждалось, были собственные неуклюжие прыжки. Никто и не думал врать и оправдываться. Разговор был шумным и очень веселым. Даже бесправные Гирусов и Тищенко стояли пока рядом, и их никто не гнал. Про Майю Розентальс вспомнили только потому, что она пропустила этот рекордный полет. Ее и других отсутствующих жалели. Чуть позже, когда мимо проходил Сыщиков, уже одетый в джинсовый костюм, непроницаемый, жующий жвачку, Спасенова, девочка, нежно любимая своим папой, порозовев, наперекор формуле «...зло — привито!» сказала, что Розентальс и не нужно было видеть прыжка, потому что ей это неинтересно. Спасенова не объяснила своих слов, но все ее поняли. Спасенова считалась самой честной из девочек. Потом она сказала с сожалением, что из-за таких, как Розентальс, их класс недружный и всегда будет проигрывать. Подвигин тотчас поддержал Спасенову. Ему остро захотелось унижения Розентальс. Розентальс была как раз та девочка, к которой Подвигин испытывал свою любовь-одиночество.

А еще через десять минут в раздевалке у мальчишек, где кидались кроссовками и раскисшими гамбургерами, расшалившийся Подвигин, не Серый Петров, крикнул: «Дави жидяру!»

Раза два в неделю, обычно в понедельник и вторник, Подвигин вырывал у Розентальс рюкзачок, японскую школьную сумку, и бежал ее прятать. Розентальс бесило, что Подвигин находит для ее сумки самые грязные углы. Розентальс была чистоплотна и брезглива, чего Подвигин был не в состоянии заметить. Стащив сумку, Подвигин не признавался в этом, а идиотничал, счастливо ржал, ревниво отгонял других мальчишек, которые нарочно говорили, что сумку взял не Подвигин, а кто-то другой.

— Маде ин жопен! — вопил Подвигин перед самым носом Розентальс.

Та злилась, однако настоящего страдания, конечно, не было. Позже Подвигин отдавал испачканную сумку. Он близко подходил к Розентальс и говорил с приятной ему одному тихой жалостью: «На». Розентальс отвечала: «Ублюдок!» или реже: «Козел!» Они никогда не говорили и не могли сказать друг другу иных слов.

С другой стороны, Розентальс не боялась этого мальчика и считала его своей временной собственностью. Она чувствовала себя увереннее оттого, что По-

двигин и другие четверо влюбились в нее. Сама она до сих пор не испытала никаких сильных чувств, но, как всякая умная девочка, пользовалась маленьким авансом взрослости. Она отлично знала, что Подвигин, прячась, бредет за ней после уроков до самого дома. Ей передали, что Серый, не Серый Петров, за два бакса подсматривал под партой для Подвигина цвет ее трусов, и она не смутилась. Она видела Подвигина вечером из своего окна и выговаривала в немую телефонную трубку: «Как ты мне надоел, идиот!» — и звонок срывался.

На последней перемене, когда Подвигин поймал Папу Римского и душил его, у него случился короткий приступ угасания пыла. Пахнувший сладкой жвачкой Папа не желал ничего говорить о Розентальс и, лежа покорно на руках Подвигина, тихо повторял: «Блин, дура коротконогая». «Короче, Папа! — хохотал Подвигин. — Она тебе нравится?» — и тут же получил две-три меры самого паскудного опреснения желаний. Подвигин смутился, но смог отвлечь себя и выровнял настроение. Потом они с Папой ходили кругами по школьному двору и дружелюбно шептались, хотя вокруг никого не было. Папа рассказал про одну взрослую, с которой вместе лежал два месяца в легочной больнице. Она его ревновала. Уже вдогонку Папа успел соврать, а Подвигин уступчиво смолчал, будто прыгал выше Цветкова на стадионе в Риме (там служил его отец) на особом толкающем покрытии!

Со двора Подвигин кинулся в здание, чтобы успеть увидеть Розентальс перед классным собранием (его уже собирали Спасенова и Чапыгина), а Папа продолжал в одиночестве подпрыгивать и фальшиво петь.

Подвигина почти влекло к этому свиданию перед собранием и несколькими словам, которые уже раз двадцать про себя были опробованы.

Да, именно влекло, и он запомнил чудесную, почти полную машинальность, или *полетность* (слово молодой учительницы Фариды, сказанное по другому поводу), поступков.

Подвигин нашел Розентальс на четвертом этаже, где учились ее младшие братья. Она сидела на подоконнике, как запрещено было сидеть, свесив плотно сдвинутые ноги в колготках. Левая ножка ниже колена была чуть искривлена. Подвигин почувствовал слабость от того, что этот очень известный ему изъян был сейчас виден так явно. Он пробежал мимо, столкнулся с двумя девочками, которые шли навстречу и громко пели, а потом, справившись с собой, решился подбежать к подоконнику. В сущности, он пришел прочесть на лице Розентальс (чувствовал это кровью, и нет на свете силы сопротивляться!) миловидное признание ее унижения.

Было сказано со смирением:

— Розентальс, жвачки хочешь?

Розентальс, которой Кристина Калинкина все уже рассказала в красках, невольно ответила так, как в похожих случаях отвечала ее мать:

— Отойди, дерьмо!

Удивительно, что перед ответом Розентальс чуть-чуть замешкалась, почувствовала какую-то невнятную тревогу и разочарование. Она успела увидеть искаженное страстью лицо Подвигина. В практичной головке мелькнуло что-то вроде: «Что с ним?» и даже: «Почему я не такая?»

Вооруженная одной своей недолговечной легкостью, молодая учительница с собранием в шестом «А» расправилась без труда. Твердо глядя в глаза покрасневшей Спасеновой, она солгала, что сама отпустила Розентальс с физкультуры. Спасенова зарыдала. Она чувствовала, что Фара (Фарида) врет, но не в си-

лах была разоблачить ее. Спасенону увели в уборную. После этого взвился Подвигин, понявший, что все срывается, идет совсем не так, как нужно, и говорят не то и не так. Он надеялся поправить дело, повернуть собрание в счастливую для себя сторону и стал с восторгом описывать вчерашний прыжок Цветкова.

— Ну и что? Это при чем? — безжалостно перебила Фара, и Подвигин, убитый, сел.

Фара заметила, что на нее с каменной злобой и ревностью смотрит умная девочка Тищенко, и почувствовала небольшое раскаяние и жалость к ней. Она поняла, что девочка мучается, догадалась о причине ее страдания, но в глубине души заинтересовалась только своей проницательностью.

Фара решила, впрочем, что поговорит с Тищенко и поможет ей.

Из школы сбитый с толку Подвигин вышел вместе с Тищенко. Ему требовался слушатель, и он в этот раз не прогнал толстую. Они пошли по мостовой, размахивая мешками со сменной обувью.

Переулок тонкой струйкой отходил от Садового кольца, сразу поворачивал под углом и терялся между домами. Теперь он весь был заставлен пустыми автомобилями и больше не выглядел тихим уголком. Его можно было пройти из конца в конец безо всяких впечатлений.

Снова выползла из дома старуха с едой для узкомордой собаки. Собака сидела треугольником на крыльце булочной, там, где собакам полагается ждать хозяев. На еду она взглянула с благодарностью, но равнодушно. Старуха твердо выговорила ей:

— Ешь, пока даю. Я знаю, когда будет не нужно.

— Фара — сука, — твердил Подвигин. — У Розентальс мать в школе пасется, вот она доченьку и выгораживает!

Тищенко жадно слушала, и на ее умном малоподвижном лице были написаны грубый восторг и преданность. Она выпучивала глаза, надеясь одними глазами (остальное в себе она считала уродливым) передать Подвигину все свои чувства.

— Черт возьми! — молодецки повторяла она. — Черт возьми!

Она ничего больше не успела сказать. Переулок кончился. Дети застыли на широком тротуаре, встревоженные шумом и видом большой улицы. Москва находилась уже в центре антициклона. Становилось нехорошо, по-городскому жарко.

Из дверей дома на углу, где теперь квартировали иностранцы, вышла поджарая семья: мама, папа и дочка, — с теннисными ракетками. Счастливо болтая по-английски, они отправились разыскивать свою машину.

— Это они наехали на Гаврика, — пробормотала Тищенко.

— Чего? — не понял Подвигин.

— У меня был щенок, Гаврик, он попал под их машину. Новую собаку мне не разрешили. Теперь я увлекаюсь античностью...

— Гаврик для собаки — дебильное имя, — перебил Подвигин.

Он тут же бросил толстую и побежал к троллейбусной остановке. Там он нашел Папу Римского и еще двоих мальчиков и опять стал ругать Розентальс. Он ругался теперь злобно и глупо, сам не понимая, зачем это делает. Усталые мальчики бессловесно соглашались. Потом подошел троллейбус. Один мальчик влез в него, сел у окна и изнутри расплющил нос о стекло.

— Ладно, по домам, — скомандовал Подвигин Папе, как будто Папа был его ординарцем. Папа на сей раз ему подчинился.

А Тищенко все еще гладела на безбедных иноземцев, придавивших ее дружка. Представьте: ей хотелось теперь их защиты и их дружелюбия.

Леонид САКСОН

## ПОКИНУТЫЕ ОСТРОВА

### *Мое лукоморье*

В заброшенные верю острова,  
 Где можно знать, себя не попирая.  
 Здесь новость негасимая жива  
 О двух влюбленных, изгнанных из рая.  
 Здесь вам покажут место, где они,  
 Сойдя с небес на пляже, вечно грустном,  
 Ушли в леса, одаривая дни  
 Своим признаньем — письменным и устным.  
 Здесь жив почти ослепший водоем.  
 Он весь в следах — раздвоенных и странных.  
 В нем ангел перепончатым крылом  
 Омыл свои бесчисленные раны,  
 Касанием плеча обрушил свод  
 Лесного грота и взлетел в просторы,  
 Неистойвой стрелою мчась вперед,  
 К развалинам пылающей Гоморры.  
 Ты жив, строптивый, незеленый ствол,  
 Казненный истеричкою-грозою.  
 Здесь Данте на Вергилия набрел:  
 «Утешься, друг, я ад тебе открою!»  
 Но сговорились тут же, у корней,  
 Что нет поводырей, ведомых нету.  
 Так вымыслом, чтоб выгладеть скромней,  
 Обманывали музу два поэта.  
 Какая флорентийская листва  
 Задумчивого, болдинского края...  
 Покинутые вижу острова,  
 Где можно знать, себя не попирая...

\* \* \*

Лежит король на шахматном полу  
 И плачет: белый ферзь его покинул.  
 Тихонько я ферзя к нему подвинул,  
 Но пешки две заброшены в углу!  
 Хоть не играй. Смешаешь эту рать —  
 Такое одиночка всем закатит,  
 Что им до гроба развлечений хватит.  
 Хоть не играй... А может, не играть?

\* \* \*

Рентгеновского снимка страшный вид —  
 Мой череп лыбится. Спасибо просвещенью:  
 Могу своей налюбоваться тенью,  
 Не улетаю в сумрачный Аид.  
 Что скажешь, Смерть моя? Считать долги,  
 Все тридцать два оледеневших зуба —

Так мелко, преждевременно и грубо.  
Ты лучше мне отвлечься помоги  
От выточенных из обсидиана  
Уснувших крыш под матовой луной.  
Действительность придумана не мной,  
Но, словно сон, зловеще постоянна.  
Как неизбежна звездная река,  
И как пугливо плещется земная,  
Во рту моста распахнутом стена  
До самого последнего глотка!  
И бросит вызов сгорбленной луне  
Глоток воды, пронзителен и горек,  
И, как всегда, смеется бедный Йорик,  
Навеки отразившийся во мне.

\* \* \*

Два рыцаря съехались в тихом лесу,  
Топча золотую листву,  
И в седлах уснули, вражью красу  
Видя, как наяву.  
Их копыта, наклоненные вперед,  
Тоже как будто спят.  
Смотрит оруженосец — скотт,  
Что-то понять бы рад.  
Но кто и постарше его поймет  
Полуденный сон в пути?  
Такой синевой налит небосвод,  
Что страшно в него уйти.  
Страшно, что птицы замолкнут враз,  
Слушая хруст и лязг,  
И мальчик не довезет домой,  
Зароет в чаще немой.  
Если б еще хоть сэр Ланселот  
Или сэр Ламорак.  
А этот — кто его разберет,  
К чести ль подобный враг?  
Какой у него интересный щит:  
Замок цвета огня...  
Может, он просто так стоит  
И ждет совсем не меня?  
Ну что ж, пускай головы не снесу,  
Но сон этот странный прерву...  
Два рыцаря съехались в тихом лесу,  
Топча золотую листву.

\* \* \*

Вновь захотело море оплевать  
Все солнечной погоды идеалы.  
Как демоны, рыжеволосы скалы  
Сошлись об этом деле горевать.

Креветками я буду торговать  
На пляже, редко устланном телами.  
Такую медитацию в исламе  
Или буддизме можно наблюдать.  
А с моря будут набегать цунами  
И с шефствующим шумом отбегать.

Ни ум, ни зренья робкое ничье  
Красу морей запечатлеть не смеет.  
В душе у нас и вольный ветер не веет,  
И анемон не обагрит ее.  
Креветками мы будем торговать,  
Покуда в небесах, лишенных зноя,  
Колонна звезд не истребит иное  
И не нарушат эту благодать

Не нужные ни камню, ни волне  
Ничьи шаги в счастливой тишине.





Павел КРУСАНОВ

---

# Укус ангела

РОМАН

## *Общая теория русского поля*

Человек, поцеловавший Джан Третью в губы, назвался Никитой. У него были щегольские усы с подкрученными кверху жалами и шитые золотом погоны на парадном фисташковом мундире, выдававшем принадлежность хозяина к отчаянной гвардии Воинов Блеска. Джан, как и все подростки, мнящие себя опытнее собственной невинности, была довольно вульгарна, но все же мила и опрятна. Империя праздновала День Воссоединения, и Джан Третья впервые целовалась с посторонним. Позже молва, не ведая обычаев старого Китая, где детей простолюдинов, дабы избежать путаницы, называли порядковым числительным, возвела ее в знатный род и пожаловала в предки Сунь-Цзы вместе с его трактатом о военном искусстве. В действительности отец Третьей был черной кости — он владел рыбной лавкой на окраине Хабаровска и славился тем, что, подбросив сазана, мог на лету вспороть ему брюхо и достать икру, не повредив ястыка.

Хунхузы, бежавшие некогда за Амур от карательных армий Поднебесной, обрели мир в северной державе, но за годы изгнания не забыли разбойную славу предков и заветы Чен И, гласившие, что голод — беда малая, а попрание целомудрия — хуже смерти. Поэтому отец Джан Третьей, узнав, что его пятнадцатилетняя дочь ушла из дома к русскому офицеру, мастерски перерезал себе горло тесаком для разделки рыбы. Соседи говорили, будто он, уже мертвый, с головой, отсеченной до позвоночника, продолжал грызть землю и кусать камни, покуда рот его не забился мусором и он больше не мог стиснуть челюсти.

Кроме усов, мундира и будто сочиненной к случаю фамилии Некитаев, Никита имел сердце в груди и был не чужд благородной широте жеста и величию порыва. Тяготясь невольной виной, он пил водку двенадцать дней, пока наконец не увидел в углу комнаты синего черта и не понял, что пора остановиться, так как наверное знал: синих чертей не бывает. На тринадцатый день, к удивлению обитателей китайской слободы, он обвенчался с Джан Третьей по православному обряду, за час перед тем окрестив с приятелем-капитаном по июньским святам невесту Ульяной.

Вскоре из Хабаровска гвардейского офицера перевели служить в Симферополь, где Джан Третья родила ему дочь — луноликую фею Ван Цзыдэн со стальными, как Ладога, глазами. В семье Некитаевых последние сто двенадцать лет родовыми женскими именами были Татьяна и Ольга, поэтому фею называли Таней, что, безусловно, было приятно матери, так как имя созвучием напоминало ей о славной эпохе в истории застеленной лёссами отчизны. Родня Никиты предлагала Ульяне-Джан перебраться с дочерью в русский рай — имение Некитаевых под Порховом, где в погребе томились в неволе хрустящие рыжики и

брусничное варенье, где липовая аллея выводила к озеру с кувшинками и стрекозами, где в лесу избывали свою тихую судьбу земляника и крепкий грибной народец и где за полуденным чаем можно было услышать: «Что-то меду не хочется...» — но та, уже знакомая с нравами шалеющих без войны гвардейцев, не пожелала своею волей уступить мужа чарующим массандровским вином и тугозадым симферопольским проституткам.

Через два года после рождения Тани, сразив Европу триумфом русского экспедиционного корпуса в Мекране, а Америке бросив снежно-сахарную кость Аляски (продление аренды), империя решила, что пора сыграть на театре военных действий свою долгожданную пьесу. Так был предъявлен ультиматум турецкому султану. От цидулки сечевиков послание это отличалось только дипломатической манерностью и разве еще тем, что было оно не ответом, а действием упреждающим. Османскому владыке и его золотокафтаным пашам предлагалось немедленно убраться с околпаченным фесками войском в азиатскую туретчину, дабы к империи в силу исторического и конфессионального пристрастия отошли Царьград со всей Восточною Фракией и полоса малоазийского берега шириной в двадцать верст от Ривакея до Трои. Зеркально повторив негодование России, отказавшейся два с лишним столетия назад вернуть оттоманцам Таврию, признать грузинского царя турецким подданным и согласиться на глумление в проливах, султан впал в неистовство. Империи это было на руку. После спешной эвакуации посольств, консульств и частных представительств закавказские дивизии вступили в вилайеты Чорух и Карс, выбросив щупальца к Трапезунду и Эрзеруму. Одновременно с этим имперские эскадры блокировали турецкие порты на Понте, танковый корпус Воинов Ярости, размещенный в Болгарском царстве, взял Адрианополь, а высаженный под Орманлы десант при поддержке райи практически без боя прошел до Теркоза. Дальнейшее — общеизвестно.

Война была в самом разгаре, когда Никита попал в севастопольский госпиталь с распоротым наискось животом: полк Некитаева первым вошел в Царьград — там в отчаянных уличных боях османы вспомнили о своих чудаконато вогнутых ятаганах, которыми некогда покорили полмира впоследствии истребленные Махмудом Вторым янычары. Не приходится сомневаться в тяжести его ран, однако Никита не был бы достоин своего фисташкового мундира, если бы при первом удобном случае не сбежал из пропахшего хлоркой госпиталя в душистую постель Джан Третьей. Вероятно, при этом он в душе огорчался, что ему не нужно лезть к ней по плющу на четвертый этаж, так как в Симферополе семейные офицеры квартировали в двухэтажных домишках.

Это была последняя ночь в его жизни, и он ее не проспал. Швы разошлись, не выдержав упоительной битвы. На краю восторга хунхузку жарко облепили окровавленные кишки, и в нее ворвалось семя мужа, сердце которого уже не билось. Так, подобно Тристану, был зачат Иван Некитаев, прозванный людьми Чумой.

После освидетельствования героической смерти тело Никиты было перевезено в имение под Порховом, где его с воинскими почестями предали земле на семейном кладбище, заросшем ландышем, славянским папирусом — березой и образцово пламенеющей рябиной. После похорон Джан Третья с дочерью вернулись в Симферополь — чтобы, уложив в чемоданы свой скорбный вдовий скарб, окончательно перебраться в поместье Некитаевых. Этими печальными хлопотами она невольно спасла себе жизнь. Пока она тряслась в унылом и пыльном феодосийском поезде, время от времени стряхивая с наволочки угольную гарь, засланные Портой сипахи-смертники в один день вырезали родню и домоладцев всех офицеров гвардейского полка, первым ворвавшегося в Истанбул. Сердце султана алкало отмщения неверным, дерзнувшим оспорить остатки наследия великого Махмеда Фатиха, разорившего узорную шкатулку Византии, поправшего пятой Бессарабию, Валахию, Крымское ханство и покоровшего

почти всю Анатолию. Из обреченных уцелели только те, кто волею судеб в тот злополучный день отлучился из дома.

Через два месяца Турция по Ростовскому миру уступила притязаниям империи, изложенным в ультиматуме, потому что к тому времени потеряла уже вдвое больше. Единственное, что удалось отыграть Великой Порте,— это минареты Ая-Софии, которые были разобраны и вывезены в Анкару в обмен на военнопленных. Поздно встрепенувшаяся Англия была бессильна что-либо предпринять, и ей пришлось удовлетвориться щедрым даром победителя — племенным кобелем и двумя медалистками-суками редчайшей мериносовой породы. После заключения столь бесславного мира султан в слепой ярости казнил всю Отоманскую Порту, начиная с великого визиря и кончая драгоманами рейс-эфенди, причем если осужденный умирал на эшафоте меньше четырех часов, то палач сам лишался головы.

Хунхузка Джан Третья — дочь рыботорговца и наследница дворянских владений Некитаевых — поселилась с луноликой Таней в обезлюдевшем имении. Оттуда сутки спустя после родов она перебралась в страну китайских духов: выносив дитя, зачатое от мертвого, и тем до конца исполнив долг перед едва не оскудевшей фамилией, она вышла майским вечером к озеру, по глади которого молочными завитками стелился туман, и старой косою вскрыла себе яремную жилу. Вместе с кровью из настежь отворенной вены вырвалась и скользнула в воду серебряная уклеяка. За день до того Джан Третья завещала повитухе наречь сына Иваном, так как не успела узнать, какие мужские имена считались родовыми в семье ее мужа, а волшебное имя Никита делить на двоих не хотела. Трехлетней Тане и младенцу Ивану, обликом больше удавшемуся в отца, до обречения ими известного разума уездная дворянская опека, за отсутствием близкой родни, определила в опекуны предводителя.

Уездный предводитель был дородным господином с опрятным румянцем на полных щеках и пристрастием к рубашкам со стоячими воротничками — при всякой вылазке в столицы он покупал их дюжинами, как носовые платки. Кроме доходного сада с пасекой и шестнадцати десятин леса по соседству с имением Некитаевых, предводитель владел кирпичным заводом в предместьи Порхова, имел молоденькую русоволосую жену и задумчивого сына Петрушу годов шести с половиною. Последний явился на свет едва ли не незаконно, ибо повитуха пророчила девочку, так что загодя подобрали ей карамельное имя — Марфинька. Фамилия опекуна была слегка кошачья, отнюдь не по стати владельца — Легкоступов. Касательно душевных качеств отличался дворянский предводитель добросердечием, рассудительностью и тягой к пассаизму. В семье его считали природным философом, ибо за вечерним чаем, глядя на экран телевизора, где чужедальний ковбой снимал у костра сапог и счастливо шевелил на ноге пальцами, Легкоступов говорил домашним: «Начнем с того, что Североамериканские Штаты неинтересны мне как собеседник — ведь им нечего вспомнить...» Или, листая альбом по живописи, внезапно замечал: «Великие британские художники придуманы британскими критиками, которые решили, что таковые должны быть». Имел предводитель и особый взгляд на универсум в целом: то, что явлено человеку в действительном мире сущего,— это, грубо говоря, и есть ад. Отвечая основному условию преисподней — наличию времени, которое не позволяет реально остановить мгновение, каким бы оно ни было (остановленный ад — больше не ад, ведь хуже уже не станет), жизнь выводит человека на прогулку по палитре ужаса, дает оценить нежнейшие обертоны страданий, причем выдумывать ничего не приходится — существуй себе только. Место своего присутствия Легкоступов определял, как срединный мир, из которого есть лишь два выхода — забвение и спасение. С забвением, кажется, все было ясно, а вот спасение... Ключ к пониманию спасения он видел в древнем речении, частенько украшавшем надгробия египетской знати: «Мертвого имя

назвать — все равно что вернуть его к жизни». В подтверждение своей ереси Легкоступов приводил чуткую догадку Гоголя, поведшего Чичикова египетским путем, после чего плутовские купчие Павла Ивановича приобретали внятное сакральное значение. Иными словами, опуская нюансы, спасенный от забвения — это, собственно, и есть *спасенный*. В результате выходило, что спасение может быть праведным, новость каким, вроде поминания в газете, и чудовищным, как у Саломеи и Нерона,— преимущества никто не имеет. Однако Легкоступов не делал из своей теории жизнеполагающих выводов и в порховском свете всегда считался почтенным христианином.

Зимой китайчатая Таня и маленький Иван, взявший от матери лишь нежную смуглоту кожи, жили в городском доме опекуна, а летом с Петрушей, женой предводителя, прислугой, гувернером и нянею перебирались в поместье Некитаевых, обустроенное просторнее и лучше дачи Легкоступова. Иван был младшим в детской и, не понимая близких к осознанию половых ролей игр Петруши и сестры, одиноко копался в песке, мастерски возводя крепости и населяя их оловянным гарнизоном, строил дома из камешков и веток или в саду, под цветущей яблоней, разговаривал с воображенными друзьями. Во всех его делах чувствовалась если не кротость, то некая отрадная мягкость, вытекающая из веры в изначальную доброту вещей. Но, сталкиваясь с грубой волей бытия, вера эта неизбежно и уродливо коверкалась. Когда дела у Ивана шли не так, как ему хотелось — властью старших, звавших к обеду или в постель, прерывалась игра или становились упрямыми предметы,— мягкость его уступала место пугающей ярости, страшному детскому нигилизму. Перемена, происходившая с ним в такие минуты, ясно показывала, что будущее его зависит от слепого случая: при удачном стечении обстоятельств он может стать лучшим из людей, но если что-то пойдет не так — на свет явится чудовище.

Там, в имении Некитаевых, жадно впитывая разлитое вокруг ювенильное счастье, дети подолгу сидели в пряном разнотравье на берегу озера, где после смерти Джан Третьей управляющий запретил окрестным мужикам ловить рыбу, и ждали — не выскочит ли из воды за мошкой серебряная уклейка. Там впервые заметили за Иваном странное бесчувствие к чужой жизни: расчленив целый луг кузнечиков, семи лет от роду он из любопытства выдавил пойманной ящерице глаза, до основания остриг когти кошке, съел живьем двух птенцов касатки и отрезал язык брехливой прилудной дворняге. Воспоследовавшей кары ребенок не понял — так можно наказывать воду за то, что порою течет, а порой леденеет, и ожидать от нее раскаяния.

Закончив гимназию, Петруша проявил наследственную склонность к гуманитарным дисциплинам и уехал в ближайшую столицу, где поступил в Университет, дабы обрести регулярные знания в области философии и классической, романской и славянской филологии с их многоликою герменевтикой. Таня, сама не владея кистью, чувственно вникала в живопись и потому вслед за Петрушей отправилась в Петербург, чтобы на факультете искусствоведения Академии художеств научиться понимать краски рассудком. Ивана с восьми лет опекун определил в кадетский корпус.

Пришло время, и случилось так, что кадет Иван Некитаев, после долгого отсутствия приехавшей на вакации в имение, со всею полнотой не ведавших остроты чувств влюбился в собственную сестру. В ту пору ему только стукнуло шестнадцать, предмет же воцелений был тремя годами старше. Если событие это достойно розыска виновных, то прегрешение следовало бы возложить на девицу — в среде столичной богемы она обрела вкус к жестоким играм и запретным наслаждениям, которые, помимо страды на пажитях всякого рода художеств, сами доведенные до художества, порядочно оживляли будни сего бестрепетного племени.

Началось все, как и должно, с пустяка.

Когда Иван — только что с автобуса — в зеленом кадетском мундире и нуерованной фуражке на куче остриженной голове появился на террасе дома, лунолика Таня, сидя у самовара и держа в нефритовых пальцах ромбик земелаха, пила чай с мятой. Стояло ясное июньское утро, и два широких, с частым переплетом окна застекленной террасы были распахнуты настежь. В третьем — закрытое — билась уловленная прозрачной западной крапивницей. За столом с самоваром, помимо сестры, сидели Легкоступов-отец, рыхловатый торс которого был затянут в лиловую шелковую рубаху со стоячим воротничком (по причине частичного совершеннолетия Тани он был нынче разжалован из опекуна в попечителя), его русоволосая жена, по-прежнему хорошенькая, и Легкоступов-сын, только что защитивший диплом, но уже успевший собрать в голове порядком складочек, чтобы не показывать ни мнимой ученой надменности, ни фальшивого участия к встречному-поперечному, ни иного признака сглаженного мозга.

— Литература — это не просто смакование созвучий и приапова игра фонетических соответствий, доводящая до обморока пуританку семантику... — отхлебывая из дулевского фарфора чай, вел беседу Петруша.

И в этот миг на террасу с отважной улыбкой ступил Иван. Жена попечителя ахнула, попечитель, отвалившись на спинку плетеного кресла, радушно отворил лиловые объятия, Петруша взял под отсутствующий козырек, а Таня сказала:

— Спасибо за иллюстрацию. — И, скользнув взглядом от кадета к филологу, развила Петрушину мысль: — Да, литература — это еще и война, блестящая война, дух которой неизбытен.

Вслед за тем Таня слизнула с губ крошки земелаха, легко поднялась из кресел, смахнула ладонью в открытое окно плененную крапивницу и, подойдя к Ивану, с преступной рассеянностью поцеловала его отнюдь не по-сестрински. Мягкое дыхание, витавшее у ее мягких, почти жидких губ, по горло напоило кадета отравой. Конечно, это была провокация: уже неделю Легкоступов-сын демонстрировал явные признаки влюбленности, и беспечная проказница решила разом поиграть с обоими. Трудно поверить, но в итоге эта злая шалость кровью умыла империю и свергла народы в бездну такого ужаса, какой вряд ли рассчитывал отыскать на палитре жизни-ада безвредно умствующий предводитель.

Благодаря развитому мозгу в своих притязаниях Петруша был несомненный принципал, но натуре его не хватало решимости и не то чтобы отваги, а той пьянящей жестокости, которую солдаты всех времен называли бесстрашием. Кроме того, был он невелик ростом и слегка страдал избытком плоти. Иван же, напротив, помимо ладной фигуры, отменно укрепленной принудительной гимнастикой, имел натуру непреклонную и дерзкую, а что до образованности и красноречия, в которых он уступал разумнику Петруше, то ему удавалось успешно покрывать недостатки восприимчивым умом и интуицией. Среди товарищей по корпусу Некитаев считался верховодом, что имело под собой законное основание, подтвержденное недавней полевой экзаменацией, после которой он был определен в кадетскую роту Воинов Блеска, считавшуюся элитной в сравнении с подобными подразделениями Воинов Ярости, Воинов Силы и Воинов Камня.

Медвяный яд Таниного поцелуя, ее последующие слова, касания и взгляды — все эти до невинности изящные фигуры соблазна и умыкания еще свободных от любви сердец сделали жизнь Ивана невыносимой. Он был уверен, что сходит с ума (хотя бытует мнение, будто безумец всегда не осведомлен о своем безумии); он чувствовал себя пойманным, как давешняя бабочка, в незримые, ласковые, неумолимые тенета — он больше не принадлежал себе; сонм болтливых демонов устроил балаган в его сердце — во все горло, глуша друг друга, бесы держали неумолкающие, ранящие речи, каждый свою: отчаяние, ревность, стыд, позор, оставленность; любое слово о сестре из посторонних уст вызывало в нем трепет, слабость и жар; ему казалось, что кто-то отменил привычную доньше

действительность, ибо все в мире стало иным — предметы, звуки, запахи, слова и лица; он мелочно соперничал с вещами, которым сестра его намеренно или невольно уделяла хоть сколько-нибудь внимания, — болезненно подозревал, будто она избегает его, будто пустячки и досадные мелкие случаи интригуют против него, препятствуют забвению, успокоению, бесчувствию; предельное одиночество, не человеческое — мистическое, дающее силы наперекор всему упорствовать в своем заблуждении, нахлынуло и поглотило его; внезапно он обнаружил в себе способность к плачу; и наконец ему было доподлинно известно, что только он один сумел увидеть Таню такой, какова она была в действительности, и никто больше не способен на эту пронзительную непогрешимость взгляда. Ну вот, если теперь сказать, что чувства Ивана стали сильнее его, это уже не покажется вздором. В осязаемых до дрожи снах и в ярких дневных грезах он, великий полководец, встречал луноликую фею со стальными глазами в альковах спален покоренных городов — самых гнусных, самых развратных, самых желанных спален. Он и прежде бредил войной, но теперь Танин образ неизменно вставал перед ним из пламени пожаров, и ледящий ужас смертельной опасности обрел для него ее лицо. Иван бежал от наваждения в лес, в поля, на дальние охотничьи мызы, стараясь избыть, развеять неумолимый морок, но стоило ему возвратиться в усадьбу, как темная кровь любви закипала в его жилах и выжигала разум. К середине лета дошло до того, что в помыслах своих он готов был в смерти искать избавления от Тани.

Петруша тем временем с неумелым усердием продолжал куртизанить, упорно не замечая подпаленного рядом пороха, — странности в поведении кадета он относил отчасти за счет казарменного воспитания, отчасти списывал на братские чувства, в число которых, по его понятиям, входила ревность к воздыхательной сестрицы. Однако Иван в ответ на не сестринский поцелуй и ревновал не по-родственному. То есть его заботило не соблюдение ухажером предписанных приличий, а досадный факт существования соперника в полноценном, не увечном виде. Опасности Петруша не чуял и однажды на свою беду решил смутить душу кадета теологической беседой, превозмогавшей рамки преподанного в корпусе катехизиса. В тот день они вдвоем купались в озере. За завтраком Петруша выпил два бокала «Каберне», и ему хотелось блистать.

— Ты, должно быть, заметил, — растянувшись под солнцем на камышовой циновке, небрежно предположил Легкоступов, — что Христос не дает инструкций, как следует поступать вслед за капитуляцией второй щеки. Не говоря о том, что печень у человека и вовсе одна... Поэтому я не слишком отхожу от христианства, утверждая: если тебя звезданули по щеке — подставь другую, но потом непременно оторви обидчику голову. Словом, я хочу сказать, что Бог — скорее личность, нежели абсолют, одновременно вобравший в себя плерому гностиков, эн-соф каббалистов, праджню махаянистов и стихию света манихеев.

Лежавший рядом Иван безмолвствовал.

— Берусь доказать, — дерзко заявил Петруша, — что Бог не вездесущ, не всемогущ, не всеведущ и не всеблаг, а стало быть, не слишком от нас с тобой отличен.

— Не верю, — с военной прямоотой возразил Иван.

— Отчего же, изволь! Бог, сотворив мир и все сущее, то есть создав пространство вне себя, тем самым ограничил себя, ибо находится вне созданного им пространства. Следовательно, Бог не вездесущ.

— Чушь! — отрезал Некитаев.

— Все нет. Ведь Бог добр. Будь Он вездесущ, Он был бы и во зле, и в грехе, а это не так.

Иван приподнялся и сел на циновке, по-турецки поджав ноги. На груди его, рядом с нательным крестиком, покачивался на сплетенном из цветных шелковых нитей шнурке золотой амулет в виде славянского солнца с короткими и толстыми, как кудри, лучами.

— Далее,— как по-писаному продолжил Петруша,— создав или допустив время, явление, так сказать, самостоятельное, Бог вновь ограничил себя, ибо Он не может уже сделать бывшее небывшим. Следовательно, Он не всемогущ.

— Но это не так! — возмутился кадет Некитаев.

— Это так, потому что Бог милостив. Будь Он всемогущ и не исправь зла сего мира, Он являл бы нам не сострадание, а лицемерие.

На загорелом лице Ивана проступило чувство неопределенного качества.

— И наконец,— снисходительно подытожил Петруша,— сотворив души, наделенные свободной волей, Бог оказывается не в силах предугадать их поступки, иначе воля была бы несвободной. Следовательно, Он не всеведущ.

— Не знаю почему, но это не так! — угрюмо заупрямился Иван.

— Это так, ибо Он благ. Будь Бог всеведущ и знай злые помыслы людей, готовых сознательно предаться греху, Он не допустил бы греха.— Петруша шлепнул на плече треугольного слепня.— Если же тебе угодно настаивать на том, что Бог всеведущ, то придется признать, что Он не всеблаг. Ведь люди тогда, следуя Божьему промыслу, не могли бы избежать греха и поступить иначе, чтобы не нарушить Его волю. Но в таком случае за все деяния и прегрешения людей держать ответ перед Богом должен сам Бог.

Посчитав, что продолжение беседы в том же духе будет, пожалуй, уже избыточным бахвальством, дипломированный филолог Петр Легкоступов встал с циновки и, потрогав свои горячие плечи, предложил окунуться. Иван остался недвижим. В голове его недолгое время происходила какая-то трудная работа, проделав которую, он тоже поднялся и легко двинулся за Петрушей к озеру. Пробитая солнечным светом, который не то волна, не то поле, не то сонм корпускул, прибрежная вода казалась рыжеватой. Ничего не подозревающий Легкоступов, спугнув стайку водомерок, зашел в озеро по грудь, что удалось ему за три с половиной шага, и тут настигший его Иван невозмутимо и по-военному четко продемонстрировал усвоенный урок. Взяв в кулак волосы на затылке Петруши, кадет Некитаев решительно окунул голову соперника в озеро, вода которого, по непроверенным местным слухам, считалась целебной. Извергая пузыри и поднимая придонную муть, Легкоступов забился и засучил в воде руками, однако Иван держал жертву крепко. Когда Петруша обмяк и пальцы его перестали цепляться за руки и ноги мучителя, Некитаев вытащил едва живого герменевтика на берег.

Стоя на карачках, Легкоступов довольно долго кашлял, выкатывая из орбит красные глаза, хрипел и производил еще какие-то рвотные движения и звуки, при которых из носа и рта его хлестали потоки целебной воды, сдобренные «Каберне» и тягучей желчью. Наконец, насилу оправившись, Петруша немощно растянулся на траве и судорожно прошипел:

— Дрянь!.. Ублюдок!.. Я же утоп!

Но Иван был мрачен и убедительно серьезен.

— Пусть за то,— хмуро рассудил он,— Всеведущий сам с себя взыщет. Разве не так выходит? — В глазах кадета не было никого — ни зверя, ни человека.— Запомни, Легкоступов: я знаю, что кровь во мне стала черной. Кровь во мне переменялась, и теперь мне все можно. О Тане забудь. Ты понял меня, Легкоступов?

Петруша понял. Он еще не отдышался до конца, и взгляд его был мутным, но он все понял.

— Ты же брат ей...— вышла из него задохнувшаяся мысль.

— А впредь давай устроим так,— предложил Иван,— я буду делать как захочу, а ты будешь объяснять, почему я поступаю правильно.

Как ни странно, эта мрачноватая шутка со временем преобразилась в некий зловеющий постулат, действительно определявший суть одного из уровней их отношений. Однако это случилось потом. Теперь же Петруша подхватил свою одежду и, бормоча довольно банальные ругательства, на нетвердых ногах устре-

мился к дому. Иван остался на берегу. Он сидел неподвижно над мерно бликующей гладью, а из воды желтыми бисеринами глаз долго и неотрывно смотрела на него узкая уклея. Если и было сейчас в Иване что-то от солнца, которым он когда-нибудь намеревался явиться державе и миру, то это было солнце в затмении. На него легла тень безумия.

Этой ночью Иван Некитаев вошел в спальню своей сестры. И Таня его приняла — то ли из страха перед помрачением брата, то ли из артистической потребности в острых переживаниях, из художественной тяги ко всему запретному, преступному, оправданному пониманием простой вещи: всякий больше боится прослыть порочным злодеем, чем на самом деле быть им. Так или иначе, но она без принуждения окунулась в эту терпкую ночь греха, а вынырнув в июльском сияющем утре, объявленном пронзительным воплем юрловского петуха, не умерла от стыда и раскаяния. Напротив, нечто новое, какое-то зазорное, но оттого еще более сладкое упоение нашла она в этой растленной любви, и с той ночи оба уже не упускали возможности во всякое время сорваться в бездну своей кромешной тайны, в обоюдном нетерпении не гнушаясь ни стогом сена со всей его скачущей травяной мелочью, ни погребом со студеным ледником, ни обсыпанным пометом, пухом и кудахтаньем чердачком курятника. Собственно, таиться им приходилось лишь от стоячего воротничка попечителя, который по давно заведенному порядку со всем семейством проводил летнее время в усадьбе Некитаевых (часто, впрочем, отлучаясь по безотлагательным хозяйственным хлопотам), и его жены — фанатички грибных и ягодных заготовок. От Петруши — едва ли не с надменным вызовом — Иван почти не скрывался, а прислуга и местные крестьяне заподозрить неладное могли не иначе, как застав нечестивцев с поличным. Но в этом случае, можно не сомневаться, шестнадцатилетний Иван Некитаев не остановился бы перед душегубством. Тем не менее, соответствуя своей непознанной природе, вскоре возник слух — словно бы сам собой, как пыль, червь или плесень. Чтобы направить домослы в иное русло, луноликая фея Ван Цзыдэн, чувствительная к переменам в тонкой атмосфере взглядов и недомолвок, однажды, как бы не замечая присутствия в саду жены попечителя и горничной, кропотливо обирающих колючий куст крыжовника, с громким смехом привлекла к себе подвернувшегося под руку Петрушу и быстро, но выразительно его поцеловала. Затем Таня отпрянула, закатали Петруше не слишком болезненную оплеуху и убежала прочь, в пропахший кипящим вареньем дом. В тот же день она уехала в Петербург. Спустя немного времени покинул некитаевскую усадьбу и наскоро собравшийся Петруша. Домашним он сообщил, что едет гостить в Ялту, к бывшему университетскому товарищу, однако плавки оставил предательски трепетать в саду на бельевой веревке. Иван угрюмо и нелюдимо прожил в имении еще неделю, после чего убыл в казармы кадетского корпуса, напоследок изловив голосистого юрловского петуха и решительно свернув ему голову.

### *Табасаран*

(за восемь лет до Воцарения)

Аул взяли только к вечеру. Мятежники дрались отчаянно и вместе с ними отчаянно дрались дети, женщины и старики. А когда они поняли, что проиграли и решили наконец сдаться, уповая на милость победителя, капитан Некитаев отказал им в своей милости. В назидание непокорному Табасарану.

Так он поступал уже не раз, за что получил от повстанцев лестное прозвище Иван-шайтан, ибо колыбель его, как считали горцы, качал сам Иблис, пощипывая младенца плеткой, чтобы тело бесенка было упругим, а суставы — подвижными. Над саклями и дымящимися руинами взвились белые флаги. Вокруг



колебались травы и непоколебимо высились горы. Капитан сказал: «У добрых хозяев рабы отвыкают бояться». И добавил: «Не истязать, не калечить, не жалеть». Приказы комбата исполнялись беспрекословно. Вскоре аул был безупречно мертв. Счет обоюдных потерь: на одного убитого имперского солдата — семьдесят шесть мятежников.

Лично расставив посты, Иван Некитаев возвращался в лагерь. По всему выходило, что несколько мятежников из отряда, который капитан настиг и запер в ауле, прорвались в горы. Поблизости не было крупных банд, но какая-нибудь шайка, наведенная беглецами, вполне могла попытаться ночью наудачу атаковать сонный бивак. По распоряжению Некитаева солдаты в нескольких местах заминировали дорогу и поставили растяжки на тропках. Однако горцы были здесь дома и, возможно, знали пути, о которых понятия не имели имперские картографы.

Тьма здесь тоже была незнакомая, чужая — не та, что в России, где ночь реальна и нестрашна, особенно летом, особенно над рекой, когда по берегу шуруют ежи, а под берегом рыщут раки. Иван взялся за полог, чуть пригнулся, и в тот же миг чудовищный ледяной обруч стянул и безжалостно обжег его мозг. Лютая стужа вспыхнула в глазах белым, судорога перекосила лицо... но обруч уже ослабил хватку. Капитану был знаком этот кипящий холод, этот любезный знак провидения, эта снисходительная подсказка смерти. Некитаев перевел дыхание и выпрямился. Над головой по-прежнему были только звезды и то, что между ними. Выходит, вновь вскоре кто-то придет за его жизнью, которая ему неважна, как разница между «есть» и «нет», «полно» и «пусто», ибо это одно и то же для тех, чья воля победила тиранство разума. Но все равно он отдаст жизнь лишь тому, кто сумеет достойно ее взять, кто сумеет загнать его, как дичь, как зверя, кто поставит на него безукоризненный капкан.

В полном мраке Некитаев щелкнул зажигалкой, ступил за ширму, сел на шерстяной пол и привалился спиной к кровати. Подождал, пока сержант устроится за вешалкой с одиноким дождевиком на рожке, и сбил язычок голубоватого пламени.

— Опять умышляют, ваше благородие? — шепотом спросил штурмовик.

— Да, Прохор, опять. И мы их снова сделаем.

— А то! — незримо осклабился в темноте Прохор.

Что Некитаев знал о них? Солнце — чернильница Аллаха. Нуга, халва, шербет. Раджеб, шабан, рамазан, шавваль. Муэдзин кричит с минарета, муфтий толкует шариат и заказывает паломникам кувшинчик воды из Земзема. Михрабы всех мечетей смотрят на Мекку. Шейх читает диван газелей Саади «Тайибат», что значит «Услады», и мечтает искупаться в Кавсере, что (мечта) ничего почти не значит. Фарраш расстилает молитвенный коврик, лифтер Али свершает свой намаз. В чаше Джамшида отражается весь подлунный мир плюс звезда Зухра... Впрочем, это не о них. А вот о них: они нападают ночью и не используют трассеры, чтобы нельзя было засечь стрелка, а горное эхо отечески покрывает их, не давая сориентироваться по звуку. Они грызут гашиш, как сухари, и на спор ловят зубами скорпионов. После рукопожатия с ними можно не досчитаться пальцев. Они берут заложников и воюют, заслоняясь собственным прекрасным полом, который весьма невзрачен. С ними нельзя договориться, потому что у них змеиный, раздвоенный язык и они не помнят клятв. Они оставляют после себя оскопленные трупы пленных, насаженные на шест скальпы и насмерть обваренные в смоле имперских солдат...

Часа полтора было тихо (Прохор пару раз едва слышно потянул носом, зоряжась из щепоти кокаином), как вдруг со стороны ущелья раскатисто громыхнул взрыв — сработала растяжка — и застучали дробные автоматные очереди, нагоняемые собственным эхом. Сержант не шелохнулся — он был штурмовиком отменной выучки. Некитаев нащупал на боку рацию и щелчком вызвал ротных.

— Первый, второй, третий — к ущелью,— буднично распорядился он.— Четвертый — охрана лагеря. Остальным усилить посты по всем направлениям. Я тоже иду к ущелью. Связь — только при крайней нужде.

Капитан выключил рацию и сказал в темноту:

— Хрена лысого. Остаемся на месте. Эфир они как пить слушают. Пусть верят — меня выманили.

— Ясный папа,— манкируя уставом, откликнулся Прохор.

Возле ущелья шла вялая перестрелка, время от времени гулко ухали взрывы. Ничего серьезного там происходить не могло — так, простодушная уловка, представление в виде случайной ночной стычки. Ротные вполне могли разобраться сами. Некоторое время все продолжалось примерно в том же духе, как вдруг снаружи, за стенкой палатки, послышался тихий отчетливый шорох. В тот же миг на мертвом небе зависла очередная ракета, и комбат углядел, как внутри палатки, отогнув полог, неслышно скользнули две тени. «Прошли все посты,— отметил Некитаев.— И видят в темноте, как ночные зверушки». Держа наготове скоропал, капитан дождался, когда небо бледно осветилось очередной ракетой.

— Давай! — беря на внезапный испуг, гаркнул он и одновременно пальнул в ближайшую метнувшуюся тень.

Сразу же громыхнул ответный выстрел, и пуля с треском расщепила что-то над правым ухом Некитаева. Как водится, треск он скорее почувствовал, чем услышал,— пальба съедает все другие звуки. Один абрек неподвижно лежал на ковре. Пуля комбата поразила его в мозжечок — бритую голову проветривала сквозная дыра размером с грошик. Второй — молодой, безбородый, с неуместной саблей на поясе — стоял на коленях и держался руками за левый бок, куда, по всей видимости, угодил ему сокрушительным сапогом сержант. Перед мятежником на полу валялись пистолет и кустарная полусобранная мина с радиодетонатором.

— Не бздеть горохом,— бодро посоветовал Прохор бледному табасаранцу и, нагнувшись, поднял пистолет.— Яйца резать не будем.

Полог отлетел в сторону, и в черном проеме с автоматом на изготовку возник караульный четвертой роты.

— Лопухнулись! — сверкнул глазами сержант, но комбат остановил его жестом.

— Убери.— Иван указал вытянувшемуся караульному на мертвого абрека.

Солдат выволок тело и задернул полог. На ковер из простреленной головы натекла лужица вишневого кюшки.

— Зачем ты пришел? — Ледяной обруч растаял в мозгу Некитаева.— Разве ты не знаешь, что стало с теми, кто приходил до тебя?

— Знаю.— Лицо табасаранца было цвета мокрого мела, то и дело он судорожно сглатывал слюну.— Их трупы жрали собаки, их бороды ты пришел к своей бурнус.

— Стало быть, теперь послали тебя — безбородого,— угрюмо усмехнулся капитан.

— Такой воля Аллах. Старейшина видел. Старейшина сказал — вчера дерево тута на мой двор целый день плакал кровью. Старейшина видел. Такой знак...

Абрек прерывисто вздохнул и вдруг резко потянул из ножен саблю. Однако сержант держал ухо востро — на этот раз сапог угодил табасаранцу в правое плечо. Глухо, как стакан под матрасом, хрустнула ключица. Абрек завалился на спину, как-то сыро всхлипнул и до крови закусил нижнюю губу. На темном полуогонном клинке благородно заиграли матовые блики. Капитан знал толк в подобных штуках, поэтому наклонился и с любопытством до конца обнажил саблю. Это был отменный булат с красно-золотистой муаровой вязью на дымчатом фоне.

— Зачем ты таскаешь по горам это стародавнее железо? — удивился Иван.

Прохор взял абрека за шиворот и вновь поставил на колени. Горец смотрел на капитана так, будто по меньшей мере уже тысячу лет был мертв.

— Ты пришел в Табасаран, — хрипло сказал он, — и горы тряслись. Камни летели вниз, упал минарет мечети Мухаммад. Там, куда упал минарет, земля трещал, как скорлупа орех. Вах! Там был большой гром, там был дым на небо. Ты — Иблис! — Мятежник отчаянно вскинул голову. — Эта сабля — дар Аллах! Там слово, там печать Сулейман — она убивает шайтан! Ты взял в руки твой смерть!

Комбат еще раз оглядел клинок. Это было отличное оружие. Возможно, настоящий персидский табан. Но не более. Некитаеву захотелось тут же глотнуть коньяка, но он сдержался.

— Такой клинок следует поить кровью, — сказал Иван. — Иначе он истлеет без дела, как чугунок в болоте.

С этими словами он занес и со свистом опустил саблю. Ковер все равно был уже испорчен. Не безнадежно, конечно, но проще раздобыть новый.

— Были и у мамы круглые коленки, — удовлетворенно отметил сержант, поднимая за ухо голову мятежника.

### *Старик*

(за двадцать один год до Воцарения)

Летний лагерь кадетского корпуса располагался в четырех верстах от селца Нагаткино, что близ Старой Руссы. Вокруг, пробитые звериными тропами, залегли сосновые леса с вересковыми прогалинами, душным багульником на сырых мхах и непугаными комарами. Неподалеку текла рачья речка Порусья, лизала глину берегов, намывала перекаты.

Никто в лагере толком не знал о старике ничего путного. Кроме того, разве, что был он нездешний, старовер из Керженских скитов. Как объявился года два тому, косматый, с котомкой, в кирзовых, точно откатанных из асфальта, сапогах, так и прижился у кухни: за хозяйственную помощь — то поднесет с родника воды, то раков наловит, то притащит из бора кузовок грибов — сердобольные поварахи подкармливали его с кадетского стола. Офицеры против ничего не имели — им шли добавкой к казенным харчам грибная солянка и пунцовые раки.

Был старик изжелта-сед, худ и не то чтобы сутул, но такого телесного устройства, при котором голова у человека глухо всажена в самые плечи. Лоб его был сплошь составлен из вертикальных морщин, словно по нему сверху вниз прошлись частыми граблями. Немало побродил старик по свету и рассказами о своих странствиях мог надолго увлечь как доверчивую стряпуху, так и бывалого каптенармуса. Иван приметил старика сразу, еще с прошлого лета, когда тот начал мягко, но настойчиво выделять его из толпы стриженных курсантов — взглядом, улыбкой, неизменным вниманием и внятной для Некитаева, но едва ли заметной для остальных готовностью к услуге. Какой ни потребуется. Порой вечерами, в часы, свободные от стрельб, марш-бросков, занятий рукопашным боем, возни с бронетехникой и уроков военного красноречия, Иван приходил в сторожку старика при кухне и слушал его удивительные истории. В сторожке пахло овчиной, сухими травами и дымом от слегка чадающей печки. Там тринадцатилетний кадет Некитаев узнал, что лоси отменные пловцы и без страха одолевают водою десятки верст; что с врагом они бьются не столько рогами, сколько копытами, причем не по-лошадиному, лягаясь задними ногами, а гвоздят передними и не обеими разом, но попеременно — здорового молодого лося не одолеть ни волкам, ни медведю: волки загоняют сохатого лишь по насту, в

глубоком снегу, где он вязнет и, выбившись из сил, становится добычей стаи. Там узнал он про кумжу — знатную рыбу, проходную морскую форель, что идет осенью на нерест в бурные карельские реки; длиною она бывает до полусажени и до пуда весом, спина у нее черная, брюхо — золотое, бока — рябые, точно у озерной пеструшки; не всякий рыбак ее видывал, а кому посчастливилось — знает: на берегу кумжа, как оборотень, на глазах становится белой, и лишь когда совсем уснет, вновь принимает прежний облик. Там он услышал о племени днепровских русалок, что обитают в низовьях за порогами: примечательны они тем, что живут в придонье, отчего вся их физика, и без того занятая, по образцу палтуса вывернута на одну сторону; было время, русалки эти за свое уродство, точно придворные карлы, вошли в моду, и едва ли не во всяком ресторане заведено было держать аквариум с днепровской диковиной; от того, должно быть, поголовье придонных русалок целиком почти извелось, и теперь племя их запрещено.

Часу в одиннадцатом к крыльцу сторожки приходил матерый еж, где неизменно ждало его блюдо с молоком, и Иван отправлялся в барак своей роты. А следующим вечером опять шел к старику и слушал рассказы о Якутской тайге и Яно-Индибирской тундре, где в лучшие времена помещался Эдем — люлька человечества; о богатых протеином кормовых шведских тараканах; о потаенных и до исследователя Розанова неведомых миру людях лунного света, чья кровь была белой, как сок одуванчика; о державе и Удерживающем — хранителе страны от беззакония, дающем ей оправдание перед лицом Слова; о двух архонтах тьмы и света из страны Арка — один с обликом быка, другой — орла, соединяясь же они становятся одним существом о двух головах, — зовут их Африра и Кастимон, утром они ныряют в бездну и плывут по великому морю, а добравшись до берлоги Узы и Азазеля, бросаются на них и будят ото сна, тогда Уза и Азазель спешат в темные горы, думая, что Святой, будь он благословен, зовет их на суд, архонты же вновь переплывают великое море и с наступлением ночи прибывают к Нааме, матери демонов, но, когда архонтам кажется, что они настигли Нааму, та совершает скачок в шестьдесят тысяч локтей и является перед людьми в разных обличьях, понуждая их блудодействовать с ней, а архонты, поднявшись на крыльях, облетают вселенную и возвращаются в Арку...

Иван не знал почему, но слушать старика ему было едва ли не приятнее, чем седого подполковника, преподававшего кадетам в корпусе теорию воинской доблести. На этих уроках Некитаев всегда садился за первую парту, сгоняя оттуда близнецов Шереметевых с одним лицом на двоих и не сводил глаз с подполковника, который чарующе чеканил с кафедр:

— Воин Блеска ни на что не сетует и ни о чем не жалеет. Воин Блеска знать не знает, что такое петь лазаря. Потому что его жизнь — бесконечный, непрерывный вызов. А вызовы не могут быть плохими или хорошими. Вызовы — это просто вызовы. — При этом он делал жест, который мог означать что угодно.

Подполковник прекрасно формулировал и пленял душу холодным восторгом отваги, но в старике было то мягкое, почти материнское обаяние, которого Некитаев никогда не знал прежде. После вечеров, проведенных в сторожке, он чувствовал себя так, будто нежные руки достали его, маленького, из теплой ванны и обернули в махровую простыню, будто кто-то родной молился за него и вымолил покой...

— Откуда? — однажды спросил Иван старика. — Откуда ты все это знаешь?

— Милок, я много пожил. — Старик готовил в кастрюльке, над которой колебались завитки мимозового пара, какой-то хитрый травный чай. — И много по земле хаживал.

— Я тоже хочу обойти мир, — сказал Некитаев. — Я обойду его и все увижу своими глазами, хотя мне и кажется, что ты не врешь. Скажи, есть на свете счастливые земли?

— Скажу, — вздохнул старик. — Слушай: есть счастье на земле, но нет к нему пути.

Иван помолчал.

— Так не бывает.

— Правильно, — сощурился старик. — Вот и ищи свою путь-дорожку к счастью. Которой все равно нет.

— Совсем нет?

— Совсем.

— Никакой?

— Никакой.

— Если нет пути, так я его проторю, — решительно заявил Иван.

— Вроде толк в тебе есть, да, знать, не втолкан весь, — улыбнулся гуттаперчевыми морщинами старик.

— Отчего же?

— Когда захочешь рассмешить Бога, поведай Ему о своих планах.

Иван не смел обижаться на хозяина сторожки, да в словах его и не было никакого посярмления — только добрая насмешка, с какой поучают несмышленного и потешного, но породистого и дорогого щенка. Потом они пили травный чай, горьковатый и терпкий, с медным холодком в послевкусии, и — то ли от чая, то ли от трели сверчка в запечье, то ли от ворожащей, нелепой улыбки старика — голова кадета вдруг сделалась чистой и легкой, мысли исчезли, и безмятежная пустота затопила его изнутри. Не то чтобы сразу, но, кувыркнувшись в плавном скачке, мир преобразился — Иван увидел сущее иным. Реальность вокруг потеряла непринужденную цельность, единство вещей распалось — в мельтешении изменчивых сумерек перед Некитаевым теперь существовало только то, на что он бросал свой взгляд, и эта новая явь была не менее осязаема и реальна, чем прежняя, хотя она, несомненно, являлась созданием его взгляда. Ивану открылись чудесные виды — он парил в синеве неба, нырял в прозрачные водяные глубины, на неведомом лугу погонял травинкой божью коровку, и душа его переполнялась таким счастьем, что от кадета, казалось, исходил призрачный свет. Ничего подобного с ним не бывало прежде. Он не узнавал увиденного, но он *все знал* о нем. И это знание таило в себе невыразимое блаженство — то самое, что, по детской вере, скрыто в красноречивом умолчании за последним словом волшебной сказки. Где-то следом за «и теперь у них было все, чтобы стать наконец счастливыми». Или за «удалец на той царевне женился и раздиговинную пирушку сделал». И еще был голос, странный голос...

*Когда вбил Хозяин последний гвоздь в кровлю неба и отделил мир от наружного смятения, то помыслы его освободились от забот и ход их стал легким. Вслед за кровлей неба наладил Хозяин светила, чтобы развести друг от друга цвета, дать блеск камню таусень и назначить цену тени, но взглянул на землю и увидел, что она гола и безурядна и цвета в ней нет. Тогда задумался он лесами и травами, мхами и скалами, водами чистыми и водами горькими от соли, и так стало. Потом задумался рыбами в пучине, зверьми в чаще, пчелами в дуплах, червями и пестрыми гадами в недрах, и так стало. Еще раз взглянул Хозяин на землю и понял, что сотворил себе соблазн. Тогда, воспылав, пролил он в землю свой мед, не зная, что будет. Земля же, приняв мед Хозяина, родила двух братьев, и одного звали Палдобар, что значит Бел-Князь, а другого Модрубар, что значит Тьму-Князь, — они стали одни, кого Хозяин создал вполволи. Поскольку же их было двое, то досталось каждому от его воли половина, а от всей его воли по четверти, и еще по четверти было в них воли от земли и по две четверти собственной. Но Бел-Князь родился прежде, потому четверть воли Хозяина была у него больше.*

*Как вышли братья из земного чрева, то посмотрели друг на друга, и Палдобар сделал снег, лук со стрелами и горнило, собрал скот в стада, а шляпки*

гвоздей в кровле неба назвал звездами; Модрубар же сделал саранчу, мух и всех кровоглотов, а одно ухо себе завернул так, чтобы слышать не речь, но кривое эхо. И посмотрели братья снова друг на друга, и отвернулись. А были они таковы: Бел-Князь повелевал камню, огню, ветру, радуге и воде верхней, знал имена вещей, имел облик и видел, когда смотрел, но также сквозь веки. Тьму-Князь, напротив, обонял тонко и ходил по чутью, повелевал дыму, пыли и воде нижней, знал эхо имен, чтобы извращать вещи, и не имел вида, но мог стать была черная луна и служил ему крокодил, а в духе Палдобара было солнце, служил ему лев, и взгляд его проницал брата в любом обличии, но только не при черной луне. Таковы они были.

И стал Бел-Князь делать дела для радости, и что ни творил, тому Тьму-Князь тут же портил нрав по своей любви к худу. Сделал Палдобар дождь, а Модрубар подслушал его имя, перекошил эхом и потек сверху гнилой сок, который дал начало болотам и жабам. Сделал Палдобар грибное племя для леса, а Модрубар кривотолком склонил его к дурному, и одни из грибов наполнились ядом, а другие вышли из земли с червями. Сделал Палдобар сны, чтобы видеть и при черной луне, но Модрубар привел в них тень и населил ужасом, чтобы взор Палдобара при черной луне плутал и узнавал страх, а дороги бы не ведал. И тогда разгневался Бел-Князь и подумал: «Запру Тьму-Князя камнем в скале, но обернется он водой нижней и проточит камень». И не запер. Подумал: «Сожгу огнем Тьму-Князя, но дым — раб ему и укроет от пламени, и ничего ему не будет». И не сжег. Подумал: «Поражу Тьму-Князя стрелой из лука, но знает он имя лука и стрела его не достигнет». И не поразил. Тогда положил Бел-Князь в горнило настоящее железо и сковал меч, но имя меча утаил, не сказав. Увидел Модрубар меч Бел-Князя и понял, что не имеет против него силы, ибо не вошло эхо его имени в скверное ухо Тьму-Князя. И побежал Модрубар от Палдобара, но не мог убежать. Палдобар же не мог настичь, потому что были братья равны силой, и когда Бел-Князь наступал, то Тьму-Князь призывал черную луну и тьма скрывала его.

Увидел Хозяин, что нет у братьев согласия, но вражда, и узнал печаль. Тогда поделил он мир: Палдобар получил в удел половину, а Модрубар — другую, но и порознь не стало у них друг для друга терпения, а была распря и дрожь земли. Понял Хозяин, что не может примирить братьев, ибо владеет не всей их волей, а судить их силой не захотел, ибо оба были ему удивительны. Тогда велел им:

— Сделайте каждый по человеку и научите тому, что знаете.

И Бел-Князь сделал человека из глины, замешенной на воде верхней, и жену ему от тела его, а Тьму-Князь сделал человека из глины, замешенной на воде нижней, и жену от его тела. Хозяин же вдохнул в них жизнь.

Палдобар в своем уделе научил человека тому, что умел, наказав:

— Не называй то, чем дорожишь.

И Модрубар в своем уделе научил человека тому, чем владел, обязав:

— Бойся вещей без изъяна.

Тогда Хозяин сказал братьям:

— Мир этот ваш, но вместе вам не ужиться, ибо хотите покорить друг друга, но покорить не можете. Люди ваши решат за вас, и чей народ победит, того призову и будет царить, другой же сгинет.

И вынул Хозяин один гвоздь из кровли неба, а в дыру изринул обоих братьев. Но прежде, чем вбить гвоздь на место, пустил в мир из наружной смуты младшее время, чтобы с этих пор люди стали смертны и могли убивать друг друга. И пожелал Хозяин, чтобы было так до тех пор, пока не вернется призванным один брат, а иной пропадет. Отсюда взялось время. Отсюда взяли люди и их век на земле...

Кажется, кто-то тряхнул Ивана за плечо, когда он разом, точно из минутной дремы, вернулся из своего забытья в сторожку. Ему представлялось, что он провалился в этот странный полусон на один-единственный окомиг, однако небо за окном уже было черно и на нем качалась белесая луна, как наполовину облетевший одуванчик. Иван лежал на жестком топчане поверх пестрого лоскутного одеяла, а над ним склонялся старик, в руках которого качалась глиняная плошка, где курился тяжелым ароматным дымком какой-то фимиам.

— Что ты видел? — спросил старик, и его морщинистый лоб сжался и расправился, как гармошка.

— Я видел Беловодье и хрустальную гору. — Угли ярких видений еще не потухли в мозгу Некитаева. — Я видел сплетение трав, усыпанное горлицами, кузнечиков и белоголовых муравьев. Вода в студенцах там пузырится, как сельтерская, а в перьях у птиц — радуга.

— Кем ты был в том краю?

— Владыкой, — сказал Иван, и, подивившись собственной решимости, добавил: — Я наследовал эту землю со всеми ее насельниками.

Старик поставил плошку на приступок печи, улыбнулся и сухой рукой потрепал кадета по волосам.

В ту ночь Иван уже не смог уснуть в бараке — он вспоминал тающие образы, пытаясь оживить их напряжением ума. Получалось скверно, совсем не то, и от бессилия он кусал подушку.

Раз в неделю старик отправлялся на бричке в Нагаткино — за водкой для офицеров. Случилось, на Троицу кадета Некитаева отрядили ему в помощь.

Дорога была крепкой, с прибитой травой посередине и ровными, выстеленными хвоей, как войлоком, колеями. Иван сидел на козлах рядом со стариком и, находясь в неомраченных чувствах, хорошо думал о жизни. Он представлял себя лошадей, которой правит умелый, мудрый возница, и это не казалось ему обидным — наоборот, несмотря на некоторую архаичность и неполноту, такой образ добавлял кадету веры в осмысленность жизни. И пусть осмыслена жизнь не им, а возницей, но цель у нее есть, ибо запрягать без умысла и цыган не станет. «Конечно же — не будь возницы, человек не смог бы жить, — возвышенно думал Некитаев. — Зачем ему жить, если известно, что это ненадолго». Как будущему воину, в свои тринадцать лет Ивану уже доводилось размышлять о смерти.

— На вожжах и лошадь умна, — сказал старик и, понукая Буяна, звонко чмокнул пустоту. — А как насчет того, к кому кучер всегда сидит спиной?

Кадет вздрогнул, и сердце его сомлело: как открылись старику его мысли? Растерянность Ивана была сродни той, которую он испытал однажды в петербургской подземке, увидев, как человек, сидящий на скамье рядом с ним, смотрит в партитуру и лицо его при этом удивительно меняется, будто где-то в мозгу у него встроена мембрана, переводящая крючки на линейках в чистые созвучия. «А и вправду, — смущенно подумал Иван, — кто сидит за спиной возницы в той бричке, куда впряжен я?» На всякий случай он обернулся — позади никого не было.

— Чист ты умом, Ваня, — сказал с улыбкой старик, — аки младенец от купельной купели.

— А ты? — холодея, спросил Некитаев. — Кто ты такой?

— Я-то? — сощурился дед. — Я — пламенный. Порода такая на чудеса способная и шибко живучая. Не слыхал о нас?

— Не слыхал. А говорили — раскольник ты из Керженских скитов.

— Что ж, был и в скитах... — Старик чуть помолчал, потом еще раз протяжно чмокнул. — Оттуда ходил ко граду Китежу, чье земное укывище ныне в холмах у озера Светлояр. Летом, в ночь на Купалу, если кто со свечкой вокруг Светлояра обойдет, тому это как хождение богомольное в Киев зачитывается, а ес-

ли трижды осилить — будто паломничанье по всем уделам Богородицы на земле совершил. Ну а кто двенадцать раз обернется, тот и вовсе как в Святую Землю на поклон сходил. Под Владимирскую там вся бродячая ради Христа Русь собирается, колокола китежские, подземные слушает. Само собой, и разрыв-траву сыскивают...

Лесная дорога вывела к большаку, протянувшемуся вдоль кромки бора, и бричка потащилась по солнцу, оставляя за собой содовое облачко пыли. Слева мирно топорщился лес. Справа голубело огромное поле долгунца. Впереди играли с Буяном в салки глазастые жуки-скакуны — проворные и азартные, они отлетали на три сажени вперед, ждали в горячем дорожном прахе неторопливого жеребчика, и вновь неслись взапуски.

— Там, у Светлояра, возле ключа лесного, где сгинул князь китежский Георгий Всеволодович, случилась у меня одна встреча, — сказал старик. — Я-то сам в летах был, когда уж не колеблются, да сошелся с одним из наших — совсем стародавним. Годов ему было девятьсот шестьдесят, пожалуй. Как есть самые Аредовы веки.

— Из каких из наших? — не понял Иван.

— Известно — из пламенников. Он уже исход земного века чуял, оттого и раскрыл мне, что передал ему последний, супостатами убиенный государь завещальную привеску. Самому ему не посчастливилось наследника сыскать, так пламенник ее мне отдал — чтобы я вручил помазаннику, если он на моем веку уродится. «У тебя, — сказал, — все впереди, поезди по свету, посмотри города, веси, обители. Талисман этот сам преемника укажет».

— Какой государь? — недоуменно спросил Некитаев.

— Не знаешь ты его. То был государь истинный и по той поре тайный. — Старик немного помолчал, уставясь на оживший хвост Буяна, которым тот разгонял обьявившихся на солнце слепней. — Царство истое, не оплошное, не иначе родиться может, как от иерогамии, священного брака меж землею и небесами. Жених, помазанник небесный, и есть тайный государь, а невеста — держава земная со всеми ее обитателями. Вот только не всякий раз им повенчаться суждено — много на пути к алтарю терний. А если государь до алтаря дойдет, то через тот священный брак благодать небесная и земле передается. Земля без царя есть вдова.

— А что же консулы? Чем не властители державе?

— И на крапиве цветок, да не годится в венок, — усмехнулся старик. — Государя вымолить надо. Сам собою он не родится.

— Ну а как того государя узнать? — Не то чтобы Иван поверил старику, но ощутил в его выдумке какое-то очарование. Так порой западает в сердце голос певца — не потому, что певец речет истину, и не потому, что голос его особенно могуч, а потому, что, имея волновую природу, голос этот способен резонировать, вступить в тонкие отношения со слушающим, который, возможно, по природе своей тоже не более чем волна.

— Знающему человеку это однова дыхнуть, — сказал старик. — Государь всегда меченый. Только отметина та простому глазу не видима. Как бы тебе... Точно ангел его поцеловал — вот. Да не печально, а со страстью — с прикусом. К тому же у меня и привеска есть: она тайного государя точно укажет — чем он ближе, тем в ней жару прибывает. — Старик легонько похлопал ладонью по груди — так щупают карман, проверяя, на месте ли спички. — Помазанника того я и сыскиваю. Затем и землю русскую всю наискось исходил. Надо талисман ему передать. Силы-то в привеске никакой нет, кроме той, что хочет она быть при хозяине. А раз так, то пусть государь ее и преемствует. Наше дело чуточное — принять да вручить, а дальше ему самому через буревал к алтарю дорогу торить.

Тем временем бричка обогнула невысокий лесистый косогор, и вдали меж яблоневых куп показались крыши первых деревенских домов. Старик молчал. Прикрыв веки и отпустив вожжи, он, казалось, задремал на полуденном припе-



ке. Некитаев помахивал прутиком и, елозя на козлах отсиженным задом, обдурывал слова старика. Воображение рисовало ему престранную картину — Георгий Победоносец в ангельском чине, широким веером, точно кречет над зайцем, распустив крыла, кусал за кадык не то Александра Ярославича, не то артиста, сыгравшего его в кино.

На въезде в пустое село (бабы доили на выгоне у Порусьи буренок, мужики тоже чем-то черт-те где занимались) Буяна дружно обтявкали две собачонки. Жеребец в ответ даже не фыркнул. В канаве у деревенской улицы среди зарослей лабазника возились три поросенка, в которых лишь понаторевший в адвокатской казуистике английский ум мог заподозрить трудолюбие. Возле пруда тяжело топтались рыжелопатые гуси. Миновав опрятную часовенку с чудной гонтовой луковкой, бричка встала у дверей продовольственной лавки. Старик, театрально кряхтя, сполз на землю и поковылял к крыльцу. Иван, еще пребывая под впечатлением помстившегося наяву кошмара, тоже было спрыгнул на дорогу, но тут его отвлек странный писк на соседнем дворе. Кадет привстал на козлах: двое белобрысых мальчишек лет семи стояли возле проволочной огородки с цыплятами-переростками и увлеченно наблюдали, как прожорливые твари заживо расклеивают подброшенных им, истошно верещащих лягушек. Развевая зрелищем этого детского Колизея нелепый образ хищного ангела, Некитаев поспешил за стариком.

Внутри, облокотясь о деревянный прилавок, вполоборота к дверям стоял мужичок в пиджаке и картузе, явно из сельских разночинцев — не то телеграфист, не то землемер, не то учитель астрономии. Глядя на него, Иван вспомнил потешные истории о повыведшихся ныне социал-демократах, которые на своих конспиративных пирушках принципиально ели одну селедку. Приказчик отшивал мужичку в бумажный фунтик грушевую карамель. Похоже было, что старика в деревне неплохо знали, — разночинец уже о чем-то с ним оживленно спорил, а приказчик глупо и вовсе не по обязанности спору их улыбался.

— ...Ибо такова структура нашего подсознательного с его базовыми устремлениями — эросом и танатосом, — услышал Иван заключительный пассаж разночинца.

— Дался тебе Фрейд со своим матриархальным эросом, — сказал старик, и Некитаев удивился внезапной перемене его лексики, совершенно не вязавшейся с привычным обликом кержака, — старик, словно трикстер Райкин из телевизора, поменял маску, вмиг углубясь в иное амплуа.

— Но кто еще столь внимательно отнесся к проблемам человеческой психики? Кто первый осмелился лечить психику через сознание? — удивился собеседник.

— Признаться, мне странно это слышать. — Старик шурился на полки за прилавком, разглядывая этикетки выставленных там бутылок. — Фрейд усматривает в эротике последнее объяснение человека, саму ее расшифровывать явно не желая. Но что он понимает под эросом? Смутное влечение без конкретного объекта, ясной ориентации и даже без личности, переживающей это влечение. Подобное описание вовсе не универсально. Наоборот, оно отображает совершенно особый тип сексуальности, свойственный сугубо женскому эротизму, симптомы которого внятно описаны еще Иоганном Бахофеном. Эрос у твоего дорогого доктора — это калька с психологического фона древних матриархальных культур, воспоминания о которых действительно сохранились в виде неуловимых теней в бессознательном. Однако Фрейд проводит странную идею, что матриархальный эрос угнетен, подавлен патриархальным комплексом, напрямую связанным с самосознанием и нравственными принципами. Иными словами, лукавый венец как бы отказывает мужской сексуальности с ее этическим императивом в том, что она является вообще какой-либо сексуальностью, описывая ее в терминах «подавление», «комплекс» и «насилие». Конечно, мужская эротика подавляет донные хаотические импульсы, привносит в их разнузданное

буйство волю и порядок, что причиняет этим психическим силам некоторые неудобства. Но подобное насилие над матриархальным эросом не есть танатофилия и источник комплексов. Напротив, это — акт созидательный, направляющий внутреннюю энергию на героическое действие, в чем бы оно ни проявлялось — в религиозной аскезе, в страстной любви, в духе воинственности или творческом усилии. — Старик показал сухим пальцем на бутылку с серебристой этикеткой: — «Кристалл» московский?

— Московский, — кивнул приказчик. — Будешь брат?

— Два ящика. — Старик достал из кармана заколотую булавкой тряпицу, в которой хранил офицерские деньги, послонил большой палец и вновь обратился к разночincu: — А что касается танатоса, то весьма характерно, что доктор Фрейд понимает смерть как предельный материалист. Для него смерть есть полное и окончательное уничтожение, безнадежная гибель человека, который представляет собой сугубо телесный и однозначно временный психофизический организм.

— На тебя, я смотрю, не угодить. — Разночинец расплатился с приказчиком и взял свой фунтик с карамелью. — Эрос для тебя слишком женский, танатос — слишком мертвый, а Фрейд — слишком материальный и к тому же, поди, жидовин.

— Спасибо. — Старик взял предложенную карамельку. — Меня удивляет та самозабвенная страсть, с которой нынешние молодые умы отдаются этой холере. Ведь сам непристойный характер фрейдистских толкований мог бы послужить указанием на печать дьявола и врата адовы, если бы люди не были так слепы и безразличны в наше темное время. Что говорить — Юнг в комментариях к «Тибетской книге мертвых» ясно дает понять, что фрейдизм взывает только к самым низменным областям бессознательного, связанным с вожделением соития, оставляя всю полноту психической жизни, все архетипы и высокие образы за гранью оюема.

— Ну вот, добрался и до архетипов, — катая за щекой карамель, обрадовался разночинец.

— Любопытна драматургия ссоры Фрейда с Юнгом, — заметил старик. — Однажды ехали они вместе в поезде по каким-то пустычным делам, как вдруг сделалось профессору Зигмунду нехорошо — тараканы в голове побежали наискось. Карл-Густав ему и говорит: пожалуйста, мол, дорогой учитель, на кушетку — я вас сейчас проанализирую. «Не могу, — говорит Зигмунд, — есть во мне такие заповедные тайны, такие стыдные мемории, что если откроюсь — тотчас подорву свой незыблемый авторитет». Тут Юнг его и срезал: «В таком случае вы его уже подорвали».

Приказчик принес из кладовки ящик водки и удалился за следующим.

— Кстати, об эдипке... — сказал старик.

— Как, как? — переспросил нагаткинский почитатель Фрейда и рассмеялся, сообразив.

— Известно, что ни единого русского пациента твой доктор не вылечил.

— Это почему?

— А потому, — пояснил старик. — Эдипов комплекс, описанный им как растянувшийся в истории детский невроз, в русском человеке места себе не находит. Нет его в нашем человеке — и все. Вернее, он в нем как бы перевернутый: здесь не сын на отца посягает, а, наоборот, родитель дитятю гробит. Вспомни царя *грозного* Ивана Васильевича. Да и Петра с Алексеем, с русским нашим Гамлетом... Или хоть крестьянина того, Морозова — помнишь, когда нашествие Бонапарта с армией двенадцати языков на Русь случилось, он сына своего убил за то, что тот указал французским фуражиром, где отец овес от врагов укрывал. Опять же Гоголь Николай Васильевич когда-а-а еще сердцем эту тему понял и начертал пером благословенным: «Я тебя породил, я тебя и убью». Так что над отечеством нашим комплекс Морозова витает, комплекс

Бульбы его точит, а психоанализ русский — наука, которая ждет еще своего создателя...

— А и вправду,— почесал под картузом затылок разночинец,— наш-то Сулькин намедни так своего Митьку граблями отходил, что его едва в Старой Руссе коновалы откачали.

— Так то ж за дело,— встрял приказчик, выставляя на прилавок второй ящик водки.— Митька ж мачехе проходу не давал.

— Это еще надвое сказать, кто не давал! — азартно возразил разночинец.— Клавка сама Митьку в койку тащила — приспичило ей пацанчика безусого... А то ты не знаешь, что она за камелия? Когда Сулькин в прошлом годе на Ильмень в путину пошел, не ты ли огородами к Клавке шастал?

— Я?! — зыркнул шальными глазами приказчик.— Ах ты, колода ушастая! Блядин сын! А кого у сулькинской бани под дымволоком застукали?!

Обратно Буян тащился так, словно бричка отяжелела не на два ящика водки, а по меньшей мере к ней подцепили целый винокуренный завод. Впрочем, Иван не замечал дороги. Он видел и чувствовал мир по-новому, но как-то странно — словно ему поведали тайну, а он ее не расслышал.

— Я изучал медицину в Зальцбурге, богословие в Киеве и математику в Казани,— говорил старик, когда неторопливая бричка сворачивала с большака на лесную дорогу.— Только это было давно, так что и вспоминать нечего. Словом, всякого отведаль: торговал лесом и писал премудрые статьи, поворовывал и служил в жандармерии, воевал и проповедовал, трепал лен и кормил в зверинце мартышек... Сказать по совести, я был единственный, кого они держали за равню.— Некитаев беспечно фыркнул.— Не смейся — я был рад этому. У пламенника должна быть тьма личин: за долгий век он сменяет уйму мест, и всякий раз ему приходится становиться иным... Становиться иным и при этом не внушать подозрений.

Кругом стояла тишина, звенящая от редкого лесного звука, словно она была налажена из тончайшего льда, в отличие от прочего вещества скрытного, всегда нацеленного мимо взгляда. «Ведь это не глаз видит предметы,— осенила кадета догадка,— это предметы швыряют мне в глаза свои образы».

— И все же — кто ты? — Иван чувствовал, что спрашивает невпопад, но молчать, казалось, было бы еще глупее.

— Я тот, кто чтит монастыри и тех, кто туда никогда не заходит,— вздохнул старик, и Некитаев не понял, сокрушается ли он по поводу его глупости или по иной причине.— Я говорю обители: не надевай маску печали на лицо свое и не разыгрывай театр скорби с балаганом в душе. И я же говорю беззаботному мирянину: брат, будь в удовольствиях прекрасен, как эллин, но не переходи нигде в свинство. Однако завтра я стану иным — я нашел тебя, и больше меня здесь ничто не держит.

За поворотом вот-вот должна была показаться ограда кадетского лагеря, но тут старик внезапно натянул вожжи, и Буян покорно встал, лениво тряхнув рыжей челкой. Старик пригнул голову, закинул руки на зашеек и снял с себя золотой кругляшок с ушком, в отверстие которого был продет цветной шелковый гайтан. Кругляшок был не то литой, не то печатный, с рельефным солнышком на аверсе и тугощекой мордой льва на тыльной стороне. Старик протянул амулет Ивану. Кадет подставил ладонь, и кругляшок, ярко сверкнув в солнечном луче, упал ему в руку. От неожиданности Иван вздрогнул и едва не выронил подарок — золотое солнце было горячим, словно его подержали в кипятке, как английскую тарелку.

— Наследуй,— сказал старик,— носи по праву.

— Что же — выходит, я тайному государю родня? — Иван накиннул гайтан на шею и спрятал амулет под рубаху — золотая бляшка, как нагретая солнцем пляжная галька, легко ожгла ему грудь.

— Наследник — это тот, кто ступает в след предков. Кровь тут ни при чем.— Старик, глядя в глаза Ивана, дернул из его руки прут.— Ты государь и есть.

— А наследовать-то что?

— Вестимо, Русь небесную,— удивился старик.— Да ты все ли понял?

— Нет,— смущенно признался Некитаев.— Скажи-ка, а что такое дымволок?

Старик кисло сощурил лицо и вдруг дал кадету решительный подзатыльник. Иван вскинулся, и глаза его гневно блеснули.

— За что?!

— Лося бьют в осень, а дурака завсегда,— спокойно объяснил старик.— В банях здешних по-черному топят, а дымволок — окошко, чтобы чад вытягивать.— С этими словами он неожиданно легко спрыгнул с козел на землю, стегнул Буяна прутом и пошел от Ивана прочь. В лес. Без оглядки. Насвистывая в бороду про судьбу «всегда быть в маске» из Кальмана.

### *Бунт воды*

(за год до Воцарения)

Мерно качаясь в белом, обшитом золотым позументом паланкине, который несли на плечах выученные особой кошачьей поступи восемь телохранителей-носильщиков, луноликая фея Ван Цзыдэн, крещенная в далекой симферопольской церкви Татьяной, погружалась в глубокую воду воспоминаний. За шифоновым пологом проплывали стены домов Старого города. Юркие турки, посмуглевшие на Босфоре русские, исконные греки, вездесущие армяне, левантинцы из Галаты и Перы и прочий стоязущий народ Нео Рома, завидев двух рослых гвардейцев, вышагивающих перед паланкином, замолкали и почтиительно сторонились к склонившимся над улицей домам.

Таня вспоминала другое место и другое время, не очень давнее, но все же из той, прежней жизни, которая теперь казалась оконченной и навсегда уложенной под стекло,— из жизни тусклых страстей и робких жестов. Она проводила лето в имении с десятилетним Нестором. Кругом дико цвела земля, по счастью, еще не переведенная на язык газонной цивилизации. Тогда, в разгар полупраздной грибной страды, бывший опекун и бывший уездный предводитель дворянства Легкоступов-старший, уже разменявший восьмой десяток, но по-прежнему пристрастный к воротничкам-стойкам, не вылезал с корзиной из леса. Он сделался странен в тот год. Бывало, подолгу смотрел на деревья и думал. Таня спрашивала: о чем? «О нем,— отвечал старик, кивая на ближайший ясень.— Я полагаю, он изначальной всех ваших соображений на его счет». Иногда, вернувшись с ранней прогулки, он говорил за самоваром дулевской чашке: «Страшное дело — рассвет. С какой прытью выкатывает из земли солнце! Обычно жизнь ведет себя приличней и выглядит длиннее».

Однажды старик не вернулся из леса. Его искали две недели — окрестные мужики с лесниками, вызванный из Петербурга Петруша и отряженные приставом из уездной управы урядники. Но Легкоступов как в воду канул. Уже грешили на волков, медведя, болотную пучину... Жена предводителя извелась и слегла в горячке. А еще через неделю один крестьянин, скирдовавший на лесной поляне прочахлое сено, заметил у опушки пропавшего предводителя, но тот, углядев косца, стремглав бросился в чащу. Мужик сходил в деревню, собрал народ, кое-кто прихватил охотничьих барбосов. Собаки след не взяли, но к вечеру мужики все-таки сыскали в гущине потаенный шалаш, а внутри — обросшего и обтрепаншегося дворянского предводителя. Волосы на голове и в бороде его сделались похожи на шерсть кокоса, брови разрослись и ошетинились, глаза стали

по-рысьи желты, а лицо потемнело. Он отбивался, но его скрутили и силком сволокли в усадьбу Некитаевых. Предводитель был странен и даже будто не в своем уме. «Зачем ты сбежал из дома в шалаш?» — недоумевал Петр. «Меня позвал лес», — глухо говорил предводитель. «Как же он тебя позвал?» — «Он сказал: укореняйся». Когда его, чумазого, отвели наконец в баню, то, к общему изумлению, выяснилось, что на старческом теле кожа повсеместно затвердела и местами словно взбурилась корой. Одеревеневший предводитель, три недели питавшийся росой, ягодами и грибами, поначалу всячески норовил улизнуть, потом приведенный к порядку долго умолял отпустить его обратно в лес, но ошалевший Петруша велел запереть родителя в чулане, чтобы на заре вместе с управляющим доставить его в Порховскую больницу. За ту бессонную ночь, пока предводитель скулил и скребся в чулане, жена его от ужасных предчувствий потеряла волосы — утром не по возрасту тугая коса ее осталась лежать на подушке, в то время как хозяйка безумно таращилась у туалетного столика на свое плешивое отражение.

В больнице Легкоступов-старший прожил два дня, а на третий тихо помер в отдельной, настрого закрытой для посетителей палате. На вскрытие, помимо медицинских светил, местными эскулапами были настоятельно приглашены два маститых петербургских ботаника. Таня хорошо помнила бледное лицо Петруши, когда тот читал заключение о результатах анатомирования, беспомощно пестрящее полупонятными флэомами, ксилемами, паренхимами и камбием, а проще говоря — растерянное уведомление о том, что покойный находится вне компетенции медиков и патологоанатомов, ибо целиком и полностью принадлежит растительному царству. После того как родня предводителя получила решительный отказ на просьбу о выдаче тела, Таня украдкой прочла в Петрушином дневнике: «Родители любят/терпят детей не потому, что те хороши, а в силу их *сыновности* и *дочерности*. Равно и наоборот, ибо папашек-матушек не выбирают. Призаться, порой мне и прежде казалось, что я зачат от колоды». Что ж, в жизни бывает всякое. Бывают и такие минуты, когда приличия не имеют никакого значения. Поэтому Таня взяла перо и дописала: «Твой отец оказался достойнее прочих хотя бы потому, что остальные не предпринимают ни малейших усилий, чтобы не смердеть. Надеюсь, он машет тебе из древесного рая листиком». С тех пор зачатый от колоды Петруша больше не оставлял свою философическую тетрадь на виду.

Напрочь облысевшая предводительша так никогда и не постигла всей злейшей нелепицы события — разум ее спасительно сомлел, и она навсегда отгородилась от мира стеной счастливого непонимания. Впрочем, вдовство ее длилось недолго — в тот же год перед Рождественским постом она внезапно отдала Богу душу, сказав напоследок случившейся рядом горничной: «А моя Марфинька лукум любит, вот», — и с этим воспоминанием о никому не ведомой сладкожке Марфиньке испустила финальное облачко пара, так как дело было на застекленной террасе и уже прихватил округу первый морозец. Несмышленный Нестор, как было у него заведено, отметил оба известия идиотской улыбкой, полной плоских зубов и розовых десен. А между тем в пору было обзавестись понятием и чувством.

Потом был другой год. И второй. И, может быть, третий. Она не помнила точно. Кончалась весна, над озером стоял майский полдень и грел рыбам их холодную юшку; под неподвижным солнцем млели деревья и травы, а птицы летали высоко — на самом небе. Тогда (Царица Небесная, она не видела его вечность!) в усадьбу приехал Иван и с ним — Петр, хлопотливый, как флюгер под ветром. Петр вдохновенно бредил какими-то безрассудными надеждами, а Иван смотрел на нее — в зрачках мерцал убийственный огонь — и в глухом азарте оценивал ее готовность вновь покориться ему с прежней изнемогающей полнотой. Что ж, она была готова покориться. Но на этот раз без былого легкомыслия, без детской, зажмурившейся отваги... Три года уже как следовало ей «уста-

новиться» («Пятнадцати лет я устремился к знаниям... Мне было тридцать — я установился... Стукнуло сорок — и я не колебался...») — изрек на отчине Джан Третьей Конфуций и обязал соотечественников к подражанию), так что теперь она потребовала бы не только пьянящей преступной забавы, но и соблюдения основательного интереса. А интерес ее ни много ни мало был таков — в своем пределе бытия она хотела невозможного. Она хотела славы жены государя У-ди, о красоте которой говорили: «Раз только взглянет — и рушится город. Взглянет еще раз — и опрокинется царство». Причем желала этого буквально — по цитате. Таков был ее вклад в копилку вселенского вздора.

Нет, ей не то чтобы поздно было мечтать об этом — вовсе нет. В свои года она оставалась по-девичьи свежа и полна такого обаяния, такого благоухающего соблазна, что имела все шансы прельстить не только медных клодтовских парней, но и их жеребцов в придачу. Казалось (а может, так и было), однажды в ее организме произошел какой-то счастливый сбой, отчего из строя вышел немоллимый механизм старения, и с тех пор она была обречена пожизненно носить на себе цвет своих девятнадцати лет. Дело было не в ней самой — вздор выходил из наложения грез на сопутствующие обстоятельства. Просто тогдашнее ее положение не давало никакого основания для столь высоких притязаний. Разумеется, она заводила любовные интрижки со всяким божественным сбродом, который составлял привычную среду ее жизни. Взять хотя бы князя Кошкина... И высоколобые умники, и небрежно-образцовые питерские франты, как истые ценители изящного, радостно обольщались ее изысканной китайчатой красотой, однако, когда дело доходило до поцелуев и смятых простынь, Таня отчаянно скучала. Все получалось словно понарошку, чересчур умственно — не раскаленная бездна страстных свершений, а топкая трясына половой демагогии.

Иное дело легендарный полководец, не проигравший ни одной битвы и ни разу не допустивший во вверенных ему войсках бессмысленных потерь, герой, чье слово спасало или губило одновременно тысячи жизней, а имя гремело всюду — от смолистой Сибири до лимурийского Мадагаскара и разлегшейся поперек глобуса Америки. Этот мог дать многое. Может быть — все.

Словом, Таня не собиралась противиться Ивану и не предпринимала равным счетом ничего, чтобы устоять перед обаянием его жестокой силы. Зачем? Ведь их желания совпадали не только в обоюдном преступном влечении, но и тщеславные помыслы их были почти зеркально схожи. Правда, Иван добился того, чего добился, сам, своею собственной волей, а Таня могла добиться чего-то подобного, лишь отразив первообраз, перенеся на себя контур чужого величия, присвоив себе заслуги оригинала.

В тот день, выслушав речи Петра и брата, она осталась в полной уверенности, что Петруша со всем своим недурно отлаженным мозгом вовсе не был столь уж необходим Ивану в реализации тех грандиозных претензий, которые сам он вслух предпочитал не высказывать, — нет, генерал брал его с собой только затем, чтобы беспрепятственно, избегнув подозрений и домыслов, увезти в Царьград ее, Таню. Так она думала и поныне, хотя польза Петра в осознании Иваном собственного предназначения была теперь вполне очевидна.

— Ты живешь волей, я — рассудком, — сказал однажды Легкоступов генералу. — Мы прекрасно достроим друг друга.

— Твой разум овладел телом, — возразил Некитаев. — Он лишил его собственных устремлений. Часть победила целое. И ты еще гордишься этим?

Но Петр был настойчив. Он очаровывал, он пророчествовал и все больше заражал Ивана своим ледяным азартом.

— Самые гнусные злодейства одним махом должны быть вывернуты наизнанку, как куриный желудок, вычищены и преобразены в героические, похвальные деяния, — говорил он. — Если наша затея провалится, то лишь потому, что тех, кто пойдет за тобой, испугает твоя бессмысленная, не освященная героизмом жестокость.

И Некитаев согласно кивал.

— Уничтожение действующих порядков и упразднение существующей морали есть акт творения, демиургический акт,— говорил Петр.— Убийство и насилие — это существо и душа переворота. Надеюсь, эти слова тебя не рассмешат. Хотя, конечно, найдется достаточно придурков, согласных над этим посмеяться.

И Некитаев не смеялся.

— На что претендует государство в лице консулата? — вопрошал Легкоступов и тут же отвечал: — Сохранить устои, достигнуть согласия, преумножить благосостояние подданных. Иными словами, оградить власть тех, кто находится у власти, и не допустить к власти всех остальных. Прими как данность тот факт, что только государство обладает монополией на принуждение, раз и навсегда узаконив собственную жестокость. Так есть, государство не может быть иным. Поэтому то, что мы задумали,— это не переход от безнравственного к нравственному или от беззакония к правопорядку, это просто схватка одной власти с другой, где исходом будет свобода для победителя и рабство для всех остальных.

И Некитаев гонял на скулах желваки.

— Однако, встав во главе,— смягчал напор Легкоступов, полагая, что сегодня он отложил в генеральский разум довольно личинок — как раз, чтобы они не сожрали друг друга,— увенчав собою нашу затею, ты должен помнить о том, что только империя способна на жертву. И в этом, единственно в этом, ее честь и величие.

— Что такое жертва? — спрашивал Иван.

— Грубо говоря, жертва — это объективно ненужное сверхусилие. Что-то вроде Карнака, Царьграда или Петербурга. Это то, чего не может позволить себе народовластие. Это то, что переживет фанеру республики, какую бы великую державу она из себя ни строила.

Сегодня Таня направлялась к царьградскому Акрополю, чье место давно уже заступили сокрытые от любопытных глаз стенами с островерхими башнями былой султанский Сераль и чертоги Топ Капу. Холма еще не было видно, но вдалеке, в голубом небе висел запущенный с надвратной стены Топ Капу серебряный аэростат. Под ним колебалось в струях этезий огромное полотнище с портретом Ивана Некитаева. Гесперия выбирала своего консула.

При виде брата на босфорском небе Таня изменила и без того не слишком ясное намерение.

— Ступайте к Галатскому мосту, на пристань,— велела она носильщикам, и паланкин плавно повернул влево.

Она решила отправиться к Принцевым островам, где в это время Иван погружался в батисфере в глубины Мраморного моря.

До места добрались быстро. С борта полувоенной-полунаучной посуды, куда, оставив носильщиков на парходике, поднялась с Нестором Таня, море от пены действительно казалось мраморным. На палубе, помимо генерала в шортах и нескольких загорелых спецов, возившихся у подвешенного к лебедке глубоководного яйца, в шезлонге под тентом сидел Легкоступов. Некитаев сделал едва заметный знак, и подле Тани ниоткуда возник Прохор с плетеным креслом на голове.

— Представь себе,— озорно подал из-под тента голос Петруша,— море бунтует! Отказывается повиноваться! Оно не хочет менять царя морского на Священного Императора!

Усаживаясь в низвергнутое с головы денщика кресло, Таня посмотрела на Ивана — генерал насупленно улыбался.

— Расскажи-ка лучше, как это вяжется с твоей райской идеологией.— Некитаев достал из портсигара папиросу.— С твоим Новым Ирием?

Таня знала, что Петруша давно уже готовил своего рода философическое обоснование грядущего воцарения Героя, сочинял сценарий вселенской мистерии, где оставлял за собой роль медиума, мистагога — не блистательного вершителя судеб, но его поводыря, хозяина самого мистического времени. Словно бы в пикку своему деревянному родителю, узревшему под маской жизни лишь отвратительную ряшку преисподней, Легкоступов-младший измыслил образ земного рая. В общем контуре идея Петрушиного империализма — Нового Ирия — сводилась к следующему: Император — фигура божественной природы, стоящая посреди подвластной ему сакрализованной вселенной, вселенной-зеркала, в котором не отражается ничего, кроме самого Императора, соли земли и неба. Ни над собой, ни под собой, ни тем более окрест Император не имеет никакого высшего метафизического принципа, с которым он вынужден был бы духовно считаться, а стало быть, он абсолютно свободен и неотделим от Бога. Бог внутри него. Вне его Бога нет. Вокруг существует только отражение Священного Императора. Следовательно, держава его по определению является синонимом рая — ведь она есть овеществленное продолжение его воли, ее «большое тело». Само собой в реальном воплощении подобное мировоззрение может быть сориентировано только монархически; вместе с тем оно будет тяготеть к пространственному распространению власти монарха через имперскую экспансию, через включение максимального объема вселенского пространства в подчиненную Императору сферу, в сферу отражения его личности, тем самым чудесно преобразая заросли подзаборной крапивы в рай, в область восстановленного первопорядка. Словом, исполать великому делу иерархии.

Во всем этом легко прочитывалась давняя гностическая традиция — традиция эзотеризма, внутренней тайной доктрины, затаившейся в недрах практически любого учения. Поэтому политическая область приложения Петрушиных воззрений была лишь частью его замысла. Просто без глобальной политической победы невозможно было масштабно и вчистую переписать матрицу мира. Что подразумевал под этим Легкоступов? А вот что: человек с детства живет в той действительности, которую ему надиктовали няньки и которую он продолжает механически ежеминутно воспроизводить в себе самом. Ведь известно — на свет являются только те боги, которым молятся. Надо разбить прежнюю матрицу, надо поменять текст мира, спроецировав его новый образ из области чистого умозрения, из области религии, мистицизма и герметических наук вовне, и тем самым изменить мир, вызвав из кажущегося небытия силы потаенные и невиданные, силы прекрасные и грозные.

— Море не хочет быть раем.— Благодаря своей полноте Легкоступов казался вялым, но Таня знала, что сейчас мозг его клокотал, точно в него всадили кипятыльник.— Море хочет остаться сомнительным творением. Но в нем пробуждается роковая мощь — ведь через свой протест оно отличает тебя от остальных людишек.

— Ты почти угадал,— усмехнулся Иван.— Вода нижняя не принимает меня, потому что я сделан из глины, замешенной на воде верхней.

— Ваше превосходительство, можно погружаться,— доложил главный спец Некитаеву, на котором были только шорты, да и те без знаков отличия.— Проверили — все в порядке. Ума не приложу, что она блажит? — Спец похлопал ладонью тугой бок батисферы.— На всякий случай удвоили балласт.

— Долго же ты его убалтывал поиграть в консулы.— Таня улыбнулась поглотившим батисферу водам.

— Я и не думал его убалтывать,— сказал Петр.— Знание, выросшее из слов, ненадежно. Оно шутит с человеком скверные шутки — одаривает иллюзией осведомленности, но, когда тебе доведется обернуться, чтобы вновь взглянуть на мир, это знание неизбежно предаст тебя, и ты опять увидишь мир прежними глазами, без всякого просветления.— Легкоступов козырьком выставил над глазами ладонь.— Иван не слушает слов, он совершает поступки. Видишь



ли, ему удалось выстоять, не склонить голову перед разумом и сохранить себя целым. Он как будто видит себя мертвым, и потому ему нечего терять — самое худшее с ним уже случилось. Он всегда спокоен и ясен. Понимаешь? Иван в смиренной принимает себя таким, каков он есть, и не ищет в этом повода для скорби. «Иду на вы». Он воплощенный демарш, живой вызов. Всем и вся.— Легкоступов на миг задумался.— Его не нужно было убалтывать. Он просто ждал знаменья.

— И что же? — Танин интерес был непритворным.

— Дождался. Недавно он гулял в саду Долма-багче, и перед ним на платан уселся снегирь. А немного спустя он увидел, как три турка толкают автомобиль с заглохшим двигателем и при этом ругаются на государственном русском. И тогда он понял, что мир обезумел.

Внезапно вода за бортом взбурлила, и из глубин, как плевок синекудрого Посейдона, как чудовищное ядро, оставляя за собой белый пенный шлейф, выстрелила батисфера. Подлетев на изрядную высоту и окатив сверкающим снопом брызг палубу, стопудовое яйцо плюхнулось обратно в воду и невероятным образом, словно пинг-понговый шарик, легко закружилось на волнах.

— И вот так третий раз,— бесстрастно сообщил Петруша.

— Ититская сила! — в сердцах чертыхался главный спец.— Мне его и на семь сажен не затолкать в это чертово море!

*«В нашей жизни было много кое-что...»*

(за четыре года до Воцарения)

— Давайте определимся,— буднично открыл заседание Годовалов.— Сегодня мы решили обсудить предмет, именуемый «небесный мандат на империю», и выяснить: кто есть истинный самодержец? Тот ли, кто по закону престолонаследования занял трон, или тот, кто возведен на него некими провиденциальными силами? Если второе, то предлагаю дерзнуть и по возможности определить природу этих сил. Итак, что есть император? Всяк ли, кто венчает собой грозную, неумолимую и обаятельную пирамиду империи, имеет основание называться государем? Всяк ли, кто определяет на подвластном ему пространстве реальность или мнимость миропорядка — от смены времен года до дрожания ресниц подданных,— имеет неотчуждаемое право на звание императора? Полагаю, среди нас нет отпетых эгалитаристов, и всем очевидно, что сама по себе автократия вовсе не отвратительна, и отнюдь не обязательно должны сопутствовать ей произвол и беззаконие вкупе с культурным, нравственным и, с позволения сказать, генетическим вырождением.

— А почему, собственно, возник такой вопрос? — подавшись ближе к столику, где в самом центре стоял включенный диктофон, поинтересовался интеллектуально-медитативный лирик.— Разве наличие неограниченной власти, гарантирующей ее носителю достоинство в любой ситуации, ибо никто не вправе высказать ему недовольство, не говоря уже о возмущении, недостаточное основание для звания государя? Или вам, господа, почему-то кажется важным способ овладения троном?

— Позвольте, господа, я уточню,— подал голос князь Феликс Кошкин. Должно быть, присутствие героического Некитаева действовало на него, как общество институток на записного баболуба.— Обретение власти еще не подразумевает избранности, ведь в силу законов престолонаследования державный венец может достаться человеку, не имеющему воли к власти. Тогда власть претенденту

не поддастся, ибо он не способен принять ее условий, он отвергает ее демонический букет, описанный теоретиками инквизиционного подхода к истории как склонность к магизму и мистицизму, невозможность любить и скрытая или явная половая аномалия — божественный Юлий сожительствовал с Никомедом, которого Лициний Кальва называл «Цезарев задний дружок», Тиберия развлекали спинтрии, Нерон предавался разврату с матерью, а Каллигула и Джовампаголо, тиран Перуджи, грешили с собственными сестрами.— Некитаев дернул плечом, однако Феликс этого не заметил — определенно, князь себе нравился.— Вполне допускаю, что такая дисгармония власти и властителя воплощается в довольно гуманное правление, весьма, впрочем, недолговечное. Ведь если государя не любит власть, то ему остается рассчитывать только на любовь народа, а это, простите, основание ненадежное. Однако это не является предметом нашего изыскания. Предмет нашего изыскания — император. В связи с этим осмелюсь вынести вердикт: император есть тот, в ком сошлись абсолютная власть со встречной волей к абсолютному владычеству. Иными словами, император — это тот, кто, обретя скипетр, не принимает его как бремя, но, наоборот, освобождается и сознает, что то, как он жил, не стоило того, чтобы жить. И только здесь он становится императором. Он меняется. Он перестает сражаться в чужих битвах и погружается в собственную войну, в область точных поступков, ясных чувств и безукоризненных решений.

— Князь,— с улыбкой провокатора сказал Легкоступов,— но тогда выходит, что вовсе не всякая империя является таковой, а лишь та, во главе которой стоит сей безукоризненный воитель, воспринимающий мир исключительно как свои охотничьи уголья. Тем более не может устроить империю диархия или того хуже — выборный консулат.

— Пожалуй,— легко согласился Феликс.— А вы как считаете, Иван Никитич?

— Я считаю как обычно: раз, два, три...— признался Некитаев.— А вот как я думаю. Затевая свою войну или, если угодно, отправляясь полевать, охотник должен знать повадки дичи: он должен знать, где у зверей водопой, какие зверь оставляет следы, что и где он ест, как бракуется и когда спит. Хороший охотник может угадывать поступки зверя: именно поэтому он — ловец, а зверь — добыча. Но если дичь сможет предвидеть поступки охотника, то они вмиг поменяются местами. Для ловца это конец, осень — время опадать и шуршать под ногами. Поэтому охотник должен быть неуязвим, он не вправе становиться дичью, он должен сделаться непредсказуемым.— Некитаев достал из кармана генеральского кителя портсигар, щелкнул крышкой и продул папиросу.— Когда человек меняется, когда мир становится для него охотничьими угольями, когда он *так* решает свою судьбу, это означает, что он идет на вызов страшной ненависти. Он делает то, от чего все бегут. Император вызывает на себя огонь мира. Он вызывает на себя всеобщую ненависть и относится к ней великодушно. Потому что он для нее неуязвим. В конечном счете эта ненависть и гарантирует его достоинство. А ведь люди так не любят, когда их ненавидят...— Иван затаился и с вызывающей бесцеремонностью выпустил дым в лица сразу обоим поэтам.— Да, меня — императора — должны бояться, меня должны ненавидеть, но мне никто никогда не посмеет сказать об этом. Пока я неуязвим. Все слова и поступки вокруг себя я превращаю в лесть, чтобы они вообще имели право на существование. Иначе я не дам им этого права. Или я не император. И все это знают.— Некитаев окинул компанию взглядом без выражения.— Такие дела.

— Позвольте, господа,— шумно вздохнул Годовалов.— Мне очень по душе тема в том свете, в каком представил ее уважаемый Иван Никитич.— Годовалов исполнил почтительный поклон в сторону Некитаева.— И все же я заострю внимание на другом. Никто из нас пока не сказал о принципиальном космополитиз-

ме империи. О том, что она является наднациональным строением и не может не учитывать интересы входящих в нее разнообразных племен и народов. И-народцев,— повторил Годовалов, найдя в своих словах невольный каламбур.— Так вот, звание гражданина империи здесь всегда важнее национальности. Итоговой, еще с римских времен, целью империи служит некая законная справедливость, на худой конец, простите за выражение,— консенсус. В связи с этим мне бы хотелось напомнить о краевом патриотизме. Что я имею в виду? Такая картина. Вот человек просыпается утром — смотрит: солнышко взошло, согласно державному указу. Вроде бы начинают сохнуть капустные грядки — уже не согласно указу, а согласно законам физической природы. Надо бы их полить... Ну, полил он грядки, идет дальше, скажем, в присутствие. То есть он не совсем чиновник, хотя в империи все чиновники, но есть такие, которые исполняют частные должности, к примеру — пасут гусей или тачают сапоги. Допустим, наш обыватель именно таков. Так вот, идет он и видит, что дорога к его дому проложена какая-то неказистая. Конечно, магистральные пути хороши, и до его уездного городишки доехать можно, однако местные дороги плоховаты. Надо бы их подправить. Да и вообще гора как-то покривилась от вращения земли. И популяция местного племени придонных русалок, вывернутых, точно камбала, на одну сторону, отчего-то сокращается. И много еще всякого. И он, собравшись со своими односельчанами, однополчанами, однокашниками, с кем-нибудь собравшись, пытается все это поправить. Называется это — инициатива. Она, конечно, хороша и могла бы поощряться, но в том-то и состоит сакральный смысл императорской власти, что никакая инициатива, исходящая от незваных доброхотов, поощряться не может. Ибо это есть посягательство на уникальность той самой власти. И перед обывателем встает выбор — или не чинить свои хреновые дороги, или чинить вопреки императору. Опасаясь нарваться. А починить хочется — потому что он любит свой дом, любит фамильное кладбище, любит людей, говорящих с ним на одном языке и исповедующих одну с ним, скажем, местную синтоистскую религию.— Годовалов задумался, соображая, куда его занесло, а когда сообразил, решил закругляться.— В свете сказанного я утверждаю, что обязательно императора погубит обыватель. А потом император погубит обывателя. А потом опять обыватель...

Некитаев с солдатской прямоотой зевнул.

— Дорогой мой,— прервал откровение регионального патриота Чекаме,— а почему ты думаешь, что желание полить капустные грядки или подправить покосившийся плетень категорически противоречит воле императора?

— Да вы, господа, совсем еще философы,— укоризненно заметил генерал и зычно распорядился: — Прощка! Подай хересу.

Денщик мигом поднес Ивану бокал.

— Честно говоря, я не чувствую оригинальности взгляда,— признался интеллектуально-медитативный лирик — тот, что обходился без записной книжки.— Разговор остается в русле сказанного генералом. Ведь это именно император провоцирует достоинство обывателя, а не наоборот.

— Согласен,— поддержал поэта Чекаме.— Однако у нас сегодня почему-то отмалчивается Петр.

— Я думаю, нам с вами не следует по науке древних договариваться о смысле понятий.— Дабы не упустить нить и случайно не отвлечься на встречный взгляд, Петр поднял глаза к потолку.— Однако уместен будет небольшой обзорный экскурс. Согласно римскому праву, верховная государственная власть принадлежит народу. Это он — народ — на выборах или иным способом наделял полномочиями сперва царей, затем консулов и впоследствии императоров. Высшие эти полномочия и звались изначально «империум». Только много позже в обиходе понятие слилось с именем территории, где простиралась обозначенная

этим понятием власть. Далее. В Византии слово «император» переводилось на греческий как «автократор» — по-нашему «самодержец». Выше него стоял лишь «Пантократор» — сиречь Вседержитель, титул самого Бога. Тут следует сразу же отметить коренную разницу в западном и восточном понимании царской власти. Православное учение о ней имеет своим прообразом Ветхий завет. Там рассказывается, что первоначально Израилем управляли так называемые судии. После них беззаконие умножилось, и страдающий народ обратился к Господу с просьбой устроить свое бытие вновь — тогда-то ему и были дарованы цари. Отсюда идет и русское понимание происхождения царской власти, часто толкуемое поверхностно в духе «общественного договора». На самом деле порядок здесь был иной, священный: народ обращался ко Христу, моля о послании царя, и в случае успешной своей молитвы его обретал. Поэтому самодержец был ответствен не перед ним, народом, а перед единым Богом — недаром тот именуется в церковных песнопениях «Царем царствующих» и «Господом господствующих». Титул самодержца обозначал, таким образом, отнюдь не абсолютную власть, а независимость от прочих стран...— Легкоступов замолчал, как будто его осенила внезапная мысль, и опустил взгляд на публику.— Однако наш разговор пошел иным путем. Так что оставим это. Говоря об императоре, я бы хотел вместе с вами вспомнить о смерти. В целях синхронизации нашей мысли и логики.

— О смерти? — отчего-то оживился Некитаев.

— Да, Ваня, о смерти. Ты сам первым упомянул о неуязвимости. О том, что это качество — определяющее для императора, входящего в мир, как в свое ловчее хозяйство. А ведь проблема неуязвимости — это всегда, или почти всегда, проблема смерти.

Из присутствующих только Легкоступов мог позволить себе обращаться к тридцатилетнему генералу запросто. Разумеется, он этим воспользовался.

— Скажи, почему ты выигрывал все битвы, в которых тебе приходилось сражаться?

Некитаев задумался, отхлебнул изрядно рыжего хересу и твердо изрек:

— Потому что между мной и моими офицерами не было осведомленных посредников. Потому что я почти не использовал телефон, телеграф и радиосвязь, а если использовал, то не по существу. Потому что мало быть хорошим стратегом и тактиком, надо еще уметь сохранять свои планы в тайне.— Иван одним глотком допил вино.— В своих частях я ввел старую спартанскую практику: для отправки всех секретных распоряжений и донесений я использовал скиталу. Скитала, господа,— это шифровка, которая пишется на тесьме или кожаном ремне, накрученном на палку. Чтобы прочесть написанное, следует обернуть ремень вокруг точно такой же палки. У каждого моего командира была палка своей длины и диаметра. И только у меня одного были все.— Некитаев вновь щелкнул портсигаром.— Разумеется, помимо этого нелишним окажется, если мои солдаты будут ревностно исполнять свои ратные девизы: Воины Камня не убоятся сразиться с самой войной, чтобы сделать ее комфортной, Воины Силы будут искать спасения в отваге, Воины Ярости не станут спрашивать «велик ли враг?», но будут спрашивать «где он?», а Воины Блеска, глядя дальше победы, все равно будут видеть победу.— Иван постучал папиросной гильзой о крышку портсигара.— Ну а чтобы они лучше исполняли свои девизы, во вверенных мне войсках я нарушаю Уложение о воинских преступлениях. Если провинился солдат, я наказываю всю роту. Если провинилась рота, я наказываю батальон. Не децимация, но все же... Кроме того, дезертиров я расстреливаю, а словленным перебежчикам велю ломать хребет, как было заведено в туменах Чингисхана. Что делать — когда ты командуешь солдатами, с помощью которых намерен

побеждать, ты не должен бояться прослыть жестоким. Одной лишь доблести и воинских талантов тут не хватит.

— Возможно, этого достаточно, чтобы одолевая врага на поле боя, — вкрадчиво заметил Легкоступов, — но император ведет совсем иную войну — не ту, что ведет полководец. Он один воюет против всех, против целого мира, чей огонь на себя вызвал. Так, кажется, ты сегодня выразился? Император является тем, кто он есть потому, что всем остальным он не позволяет забыть о неизбежности смерти. Потому что их жизни — на уровне символического, если не реально — находятся в его руках. Глядя на него, люди вспоминают о смерти, их самодовольство лопаается, и они сдуваются до своей естественной величины. Это ужасно. Такое не прощают. — Петр, сделав через гостиную знак негру, получил бокал с уже опробованным вермутом. — Однако нечто должно олицетворять смерть и для императора. Нечто должно напоминать ему о том, что она всегда караулит рядом. Но император не должен ее бояться, ибо смерть для него — союзник. В каком смысле? Пожалуйста. Прошу прощения, но для примера я бы взял твой ларец с бородами и черепом. По-моему, это почти идеальное напоминание о смерти — не хуже сердечного приступа. Итак, император смотрит на твой ларец... Нет, он смотрит на *свой* ларец и вспоминает, что на свете нет силы, которая гарантировала бы ему еще хотя бы одну минуту жизни. Это миг исключительно ясного сознания. Эта мысль — самый лучший совет, который он может получить как император. Вы понимаете? Раз нет силы, способной наверное обеспечить ему следующую минуту жизни, то любое его дело может оказаться последним. Стало быть, он должен выполнить его безупречно — нельзя оставлять недовязанных узлов, то, что он делает сейчас, должно стать лучшим из всего, что он когда-либо совершал. Вы чувствуете эту пронзительную ноту? Все, отныне нет больших и маленьких решений, есть только поступки, которые он — император — должен совершить немедленно. И нет ни секунды на рефлексию — потому что смерть за углом, под этим столом, за тем креслом! Если он тратит время на сомнения и сожаления относительно того, что он сделал вчера, значит, он уклоняется от решений, которые должен принять сегодня. Но он не будет этого делать. Потому что он — император.

— Я, я, — головка от торпеды! — донесся от закуского стола голос Прохора.

— Златоуст! — упоенно зажмурился Феликс. — Златоуст, сущий златоуст!

— А почему, собственно, стремление каждое дело решать как последнее дело своей жизни есть исключительный удел императора? — спросил Чекаме.

Но ответить Петр уже не успел. События, вильнув в новое, в силу своей нелепости никем не предугаданное русло, заставили забыть о разговоре. Князь Кошкин продолжал расточать восторги, в то время как Некитаев медленно, с ленцой загасил в пепельнице папиросу, опустил руку в карман кителя, с самым будничным видом, как спички, извлек оттуда именной штучный скоропал и со словами: «Ну что же, пора сдуваться до естественной величины», — в упор — через стол — шарахнул в Феликса из вороненого ствола. Князь рухнул на пол вместе со стулом, перевернулся ничком, испустил сдавленный хрип, как-то странно, одной левой половиной тела вздрогнул и безжизненно замер, нескладно распластанный на вошеном паркете. Публика оцепенела. Заглянувшей было на шум горничной денщик невозмутимо объявил:

— Балуют господа. — И едва не прищемил ей нос створками.

— Как это понимать? — Чекаме из последних сил сохранял совершенно негодное для случая достоинство.

— А так! — мастерски рывкнул генерал. — У меня — не у Кондрашки, за столом не пернешь! — И указал дулом на Легкоступова: — Вот он растолкует.

Обмирая под взглядом Некитаева, чувствуя его свинец всем трепещущим естеством, Петр бессмысленно смотрел на неподвижное тело князя. Подспудно он сознавал, что сейчас, вот в этот именно момент, Иван его испытывает, экза-

менуется по той самой дисциплине, в которой Легкоступов пытался только что объявить себя докой. Он должен был решиться, должен был *посметь*... И он посмел.

— Феликс хотел использовать генерала,— подняв глаза, твердо пояснил Петр,— но вместо этого сам оказался дичью.

— Молодец,— одобрил Некитаев,— хорошо отвечаешь — четко. А вот болтовня ваша — дрянь. Я слышал, ты женился на Тане.— Теперь генерал обращался к товарищу по детским играм вполне доверительно, словно они в гостинной были одни.

— Да.— У Петра неудержимо задрожали колени.— Тринадцать лет назад. Безо всякого символизма.

— Я слышал, у вас есть сын.

— Да. Нестор. Ему тринадцать лет.

Некитаев как будто задумался. Тишина, повисшая в просторной комнате, показалась Легкоступову чрезмерной, нестерпимо зловещей — он не смог ее вынести.

— Как ты жил эти годы?

Генерал обернулся к дверям:

— Прощка, как мы жили эти годы?

— В нашей жизни было много кое-что,— поразмыслив, изрек денщик.

— Ясно? — Кажется, Иван остался доволен.— Две недели назад я получил эти погоны.— Он тронул свободной рукой правое плечо.— А вчера консулы подписали указ о моем назначении — генерал-губернатором Царьграда и командующим Фракийского военного округа одновременно.— Некитаев пристально посмотрел на Петра и куда-то дальше — взгляд беспрепятственно прошел навывлет, словно Петр по-прежнему оставался в четверг, а Иван смотрел уже из воскресенья.— Послезавтра я вылетаю. Ты отправишься со мной.

Когда генерал, скрывшись со своим безропотным дуваном в прихожей, победоносно громыхнул входной дверью, денщик торопливо, но с достоинством махнул стопку водки, привередливо выковырял со дна полной фарфоровой тарелки маринованный огурчик, вкусно хрустнул и осклабился.

— Не бздеть горохом,— успокоил он поддетую на фуфу публику,— генерал стрелял «цыганской» пулей.— И, уже направляясь вон, добавил: — Нашатырью ему дайте или свечой задутой окурите — он и отпрыгнет.

### *Третий ветер*

(за год до Воцарения)

Глядя в зеркало, Легкоступов ущипнул складку жира на животе и решил не завтракать. После вчерашнего ужина, где было все и гибель сколько — от царской ухи и печеного лебеда до угольной рыбы с бамбуковым соусом и трепангов,— решение это далось просто. Что и говорить — повар расстарался на славу. Особенно ужаснули Петрушу свиные глаза, приготовленные изощренным китайским способом — на раскаленной игле, благодаря чему глазная жидкость закипала прямо под собственной оболочкой, внутри мутнеющего яблока...

Итак, Некитаев стал консулом. Гесперия изъявила волю и отдала голоса тому, кто заставил себе поверить, хотя посулы претендентов были схожи, как речи над отверстой могилой. Как клятвы всех на свете женихальщиков.

Еще раз оглядев себя в зеркале, Петруша прислушался. С недавних пор в летнем доме Некитаева на Елагином стали происходить странные вещи — из зеркал время от времени слышались глухие голоса, словно кто-то шептался под одеялом, а в комнатах вечерами мелькали тусклые тени. Началось это после то-

го, как в дом зачастили всевозможные чернокнижники, ведуны и моги (странные люди, способные мочь, впервые описанные русским антропологом Александром Куприяновичем Секацким) — искусные операторы тонких миров, не загрузевшие в мире толстом. Затея с колдунами была совсем не случайна и далеко не безобидна. Петруша сумел убедить Ивана, что воссоздание царства сакральной иерархии со священным государем во главе требует от мира ритуального очищения в урагане низших стихий, бушующем на кромках эонов. Мир может обрести посвящение только через мистирию «бури равноденствий», как выразился бы сошедший в ад мэтр Террион, сиречь господин Зверь, получивший в Каире откровение чертяки Айваза. Для этого требовалось освободить хаос. Трбовалось вызвать из потусторонних сфер демонические силы, чтобы погрузить подлунную в вакханалию дикого ужаса и начисто стереть прежнюю матрицу мира, а такой труд сладить можно только с чернокнижной братией. Дело нешуточное — впустить на порог реальности тех, кто ходит невидимым между пространствами: открыть путь слепому безумцу Азатоту с толпой танцующих флейтистов, Симарглу, что царствует в недрах, звездному Хастуру, морскому господарю Ктулху и самому Дью, который знает дверь в мир, который и есть дверь, который ключ и страж двери... Покуда, правда, удалось немногое. Ко всему, в обычае этого дела были всякого рода неожиданности и курьезы. Особенно при совместной практике. Так из-за рассогласовки магических усилий на последнем сеансе по измышлению хаоса лопарский шаман по прозвищу Лемпо на глазах у всех покрылся вершковыми колючками, похожими на шипы боярышника, и в таком виде был отправлен в больницу под хирургический скальпель. Обошлось — выжил. С тех пор — дней пять уже — коллективных чародейств избегали, и в доме на Елагином появлялся лишь старый мोग Бадняк. Зато философический дневник Легкоступова пополнился соображением: «Нет, человеку нипочем не проникнуть в причинные связи Вселенной. Кто объяснит: отчего, когда колдун встает ногами на собственные ладони и выкатывает белки, у объекта его ворожбы начинают выпадать на голове волосы?»

В столовой уже стояли приборы. Легкоступов явился первым и озадаченно отметил, что стол сервирован на пятерых. Стало быть, кто-то из вчерашних гостей остался ночевать в доме. Но кто? Петруша не помнил, хоть потроши. Не успел он позвонить прислуге (колокольчик стоял посредине стола на серебряном блюде), как послышался звонкий перестук каблучков, и в дверях появилась Таня. Ее бедра туго обтягивала длинная юбка из чего-то зеленого и желтого, а между юбкой и кофтой-топиком виднелись два вершка золотого, как луковица, живота. «Анфея! Сушая Анфея!» — восхитился Легкоступов.

— Как спалось? — без приветствия осведомилась Таня. — Не беспокоили флейтисты Азатота?

— Отнюдь. — После душа Петр чувствовал себя вполне сносно, отчего, видимо, позволил себе дерзость: — Конечно, я знавал и лучшие ночи — они божественно пахли иланг-илангом. Кажется, я вновь слышу этот запах...

— Не думаешь ли ты, что из сочувствия к твоим воспоминаниям я поменяю духи?

— Боже упаси... — Легкоступов был готов продолжить эту самоедскую прю, но тут в столовую вошел Нестор.

Поцеловав мать в подставленную щеку, мальчик, прозванный в Царьграде Сапожком, обернулся к Петруше:

— Доброе утро, папа.

Легкоступов кратко кивнул и взялся за колокольчик.

— Вели подавать. Сейчас, поди, и остальные выйдут, — по-хозяйски указал он появившемуся дворецкому.

С нарочитой галантностью Петруша отодвинул для жены стул — для своей единственной и любимой жены, которая по-прежнему упоительно пахла яван-

ским иланг-илангом, но ему уже не принадлежала. Впрочем, Легкоступов почти научился давить в себе эти мысли.

— Ты напрасно иронизируешь над почтенными могами,— сказал Легкоступов, устраиваясь напротив Тани.— Как правило, подобные шпильки есть результат непонимания сути дела. А так как признать это неловко... Словом, в твоём случае ирония заменяет любопытство.

— Так утоли его,— подстерегла Петрушу Таня. Выходило, словно бы он сам напросился.

Подали заправленный сметаной латук, который предпочитал к завтраку еще египетский Сет, куриные крокеты и яйца с раковыми шейками. Легкоступов поразмыслил и тряхнул головой — там что-то брякнуло, свидетельствуя о непорядке. Сделав на этом основании верный вывод, Петр попросил себе сухого вина.

— Что ж, изволь,— согласился Петруша.— Искусство всякого колдуна в основе своей — это искусство общения с магическими предметами или общения с кем-то и чем-то через магический предмет, что одно и то же. Архетип их взаимоотношений — сказка о волшебной лампе Аладдина. Помнишь? Джинн сидит в лампе. Джинн — не раб человека. Он — раб лампы. Но он служит тому, кто владеет лампой. Вернее — тому, кто знает, как надо ее поскрести.

— Потереть,— сказал Нестор сквозь непрожеванный крокет.

— Что? Ну да, потереть.— Легкоступов вожделенно отпил из бокала.— В сущности, любая вещь есть магический предмет, потому что каждая вещь имеет своего джинна. Главное — уметь его вызвать. Можно, конечно, делить их по степеням могущества... но это уже нюансы.

— Весьма наглядно,— похвалила Таня.

— Проблема вещи и ее джинна — это все та же проблема физики и метафизики. Вот простой пример. У человека есть четыре глаза: два — физических, устроенных так-то и так-то, из такого-то вещества, и два — метафизических, которые видят.— Произнеся это, Легкоступов ощутил действие вина и захотел простить всех, на кого был зол, но тут же передумал.— Собственно, и самого человека — два. Один — тот, что на девяносто процентов составлен из воды плюс аминокислоты, кальций и прочее железо. А другой — тот, что страдает, мыслит и любит.— Петр вздохнул, не думая о том, что это будет как-то оценено.— Запомни, золотко: чувствует, живет, в человеке метафизика, и не ее беда, что она запутана в сплошную мускульную, костную и кровосочную физику. Она бесконечно вопиет. Она — раб тела. Она — огонь, заложенный в вещи.— Легкоступов подцепил вилкой яйцо с раковой шейкой, поднял бокал и улыбнулся, предвкушая. Фея Ван Цзыдэн внимательно слушала.— То же и с алхимией — ведь приготовление золота или отыскание жизненного эликсира были внешними, публично заявленными задачами. Но, когда алхимик говорил о золоте, он подразумевал именно огонь золота, огонь вещи, а говоря об эликсире, имел в виду бессмертие этого огня — того, что в вещи *живет* и *чувствует*. Об этом я лично читал в дневниках Отто Пайкеля — алхимика и саксонского генерала.— Петруша удовлетворенно прожевал пищу.— То, что *живет* и *чувствует*,— это и есть тинктура, панацея. По Альберту Великому, металлы состоят из мышьяка, серы и воды, по Вилланованусу и Луллу — из ртути и серы в разных пропорциях, а по Геберу — опять же еще из мышьяка...

— Это не так,— сказал Нестор, и в углах его губ вскипела белая пена.— Они состоят из металлической решетки.

Петр без чувства посмотрел на недоросля.

— Какой только ереси нынче не учат — право слово, срамно слушать. Разумеется, сера и ртуть алхимиков не соответствуют тому, что понимается теперь под этими словами, а имеют скорее отвлеченный смысл. Ртуть представлялась воплощением металлических свойств, а сера олицетворяла изменчивость метал-



ла под действием температуры. Для превращения металлов алхимикам необходимы были медикаменты-тинктуры тройкого рода — первые два рода лишь приближали неблагородные металлы к благородным, и только медикамент третьего порядка, *magisterium*, чудодейственный философский камень, мог вполне разрешить задачу. Одна часть этого волшебного средства способна была обратиться в золото в миллион раз большее количество металла! Тинктура третьего рода была чистой душой золота, лишенной пут всякой физики! Понимаешь, о чем я?

— Обо мне, — кивнула Таня. — И немного о золоте.

Легкоступов фыркнул.

— Алхимия, по сути, исследовала мистическую металлургию, изучала джиннов металлов — то есть те процессы, которым, по нынешним понятиям, природа позволяет проистекать лишь в живых организмах. Метаморфоз металлов представлялся сродни метаморфозу насекомых. — Петр снова сокрушенно вздохнул. — Глубочайшая наука о жизни скрывалась под их теориями и символами... Но столь грандиозные идеи неизменно ломают узкие черепа. Не все алхимики были гениями — жадность привлекла сюда искателей золота, чуждых всякому мистицизму. Они понимали все буквально — из этой-то кухни вульгарных шарлатанов и вышла нынешняя химия.

— А какое отношение это имеет к сборищам колдунов и могов, которые вы тут устраиваете?

— Прямое. Физика, как известно, — тело порядка. Но если освободить огонь вещей, если выпустить на волю джинна и истребить его лампу, мир захлестнет хаос. Он сметет границы человеческих представлений, сокрушит знание о возможном и разнесет в пух декорации изолгавшейся земли. А потом — дело за малым. Останется заключить освободившийся огонь в новую — с молоточка — форму, слепить для джинна новый горшок — вот и получится преобразенный мир, мир былой сакральной иерархии.

— И что, все станут счастливы?

Петруша издал неопределенный звук — не то прочистил горло, не то крикнул от удовольствия.

— Нет, не станут. — Еще один глоток вина. — Русский ученый Георгий Гурджиев описал закон конечности знания. Того самого, который не гранит науки, а приблизительно нижняя шехина — стекший во тьму божественный свет. Знание это исчислимо, оно дано земле в ограниченном объеме — стало быть, его будет много, но у избранных, либо мало, но у всех. Если, конечно, всем приспичит его собирать. Какое тут счастье?

— Тогда зачем лепить новый мир? — непритворно удивилась Таня.

— «Ветер дует затем, чтоб приводить корабли к пристани дальней и чтоб песком засыпать караваны», — продекламировал Легкоступов.

Тут в дверях столовой появились Некитаев и князь Кошкин.

Иван с Кошкиным выглядели свежо — как выяснилось, они уже успели сыграть партию в городки. Некитаев сел за стол и, осмотрев закуски, почтил взглядом гостей — глаза его струили такой испепеляющий холод, будто сквозь них смотрел ледяной ад Иблиса. Легкоступов со злорадством понял, что в городки Иван проиграл и теперь Феликсу несдобровать. А заодно достанется и прочим.

— Что не весел, нос повесил? — для порядка сбалагурил Петруша, не сразу смекнув, что нарывается.

— Сегодня ночью мне приснился смысл жизни, а утром я не смог вспомнить, в чем он состоит. — Слова Ивана текли медленно, словно мед по стеклу. — Кстати, забыл вчера тебе сказать. Здешний губернатор решил меня развлечь и устроил экскурсию по запасникам Кунсткамеры. Знаешь, что я там увидел, кроме идола Бафомет, которому поклонялись тамплиеры? — Некитаев выдержал опустошающую паузу. — Между мумией тамбовского крестьянина с бараньими рогами и зафармалиненной головой Джи-ламы помещен твой отец.

Петра прошиб холодный пот.

— Экспонат номер четыре тысячи шестнадцать, «человек-дерево»,— уточнил Некитаев.— Впервые увидел его без рубашки со «стоечкой». К тому же у него отпилена нога, а на культе видны годовые кольца — ровно семьдесят шесть.

Легкоступов побагровел. Новость была ужасна, но еще ужаснее показалось то, что оглашена она при постороннем Кошкине. Это был тычок ниже пояса.

Генерал встал и подошел к окну. Снаружи желтела тихая осень, такая прозрачная, что два человека, один из которых оставался в лете, а другой почему-то оказался в зиме, могли сквозь нее, как сквозь стекло, махнуть друг другу руками.

— Не бери в голову,— сказал Некитаев и махнул кому-то рукой из осени.— Как вступлю в должность, я тебе его добуду. Закопаешь по-человечески.

— О чем это вы? — позабыл о тарелке Феликс.

— О чем? — Генерал обернулся к столу.— Когда-то Луций в римском сенате предлагал использовать при казни распятием веревки вместо гвоздей, ибо, привязывая преступника, наказываешь преступника, а приколачивая его, наказываешь и крест.— Иван улыбнулся — такой улыбкой, точно она просто пристегивалась к лицу и не предполагала внутренней смены чувства.— Так вот, господа, я пользуюсь гвоздями.

### *Перед потопом*

(за полгода до Воцарения)

— Вы подумали?

— Подумали.

— И что?

— Теперь надо обмозговать.

Легкоступов отошел к окну.

Снаружи смеркалось. Московский двор с черными гидрами деревьев кое-как освещал фонарь, заряженный бледно-сиреневым мерцанием. Порывисто дул ветер и срывал с облаков снег. Матери звали детей домой. Дети прикидывались глухими. Жизнь за стеклом была рубленой. Как щепка. Как фраза.

Петр стоял у окна и чувствовал, что мир, вроде бы оставаясь прежним, уже несет в себе зияющую брешь. Пока — предательски неощутимую. Но дьявол вот-вот подцепит скорлупку когтем, ковырнет, приложится губищами и всосет Божье яйцо... Петр чувствовал: непостижимый дух греха днем и ночью бродит по улицам городов и жаждет воплощения. Сны Гекаты, ее чудовищные Псы, незримо толпятся на пороге реальности. Страшная тень парит над миром, но никто не видит ее. То и дело она овладевает какой-то человеческой душой, ничуть не вызвав подозрений у окружающих, и, прежде чем те успеют опомниться, тень исчезает, развоплощается, истекает из формы. А людям остаются лишь известия об ужасных событиях, перечень омерзительных дел...

Впрочем, возможно, Легкоступов просто поддался чарам собственного воображения и никакой брешки в действительности нет. Это не чутье — просто разум поверил в порождение фантазии, приняв ее за предчувствие. Разве можно в чем-либо убедить всех и притом не увериться самому?

Петр отвернулся от окна и посмотрел на двух весьма нужных ему сейчас людишек, которые молча сидели за столом над распечаткой сочиненных им тезисов. Один был тем самым московским шелкопером, угодившим в гостиную князя Кошкина аккуратно на представление с «цыганской» пулей. Другой отли-

чался своими зубами — они росли у него в разные стороны, как колючки у ежа. При этом второй был хозяином двух частных телеканалов, а щелкопер стараниями Легкоступова — с недавних пор управляющего консульской администрации — стал на днях главным редактором крупнейшей московской газеты.

Над столом выделявала петли золотая моль.

— Ну что, обмозговали? — спросил Петруша.

— Обмозговали, — сказал кривозубый.

— И что?

— Попробуем. — Кривозубый понимающе улыбнулся. — На кого будет гон?

— Рано, — отрезал Легкоступов. — Сейчас важно сгустить атмосферу, насытить раствор. Тогда на любой чепухе кристалл созреет.

Забрав распечатки, господа откланялись. Петр взял со стола третий экземпляр тезисов и пробежал его глазами:

*1. Предчувствие наступающей тьмы, ощущение серного дыхания преисподней — вот самое сильное душевное переживание наших дней. Старые штампы, помогавшие спокойно жить прежде, теперь истерты или разбиты. Религиозные и общественные мифы, поддерживавшие народы еще вчера, либо набили оскомину, либо опорочены и посрамлены. Недаром одним из самых употребляемых терминов современной публицистики стал термин «хаос», и неспроста новые философские формулы определяют общество как «спонтанную виталистскую толпу», а историю как «движение плюс неопределенность».*

*2. Что стоит за понятием «хаос»? Мода? Смутная фантазия о непроглядном будущем? Безразличие разума, нарекающего иррациональным всего лишь неосмысленную рациональность? Не то, не другое, не третье. Мы видим здесь нечто более глубокое — то, что можно было бы справедливо назвать знаком времени. С понятием «хаос» сопряжено важнейшее устремление современного мира, вернее — завершение этого устремления, его окончательное исполнение. Мы присутствуем не просто при вскрытии, обнаружении хаоса, не замечаемого прежде, но всегда копошившегося по соседству, а при начале его деятельного наступления. Хаос спал под покровом рассудка, пока не пробил час, когда ему пришла пора пробудиться. А раз так, то пришла пора и человеку постичь хаос. Но при этом он должен принципиально отказаться от рассудочных моделей, которые прежде служили ему основным инструментом постижения мира. Иначе человек не выстоит. Он погибнет или станет рабом Господина Хаоса.*

*3. Психика человека проявляется в двух формах деятельности. Первая — целесообразная — связана с рассудком, бодрствующим сознанием, с расчетом и анализом. Вторая — безрассудная — связана с эмоциями, интуицией, сновидениями и предчувствиями. Хаос начинается с того, что, по сути, приглашает нас к сновидению, к погружению сознания в мир грез, к отречению от труда над разумом с целью сделать его еще более разумным (кокаин, псилоцибин, пейот, триптаминосодержащие составы и др. психodelики).*

*4. Сегодня рассудочный подход к миру повсеместно сменяется его мифологизацией. На пьедестал, прежде занятый «идеями», взошел «образ», что проявляется в наши дни не только в культуре, но также в политике и экономике (роль рекламы в сфере производства и коммерции). Банальный пылесос, рекламируемый красоткой, представляется так, будто, помимо известных технических характеристик, он обладает и некими эротическими свойствами. Постоянными сюжетами теле- и кинопродукции становятся теперь альковные грезы, фантастические фигуры и персонажи ночных кошмаров. Так, хаос не только проявляет себя, но и расширяет свое влияние, прививая вкус к смещен-*

ной реальности, размывая привычные представления о возможном и невозможном, о действительном и воображаемом, о доступном и запретном.

5. Во всем этом, безусловно, есть и свое мистическое измерение. (Примечание: уместно привлечение к работе оккультистов и пессимистически настроенных астрологов.) Два тысячелетия назад зону Исиды пришел на смену зон Осириса. Теперь же наступает новый зон — зон Гора, который отменяет закон предыдущей цивилизации и устанавливает новый порядок сущего. Но на границах эонов есть особые периоды когда торжествуют не старые или новые законы, а силы ужаса, разрушения, беспорядка — силы хаоса. Рубится и корчуеться закон леса, потом огонь пожирает подсеку, чтобы расчистилось место для закона нивы.

6. Мы стоим вплотную к приходу в мир демонов ада. Поток темного хаоса отнюдь не укрощены либеральным утопическим обществом. «Богиня Разума» времен Французской революции обернулась вульгарной и рептильной «мисс очарование». «Чистый разум», «человеческий разум», оторвавшийся от связей со Сверхразумным, с «Первым Умом» по выражению православного канона, превративший себя в идола, в «богиню», и стал причиной финального мрака человечества. Если рассудочная, «трезвая» часть тех явных и тайных институтов, которые еще ведают ходом цивилизации зона Осириса, окажется низвергнутой сторонниками слепых богов хаоса (примечание: поименно сторонников пока не называть), это будет логично и справедливо. Чисто человеческий разум и чисто человеческое безумие являются не столько противоположными, сколько дополняющими друг друга вещами. Безумие будет воздаянием тому, кто поверил во всемогущество человеческого разума. Темная материя восстанет на того, кто наивно считал себя ее покорителем. Атеиста удушит демонопоклонник, а скептика растерзают бесы.

7. Грядущее время ужаса и торжества хаоса вполне соответствует пророчеству Апокалипсиса с той разницей, что он все же не станет концом мира, а явится своего рода очищающим эсхатологическим промежутком, после которого последует мистическое преображение реальности. Вспомните великого провидца Владимира Соловьева: «Всемирная гармония означает вовсе не утилитарное благоденствие людей на теперешней земле, а именно начало той новой земли, в которой правда живет. И наступление этой всемирной гармонии или торжествующей Церкви произойдет вовсе не путем мирного прогресса, а в муках и болезнях нового рождения, как это описывается в Апокалипсисе. И только потом, за этими болезнями и муками, торжество и слава, и радость». (Примечание: к месту будет упоминание любых радетелей о едином стаде и едином пастыре от Афанасия Великого, отца православия, до Константина Леонтьева и Иоанна Кронштадтского — чаяния их не напрасны, сбываются наяву пророчества Откровения: «И видех небо ново и землю нову...») Поэтому русское, традиционно эсхатологическое сознание, а также сознание любого человека, осмелившегося постичь хаос, помимо страха, ощущает и нечто радостное в приближении Господина Хаоса. Ведь он, как истинный Антихрист, есть искаженное отражение Христа у скончания времен. Но и сам Христос явился в свой час отражением безгрешного и совершенного первочеловека Адама.

8. Ужас сновидения наяву, который теперь захлестывает мир, в конечном счете не больше чем расплата за утрату человечеством сакрального знания. Потеряв сакральное в его светлом, спасительном виде, люди столкнулись с его темной, карающей стороной. Пришествие хаоса в последние времена — часть предначертанного сценария вселенского цикла, цикла человеческой истории. Страшные волны сметут ветхий, отпавший от Бога мир, как волны потопа стерли с лица земли давних безверцев, глухих к словам патриарха Ноя, чтобы на очищенной земле проросли и воссияли всходы нового, одухотворенного царства.

*Краткий итог изложенного:*

— кризис современного мира необратим;

— хаос будет его последним словом;

— Господин Хаоса уже здесь, но истинный свой лик он пока скрывает;

— страшная мистерия хаоса обнаружит и проявит иной полюс, противостоящий как «богине Разума», так и «богам Безумия», — сакральный полюс Вечности;

— те, кто решился постичь хаос, кто имеет силы, волю и мужество противостоять как разуму, трепещущему перед потопом, так и безумию, заклинающему: «После насхоть потоп!» — дерзко и радостно заявляют миру: «После потопа — мы!»

Этот немного путанный текст был чем-то вроде установки на формирование общественного мнения. Некой генеральной линией, позволявшей журналистской шайке вольничать в деталях, однако определенно указующей на сверхзадачу. Сумбурность изложения, впрочем, была заранее предусмотренной — Петр испытывал даже определенные затруднения, пытаясь объясняться туманно. По мнению Легкоступова, ясно высказанная мысль не давала предощущения катастрофы. Растолкованная мистерия делалась будничным зрелищем — из нее уходило чудо. Приведенные тезисы удались пусть не на «отлично», но на твердое «хорошо». Самооценка Петруши подкреплялась строгим убеждением, что самое главное в тексте — это то, что не может быть выражено иначе, кроме как самим текстом. Иначе говоря — главное то, что нельзя пересказать и экранизировать, то, что позволяет тексту оставаться и быть неизменно востребованным. Разумеется, соображения эти в первую очередь относились к проблеме художественного в письме, но изящная натура заставляла Петра судить такой мерой любое сочинение.

Легкоступов вставил сигарету в янтарный мундштук и закурил. Полтора года назад он был лишь занятой фигурой в среде питерской богемы. Разумеется, при этом он оставался самим собой, но вместе с тем всего-навсего одним из тех шалунов, кто усердно творил себе легенду вместо биографии. Помнится, в Университете, куда его пригласили на кафедру философии в качестве приват-доцента, лекцию по семинарской теме «Вселенная шамана» Петр начал так: «Для исследования шаманского мироздания я использовал следующий метод: на самом пике переживаний, вызванных кокаином, я курил диметилтриптами́н. Так я поступал каждый раз, когда нюхал кокаин, а делал я это не так уж редко. Подобный метод позволял дольше задерживаться в триптаминовом измерении. Однажды мне вздумалось провести очередной эксперимент. Я собрался принять кокаин в ночь солнцестояния, а потом до утра просидеть на крыше, покуривая гашиш и любуясь звездами...» Не слезая с той крыши, он лекцию и закончил, попутно затронув магическую связь на расстоянии, которая для шаманов — плевое дело. Студенты слушали с озорным вниманием и даже что-то конспектировали. Прекрасное, легкое время. Он играл в свои игры и безмятежные мгновения жизни не пугали его, как предвестники скорых и печальных перемен. Незримо зреющее грядущее представлялось только декорацией для новой беспечной постановки. Что изменилось? Ведь он и теперь играл. Только из игры ушла беспечность и непомерно возросли ставки.

Петр зримо представил консула от Востока — Гаврилу Брылина, потомка старого боярского рода, нынче умело рядившегося под либерала и уже не один год заседавшего в левом крыле Думы, где его за дипломатическое проворство окрестили «Сухим Рыбаком». Брылин был альбинос. Бесцветные ресницы и брови вкупе с широкой лысиной делали его лицо настолько голым, что его хотелось прикрыть. Не так как срам, а как сыр в сырнице — чтоб не высох. Бадняк, ставший за прошедший год заметно моложе, рассказывал, что Сухой Рыбак владеет секретом приготовления аяхуаски — напитка жрецов солнечного куль-

та инков. Отведав аяхуаски, человек изблевывал стеклянистую жидкость, искрящийся тягучий хрусталь, на чьей поверхности можно было увидеть как прошлое, так и близкое будущее. А тот, кто знает будущее хотя бы на десять минут вперед (именно так — ведь из дальнего будущего трудно извлечь выгоду), имеет перед остальными огромное преимущество. При желании консул мог обратить эту пузырящуюся слизь в шаровую молнию и поразить ею любого, если только соперник не владел навыком свиста, отбирающего у огня силу. Но Легкоступов знал: Бадняк — великий мог, способный по прихоти совершать повороты и жить в обратную сторону — к детству, так что, случись беда, он закроет Ивана, а значит, и его, Петра, от любых чар. И это вся помощь, какую можно от него ждать. А жаль. Еще Легкоступов знал, что некая дремучая воля, которая непомерно сильнее мога и непомерно его старше, не позволит ему открыто принять чью-либо сторону. Снова жаль. Легкоступов должен сам обыграть Брылина. И по всему выходит, что в этой игре прольется много крови.

Гаврила Брылин был давним сторонником сближения России с Европой и Североамериканскими Штатами, уже испускавшими ядовитый inferнальный душок, подслащенный парфюмом и кленовым сиропом,— смерть всегда душиется приторными духами, с ее приходом в доме пахнет халвой. Сейчас Сухой Рыбак выступал поборником рациональности и торжества человеческого разума. Но если сдернуть мишуру с засасывающих врат адových, консула от Востока легко представить слугою Господина Хаоса, слепым флейтистом из чудовищной свиты Азатота, а то и самим Гогом. Подходит все, ибо сметутся и разум, и безумие. И тогда — раскол в умах. Тогда распознаются «свои» и «чужие». Тогда, если не удастся Некитаеву узурпировать власть без крови,— переворот, война, смута. Тогда — потоп, и после потопа — *мы*. Вот только... Иван не может враждовать по уму, не может ненавидеть по рассудку. Выходит, надо сделать Брылина врагом его сердца. Петруша знал, как этого добиться.

В воротах под Никольской башней стоял косматый черный пес, припорошенный хлопьями снега,— бесхозная московская дворняга. Шофер дал короткий гудок, и пес, нехотя посторонившись, пропустил машину.

— Кербер! Итит его...— хохотнул шофер и косо глянул на Легкоступова.— Царство теней!

Кремлевский дворец был так огромен, что ветер, однажды залетев в него, годами метался по коридорам и залам, не в силах отыскать выход, и постепенно превращался в домашнего зверька, озорующего с оглядкой и по позволению. Сейчас он едва осмеливался шевелить бахрому гардин да тереться прозрачной шкуркой о брюки снующих чиновников. Благо крапивного этого семени тут было довольно.

В кабинете консула Легкоступов застал Таню, которая вынимала из глаза Некитаева языком соринку. Зрелище было занятное и немного стыдное, словно в примерочной забыли задернуть шторку.

— Садись.— Иван указал перстом на стул.— Рассказывай.

— Со дня на день Москва заговорит иначе,— сказал Петруша.— Здешние нарциссы чернильного ручья любят себя здоровыми и сытыми, значит, встанут на сторону силы. Это хорошо. Но по своей желудочно-кишечной природе они лишены идеалов. Это плохо. Согласись, союз без идеалов — вещь хлипкая.

— Как знать,— не согласился Некитаев. Таня по-прежнему колдовала над его запрокинутым лицом, не то замысловато казня, не то причудливо лаская.— Союз может держаться на выгоде, страхе или любви. Если хочешь строить его на любви, помни: люди не так боятся обидеть того, кто внушает им любовь, как того, кто внушает им страх. Люди дурны и могут пренебречь идеалами ради выгоды, но пренебречь страхом, начхать на угрозу кнута охотников мало.

— Допустим. На досуге перечту «Князя». Или это из «Рассуждений на первую декаду Тита Ливия»?

— Не дерзи.

— А вот новости из Петербурга.— Легкоступов раскрыл на коленях кожаную папку.— Не подумай, что я мельчу,— предупредил он,— как известно, маленькая рыбка лучше большого таракана. И так, в последнем номере «Аргус-павлина» опубликованы изыскания «Коллегии Престолов»: Тема: «Диктатура благоденствия». Абсолютное попадание — отклики во всей петербургской прессе. Не поверишь — в полемике появилась страстность, достойная этого слова. Думаю, следует помочь Чекаме в организации подписной кампании — у журнала есть все основания стать по своему направлению ведущим в России. К тому же гарантированная подписка позволит Чекаме в дальнейшем без нашей помощи решать денежные вопросы.

Фея Ван Цзыдэн, сняв пальчиком с языка выловленную соринку, спрятала розовое жало.

— Что касается телевидения: Годовалов получил эфирное время на цикл передач «Священный государь», — продолжил Легкоступов, но Иван, моргая покрасневшим глазом, перебил его:

— А что, Годовалов по природе своей с идеалами?

— Конформист, однако — талант. Послушай только, как он, сторонник самостоятельности каждой лесной опушки, костит теперь либералов. А речь-то всего о вернисаже...— Петр вынул из папки газетную вырезку и, найдя глазами место, прочитал: — «Мало сказать, что выставка является естественным отражением того, о чем речь — то есть демонстрацией стилевого оформления жизни,— она еще повествует о некотором умонастроении, сумевшем найти себе и стиль, и художественное выражение. Я имею в виду умонастроение, вожделеющее диктатуры Героя. Вся выставка по большому счету есть отменно изложенная история этого Героя, напоминаящего нам своеобразную версию тайного имама шиитов или версию былинного священного государя. Какой-нибудь различинец-демократ, ходячий памятник несбывшейся кухонной цивилизации, усмотрит здесь угрозу своим человеческим правам и совершенно не вспомнит о том, что какой демос — такая и кратия, и это его, демоса, право желать воцарения Героя. Впрочем, пугливость нынешних ревнителей свобод, равно как и трепет перед однобоко понимаемой ими культурой, происходит от странного тумана, клубящегося в пространстве их рассудка. Иначе отчего бы им упрямо путать цивилизацию с техническим прогрессом и восторженно называть цивилизованной желторотую Австралию, а в многотысячелетнем Китае, тысячелетней России или, скажем, Персии не видеть ничего, помимо дикости».— Легкоступов значительно посмотрел на Ивана, но ничего в лице его не увидел.— Кроме того, Годовалов привык жить в свое удовольствие и, само собой, хочет, чтобы ему — лично ему — это было гарантировано впредь. К тому же тщеславен. Полагает, что не до конца востребован. Но чувствует: теперь подвернулся редкий случай обронзоветь. Думаю, он не захочет его упустить.— Петруша не смог сдержать предательский зевок.

— И все-таки ты мельчишь,— перебил Петра Некитаев.

— Мало-помалу птаха гнездо свивает.

Иван посмотрел на Петрушу взглядом, сулившим в лучшем случае отрезанное ухо.

— А кто по своей природе ты?

Легкоступов встал, подошел к ближайшей ундине в раме и слепо на нее уставился. Вместо лица художник пожаловал ундине костистую щучью морду.

— Во мне древесное начало,— грустно сказал Петр.— Здесь мы с тобой не схожи. И все-таки... Символика древа и рыбы общеизвестна, хотя и на удивление противоречива: рыба одновременно и принятый первохристианами символ Спаса, и эротический символ, а мировое древо, связующее землю с небесами, запросто может обернуться дриадой и промокнуть при виде козлоногого фавна. В геральдической традиции древо почти равноценно ручью и знаменует завоевание на земле великих ценностей...

— Оставь,— прервал Иван Петрушины упражнения.— Я и так знаю, что язык твой попадет в рай, а сам ты сойдешь в ад.— И с леденящим холодком добавил: — Ступай. Я тобой недоволен. Из всей этой дряни не сложить путного дела.— Некитаев подошел к Петру и спокойным, не лишенным зловещего изящества движением разбил локтем стекло на ундине с щучьей мордой.

Покусывая губы, Легкоступов вышел за дверь. В приемной, застеленной бордовым ковром, из-за секретарского стола ему улыбнулся Прохор — зубы во рту ординарца сидели плотно, как зерна в кукурузном початке. Петр кисло поморщился:

— Каждое утро я обнаруживаю себя в странном положении — я живой. Потомки не поймут этого: мы станем историей, а история похожа на раковину, в которой нет моллюска,— там живет только эхо.

— Кто-то должен сиять, а кто-то разгребать в нужниках говно,— согласился Прохор.

— Ты прав. История в конце концов — это то, что ты хочешь.

В коридоре Легкоступова догнала Таня.

— Не бери в голову.— Она тронула Петрушу за руку.— Извини его. Ты все делаешь верно. Просто Ваня сегодня ворошил дрова в камине, а тут в глаз ему стрельнул уголь. Конечно, он зол — ведь он не может отомстить огню так, как огонь того заслуживает.

— Передай своему солдафону, что, коли он взялся штудировать Макиавелли, пусть помнит: людей надо либо ценить, либо уничтожать. За малое зло человек может отплатить, а за большое отплатчик уже не сыщется. И обиду следует рассчитывать толково, чтобы потом не бояться мести.— Петр остановился и посмотрел в стальные глаза китайчатой девы.— Скажи, ты любишь его?

— Пожалуй.

— И ты желаешь ему величия?

— Я желаю ему блага. А для Вани это одно и то же.

— Тогда ты должна помочь ему решиться. Ты должна помочь ему совершить деяние.

— Каким образом?

— Соблазни Гаврилу Брылина.

Некоторое время Таня смотрела на управителя консульской администрации и своего формального поныне мужа с любопытством. Убедившись, что он не шутит, она бесстрастно заметила:

— Если я скажу о твоём предложении Ване, он убьет тебя.

— Когда-нибудь он все равно меня убьет.

— Скажи, а нельзя постараться, чтобы Сухой Рыбак обидел Ваню как-нибудь иначе?

— Можно. Но тогда что-нибудь случится с Нестором, или в озеро, где живет чудесная уклейка, по распоряжению Брылина выльется цистерна мазута. А ведь уклейка — это его мать.

— Это еще и моя мать.

— Вот видишь,— улыбнулся Легкоступов,— я предлагаю самый человеческий выход.

### *Путем рыбьего жира*

(год Воцарения)

Некитаев не обманул. На третий день после вступления Ивана в должность Петруша забрал из Кунсткамеры своего деревянного отца, которого в пору было ставить идолищем в капище дремучего лесного народа. В закрытом фургоне



Петр перевез останки родителя в Порхов, где их заколотили в гроб и без огласки схоронили на кладбище, рядом с облысевшей Петрушиной матерью. Случилось это под конец августа, а в сентябре из могилы, словно в землю положили не гроб, а чудесное семечко, пробился небывалый ясень, за неделю поднявшийся на пять сажен. Из земли он вышел с багряными листьями, и поговаривали, будто ночами ясень бродит по кладбищу, стонет и ищет жертву, но с рассветом вновь вырастает на прежнее место. В ряду прочих преданий порховских жителей в прошлые времена, чтобы отогреть душу, носивших зимой за пазухой дым, а летом живших на своих полях в гнездах, как жаворонки, и распугивающих кабанов бубенцами, этот слух был не из самых несусветных. По такому случаю Петруша записал в своей философической тетради: «Чтобы понять людей, нужно вообразить то, на что способно их воображение...» И добавил, подумав: «Валентин, александрийский гностик, учил, что мир есть сгусток страстей заблудшей Софии, сотворившей вселенную из собственных страданий. Сгущение страстей в материю — разве это не то, чем мы заняты, и разве это не внушает ужас?»

Консул Некитаев жил в согласии со своей судьбой и потому, наверно, хорошо усвоил науку власти, почерпнув ее в своем сердце, Петрушиных рацеях и наставлениях смерти, которую и без чужой подсказки издавна выбрал себе в советчики. Он не боялся войны, ибо знал, что в действительности нельзя избежать ни одной битвы, можно лишь оттянуть ее к выгоде соперника — ведь промедление способно обернуться чем угодно, и время, словно вода, приносит с собой как прохладу, так и холеру. Он знал, что несоответствие между правдой воображаемой и реальной, между тем, как люди живут и как они должны бы жить, столь велико, что тот, кто отвергает явное ради должного, действует себе на погибель. Он знал, что нрав людей непостоянен, что их отпугивает опасность и влечет к жизни, и если обратиться к их вере речами легко, то удержать в ней трудно, а посему надо всегда быть начеку, и когда вера в народе иссякнет, следует без колебаний заставить его поверить силой. Он знал, что любят правителя по собственному усмотрению, а боятся — по усмотрению правителя, и в таком случае всегда будет верней рассчитывать на то, что зависит лишь от тебя самого. Он знал также, что попытка искоренить льстецов может дорого стоить искоренителю, ибо нет иного способа оградить себя от лести, кроме как показать людям, что, вздумай они высказать тебе правду, за это им ничего не будет — но раз каждый сможет говорить тебе правду, откуда в людях возьмется почтение? И, наконец, он знал, что все эти сведения ничтожны, если для начала он не сумеет взнудать удачу — норовистую кобылицу, которая покорствуется не осмотрительным, а дерзким.

В глазах народа Некитаев был истинный солдат, неприхотливый в еде, чуждый роскоши и всегда принимающий бесповоротные решения. Еще люди считали, будто уши его слышат, как настоящее проваливается в щель между *еще не было* и *уже нет*, а глаза видят сразу и лицо, и изнанку, так что его никогда нельзя ни обмануть, ни ввести в заблуждение.

Как только ушей Ивана достигли слухи о домогательстве Брылина феи Ван Цзыдэн, он впал в угрюмую ярость. Не ведая о том, что Легкоступов как автор этой интриги лично редактирует все толки на ее счет, Некитаев велел Петруше произвести негласное дознание, при необходимости привлекая к делу какие угодно службы, и либо представить доказательства вины, либо отыскать злонамеренного клеветника. В конце концов Таня для всех по сю пору оставалась женой Легкоступова.

Разумеется, ничего лучшего Петруша не мог и желать. Через четыре дня на стол генерала Некитаева легла папка с отчетами сыскарей и материалами фотослежения.

Ничего, казалось бы, бесспорно предосудительного в поданных материалах не было, и тем не менее...

— Хочешь, я вызову его на дуэль? — пошутил Петруша. — С шести шагов мы будем драться на шаровых молниях.

— Это не твое дело. — Иван был не расположен к шутке. — Это мое дело. Он посмел решиться. Он отважился *возомнить*. Вполне достаточно, чтобы раздавить аспида...

Бегство Гаврилы Брылина было поспешным и унижительным: первый раз в жизни ему пришлось ехать в вагоне второго класса — там проводнику до него было меньше дела. Всю дорогу, почти двое суток, пролежал Сухой Рыбак на верхней полке, одетый, как смерд, в дорожные физкультурные шаровары и погруженный в раздумья о том, что уже свершилось, но для всей страны оставалось пока неизвестным. Когда Некитаев с телеэкранов обвинил сопровителя в государственной измене, Брылин был уже в Варшаве.

Он укрылся в британском представительстве и, пока Лондон решал, как поступить, чтобы извлечь из этого обстоятельства наиболее выгодную выгоду, одно за другим сочинял воззвания к соотечественникам и послания главам европейских держав.

В империи меж тем уже бушевали страсти: кругом рыскали жандармы в поисках высокопоставленного крамольника и душепродавца, злоторные письма которого успела опубликовать либеральная пресса (публичную тяжбу Ивана и Брылина острословы окрестили «перепиской Грозного с Курбским»), домохозяйки, вместо того чтобы изодраться в постной стряпне и копить на Пасху луковую шелуху, скупали по лавкам крупу, соль, чай и спички, а в некоторых губерниях смятение умов дошло до того, что ночами там перестали зажигать уличные фонари. Было ясно — черная тень хаоса прошла через душу империи. («Когда судьба желает возвеличить любимца, — заметил на это Петруша, — она посылает ему врагов. Чтобы он одолел их и воспарил еще выше». «Теперь, — не в тон ему скажут Иван, — и нам, и вам, штафиркам, будет не до скуки». «Только не побей их всех — оставь на развод, — посоветовал Легкоступов. — Империя всегда стремится расширить свои границы, но совсем без границ она жить не может. Как только империя воплотит идею всемирности, она перестанет существовать. Она просто потеряет всякий смысл — ведь в ее реальном времени не останется ничего героического». «Не учи дедушку кашлять».)

Грязная каша мартовского снега на Васильевском спуске была разметена дворниками, а вороная брусчатка густо присыпана соломой. Непривычно пахло овином. Арестанты, думские соратники Брылина, были не просто мертвы — тела их были разрублены пополам. Так мужик на огороде рубит лопатой мышей — чтоб отвадились, чтобы осенью не было в амбаре мышьеяди.

Ну вот примерно с той поры к Ивану и прилипло прозвище Чума.

В тот же день Некитаев погрузился в блиндированный вагон и кружным путем, через Старую Руссу и Дно, отправился в Санкт-Петербург, по дороге намереваясь нагряться в порховское имение и лично проверить, хорошо ли управляющий содержит на озере проруби. Те самые — для продуху рыбам.

Накануне отъезда из Москвы Петруша появился на экранах телевизоров — по трем государственным каналам и двум частным, владельцем которых был господин с зубами, как противотанковые надолбы. Петруша весьма страстно говорил о Священном государе и живописно толковал его архетип — царя и странника Одиссея. Приблизительно так: волею Провидения покинув цветущую Итаку, многоумный Одиссей ушел под кожу мира, в мифическое пространство и время, где пробыл так долго, что на родине коварные, завистливые и слабые верой властолюбцы осмелились объявить его мертвым. Женихи, кощунственные самозванцы, внесли смуту в умы, осквернили его дом, возжелали его жену и царство, посягнули на сына-наследника. Но Одиссей, заставивший олимпийцев опасаться, что если не вернут его домой они, то вопреки судьбе он вернется сам, не мог предать свою любовь к отечеству, к родному очагу. И он вернулся. И пролилась нечестивая кровь, и никто не спасся из врагов его, и были вознагражде-

ны сохранившие веру в него... Словом, Петр объяснил, что, поплутав под кожей мира, государь, герой и мудрец, вернулся и теперь изменники будут наказаны — жертвы неизбежны. Вышло довольно неожиданно и потому хорошо. Аплодисменты операторов.

Через час после того, как консульский поезд с блиндированным вагоном прибыл на Царскосельский вокзал, расквартированные в Петербурге гвардейские полки провозгласили Ивана императором. Он не возражал. Сенат, окруженный решительными преображенцами, утвердил неограниченные полномочия Некитаева.

— А где Петр? — спросил Годовалов.

Они сидели в кафе «Флегетон» — фея Ван Цзыдэн, Чекаме и утробистый Годовалов. Зальчик был кукольный (рядом за дверью находился просторный зал, с колоннами и роялем, — там, как правило, устраивались литературные вечера и вывешивалась всевозможная живопись) — пять столиков, стойка и небольшая альков, где накрывали, когда гости хотели говорить приватно.

— Представь, теперь его очередь сидеть под арестом, — откликнулась Таня на вопрос, заданный абзацем выше.

Годовалов и Чекаме учтиво улыбнулись, приняв ее слова за нескладную шутку.

— Слышали его гомерическую речь, — сообщил Чекаме. — Десять баллов по шкале Рихтера. Я прежде и восьми никому не давал, но Петрушин Одиссей — это песня. Зефир в шоколаде — умирать не надо.

— Странно, что он не привлек еще одну парадигму, — сказал Годовалов. — Ромул, положивший начало гражданскому образу жизни, как известно, сперва убил своего брата, а потом дал согласие на убийство Тита Тация Сабина, избранного ему в сотоварищи по царству.

— Интересно, — перебила Годовалова Таня, — о чем нынче Петруше мечтается в Алексеевском равелине? О бессмертии или о байковых подштанниках? За столом стало тихо.

— Но ведь Петр столько для него сделал... — Чекаме был растерян. — Нет, не может быть. За что?

— Именно за то, что сделал. А вообще, господа, все генералы таковы — если они обладают властью, почестями и привилегиями, которые, как им представляется, они законно заслуживают, то они никогда не считают, что чем-то обязаны людям, которые помогли им всем этим обзавестись. — Таня чуть подумала и с некоторым удивлением заключила: — Впрочем, так же и Некитаеву до поры никто не чувствовал себя обязанным за то, что не терпит от него притеснений.

— Поймай, а как же мы? — обеспокоился тугой Годовалов. — У меня четырехтомник в типографии... Труд жизни!

— Не бздеть горохом, — на манер Прохора шутливо скомандовала Таня. — Вы здесь ни при чем.

— Разумеется, ни при чем! — подхватил Годовалов. — Да только Иван-то знает ли об этом? На тебя, голубушка, уповаем, на твои доброхотные хлопоты! Ты уж ему по-сестрински растолкуй, чтобы кривда правду не застила...

— Но в чем его вина? — упорствовал Чекаме.

— Он обманул Некитаева. Он разыграл его, как шахматную фигуру. Оплошал, — скорбно вздохнула Таня. — Если бы не сидел он — пришлось бы сидеть мне, а меня, господа, это не устраивает.

К середине марта Иван Некитаев устал тосковать. Грудь его, как горчичный пластырь, припекал заветный талисман, а сердце жаждало битвы, но вмес-

те с тем душа его была исполнена сиротства. Все, кажется, было в порядке: по стране своим чередом шли аресты сторонников Сухого Рыбака, неплохо работали трибуналы, шесть губернаторов полетели со своих постов, и на их места Иван назначил верных, толковых людей, армия, искореняя крамолу и буднично проливая кровь, уверенно двигалась на запад, и все же... И все же Некитаев не находил себе места. Он не мог обрести неуязвимость, он не мог освободиться от любви — не до конца прощенная луноликая фея, сестра и единственная дорогая ему любовница, осталась в Петербурге, в то время как он был вынужден приводить к порядку вольнодумные земли. Это ли ему нужно? Да, он жаждал любви и вместе с тем был ею переполнен, как переполнен речами философ, так что слова сочатся из всех его отверстий, как переполнен мехом персидский зверек, так что пух прет из всех его пор, словно запах, но время от времени Некитаева томил чувство, будто кто-то незримый, древний и могущественный навязывает ему свою волю. И тогда император Иван Чума не знал покоя. Дошло до того, что порой, под вечер, переодевшись в штатское, он один или в компании с Прохором отправлялся бродить по улицам города, где на тот момент располагалась ставка, и нарывался, прости Господи, на приключения. Одолеваемый приступом очередного чудачества (точнее, особого рода бешенством), Иван отказывал всем женщинам в целомудрии, порядочности и других добродетелях, словно им на какое-то время овладевал прорвавшийся наружу неукротимый первобытный нрав, еще не знакомый с общественной моралью и ее суровыми предписаниями. Стоит отметить, что порой эти вылазки влияли на порядок продвижения армии и вносили поправки в планы военных операций. Так, например, в Луцке он завел интрижку, которая изрядно затянулась: дело в том, что черноглазая сударка с полным ртом фрикативных согласных упорно не говорила, кто она, откуда и как ее зовут. Это возбудило в генерале болезненный интерес. По такому случаю он даже написал пару стихотворений, что в его тридцать лет было и вовсе не простительно. В конце концов выяснилось, что такова общепринятая форма флирта у всех здешних дівчин, желающих прежде увериться в полной состоятельности ухажера, нежели попусту дать повод к пересудам. Как бы там ни было, головные войска простояли в Луцке пятеро суток, что, признаться, здорово дезориентировало противника. После этого случая Иван послал в Петербург фельдъегеря с повелением доставить к нему сестру и племянника, чтобы семья смирила его смятенный дух и разделила с ним тяготы походной жизни.

Но на этом дело не кончалось. Все чаще и чаще в голове Некитаева складывалась одна и та же фольклорная фраза: «Бедный Петруша — что-то с ним будет?» Эта забота отравляла Ивану жизнь — она плавала у него в мозгу, как дохлая рыба, которую невозможно извлечь и которая исподволь разлагается, так что он наконец решил и в самом деле определиться.

### *Конец суфлера*

(год Воцарения)

Есть люди, взыскующие славы. Есть люди, взыскующие славы и власти. Есть люди, взыскующие власти и не охочие до славы. Славе они предпочитают менее кабальный вариант — признание. И есть все прочие, но о них не будем. Если первые просто хотят стоять под софитами, вторые там блистают и правят, то третьи властвуют в тени, как бы суфлируя тем, кто на сцене, и случись так, что на них все же падает свет, что нежелательно, то падает он со спины. Петр Легкоступов был из третьих. И вовсе не потому, что стремился соответствовать образу, измышленному лягушатником Фуко: дескать, власть выносима только в том случае, если она маскирует существенную часть своего естества, и успех ее пропорционален способности скрывать свой собственный механизм,— отнюдь

нет. Он просто имел чувство стиля. Он имел вкус, а жизнь, как известно, есть не что иное, как вечный спор о вкусе и о том, что же на самом деле лакомо.

Фея Ван Цзыдэн, разумеется, хотела стоять под софитами.

Что касается Ивана, то он был из вторых, но при этом ни к чему себя чрезмерно не понуждал, а значит, просто получал должное. Можно сказать, он был тем, кем был, то есть он был разом и проще, и богаче всяких соображений на его счет — одновременно он являлся и гирей, и чашей, и весами, и весовщиком. Больше того, при этом он был еще товаром, платой за товар и сдачей на плату...

В Порхове машины подогнали прямо на перрон. Ночью, ворочаясь в купе на той лежанке, где полагалось спать, Петр мысленно складывал речь о Гавриле Брылине.

Если б не нужда объясниться с Иваном, Петруша нипочем бы в имение не поехал. Что там делать об эту пору? Кругом каша, снежная слякоть, зыбко. «Нет, — решил Легкоступов, — нельзя на такой погоде корить Брылина за натурофобию — чего доброго он со своим желанием забетонировать землю наживет себе сезонных сторонников».

На озеро, прихватив с собой пакетик мотыля и баночку рисовой каши, Иван отправился один. Не желающий мочить ноги Петруша остался дожидаться Ивана в усадьбе.

Когда Иван вернулся, в доме было тепло и сыро, как всегда поначалу бывает в зимовалом, впервые протопленном жилье. Некитаев выглядел довольным, хотя по привычке сдерживал чувства. Семенившему следом управителю, мусолившему в руках малахай, велено было подать в столовую чай с ромом.

— Представляешь, — бросив шинель на канапе, кивнул вослед увиставшему малому Иван, — этот олух Царя Небесного заказал на зимний подкорм калифорнийского червя. Думает, рыбе мотыль уже не по чину! А если от этой холеры заморской она кверху брюхом всплывет? — Генерал повернулся к пустым дверям и крикнул в пространство: — Дуботряс березовый! Ты еще устриц из Марсея выпиши!

Некитаев явно пребывал в добром расположении духа — Петруше такой настрой был на руку, однако он не спешил начать разговор, карауля момент для естественного перехода к щекотливой теме.

— А ты отчего на кладбище не собрался? — спросил Иван.

Легкоступов в этот миг, вознеся очи горе, мысленно читал молитву: «Тебе, Господи, ведомо, что для меня благо, сотвори со мною по воле Твоей», — поэтому немного смешался.

— Ты полагаешь, ясень — или чем там обернулся мой родитель — тоже нуждается в подкормке? Быть может, мне следует принести у его корней кровавую жертву? Что ж, готов оказать тебе услугу и распотрошить на могиле твоего управляющего. — Петр замолчал, сообразив, что взял неверный тон, потом добавил: — До родительской субботы потерпит. Дереву, что тетереву, зима — одна ночь.

Обремененный невольной паузой, Петруша решился было начать разговор, но внезапно поперхнулся горячим глотком и закашлялся. Некитаев смотрел на него внимательно, но без участия.

— Ты как себя чувствуешь? Постучать?

— Как чувствую? — сдавленно переспросил Петруша. — Изволь. Как ребенок, заигравшийся в прятки. Представь — это находчивый ребенок, он отлично затаился — ушел, как шашень, в тесное дупло или с соломинкой в зубах юркнул в бочку с квашеной капустой. А в это время остальных детей позвали пить молоко с пряником. Ну они и пошли. А он не знает. Прошло десять минут, двадцать, тридцать восемь... Его никто не находит. Его никто не кличет. Само собой, он изнемогает. Впору бы самому открыться, но как — водит дворовый соперник. А какая обида узнать наконец, что никто не искал вовсе!

— От кого же ты укрылся в бочке с квашеной капустой?

— Это метафора,— пояснил Легкоступов и без антракта приступил ко второму действию: — Послушай меня, Ваня, и отнесись к моим словам разумно: Таня действительно ни в чем не виновата.

— Опять? — Генерал резко отодвинул чашку.

— Да.— Петруша пустился во все тяжкие и уже не мог остановиться.

— Кто же тогда?

— Я.

И Легкоступов за три минуты изложил Ивану вкратце свою коварную интригу. Когда он закончил, в столовой что-то стало со светом. Кажется, он несколько померк.

— Зачем ты это сделал? — угрюмо спросил Некитаев.

— Забудь ненадолго, что ты генерал, и пораскинь мозгами.

— Ты хотел поссорить меня с Брылиным?

— Я тебя с ним поссорил.

Генерал нахмурился — настроение его катастрофически менялось.

— Ты не доживешь до старости,— наконец сказал он.

— Побойся Бога!

— Бог стоит во вселенной на одной ноге, как цапля,— заверил его генерал.— Россия — стопа Его. Оттого-то Ему нас и не видно. Ты знаешь, за что тебе придется страдать?

— За что?

— За то, что ты не придумал другого способа добиться этой ссоры.

— Господь с тобой, я придумал даже несколько других способов, но, поверь мне, они были еще ужасней.

Некитаев задумался над достойным ответом.

— В таком случае я предоставлю тебе на выбор несколько кар, но, поверь и ты мне, все они будут не сахар. Боюсь, ты тронешься умом, как Буриданов осел, пытаясь какой-то из них отдать предпочтение.

Генерал не повышал голоса, не брал особенно грозного тона, но от его слов Петру сделалось не по себе — он почувствовал, что мозг его уже черпают ложкой.

— Прежде, чем осудить меня,— предупредил Легкоступов,— ты должен узнать об одной услуге, которую я некогда оказал тебе и о которой, как мне кажется, ты неосведомлен.

— Что еще?

— Четырнадцать лет назад я взял за себя Таню. Надеюсь, ты этого еще не забыл.

Некитаев насторожился.

— Так вот, она была беременна.— Петруша выдержал паузу.— Ты понял? Нестор — твой сын. Не утверждаю, что я ангел, но как-никак я покрыв твой грех — неужели я недостойн снисхождения?

За один короткий миг, претендующий на неуловимость, Иван сделался багровым. Что-то в его голове происходило, возможно, именно то, что академик Иван Павлов называл бессловесным мышлением животных.

— Ты напрасно не съездил на кладбище,— глухо сказал Некитаев.

Легкоступов вздернул бровь.

— Полагаю, ты не доживешь до родительской субботы. Своим признанием ты лишил себя права на милость. Я не могу позволить, чтоб *это* услышал кто-то еще. У тебя нет будущего.

— Выходит, я никогда уже не скажу речь о Брылине?

— Боюсь, публично ты уже ничего не скажешь.

Обратно в Порхов Легкоступов ехал в машине охраны. За каким-то бесом запястья его были схвачены наручниками, хотя по приговору полагался кляп.

**Кузнечик, луковица, камень**

(год Воцарения)

— Я хочу, чтобы вы скопировали руку Петра Легкоступова,— сказала Таня.

Гадалка закатила табачные глаза и надсадно, точно от щекотки, рассмеялась.

— Поверьте, это в его интересах,— заверила гостя.— Он попал в беду. Если, конечно, вас это заботит. Что касается вознаграждения...

— Оставьте,— махнула рукой хозяйка.— Я сделаю это даром. В конце концов не каждый день становишься орудием рока и принимаешь участие в исполнении тобой же предсказанной доли.

— О чем вы?

— Пустое. Надеюсь, это будет не подложный вексель?

Это был не подложный вексель. Это был писк замученной птички, который требовалось перелицевать на львиный рык.

Накануне Таня посетила Алексеевский равелин, где похудевший Петруша (природным толстякам не следует худеть — спавший с тела толстяк всегда имеет нездоровый вид), прослышав о прибытии фельдъегеря, передал ей письмо, в котором, потеряв достоинство и отрешившись от всякого респекта, униженно молил императора о милости. Примерно так: «Государь, дозвожь бедному Петруше жить на Руси. Бедный я, очень бедный!» Это никуда не годилось. В таком виде письмо могло пойти в дело только как образчик почерка, начертать которым следовало послание совсем иного свойства — вдохновенную проповедь, внушающую не жалость, а упоение и восторженное смятение духа. Сочинить эту проповедь, по замыслу Тани, подобало Годовалову, благо тот был многим обязан опальному Петруше. И он ее сочинил. Немного покобенился, исполненный сомнений и страхов, потом погладил вышедший на днях из типографии четырехтомник своих произведений под общим названием «Не только проза» (куда действительно, помимо прозы, вошли расшифровки телевыступлений, газетные статьи и даже пара написанных им некрологов), вздохнул обреченно и сочинил, используя для убедительности стилия предоставленную Таней Петрушину философическую тетрадь.

Примерно через час гадалка закончила работу и подала заказчице два исписанных мелким бесом листа. Таня пробежала глазами знакомые строки:

*Личарда верный императору Чуме.*

*Когда-то лицо мое было гладким; теперь оно заросло бородой, и борода моя неухожена и дика. Когда-то я был добр и кожа моя источала запах пачулей и розовых стеблей; теперь тело мое неумыто, ногти сломаны, а язык опаршивел от тюремной пищи. Когда-то мой слух услаждала отменная музыка; теперь уши мои оглохли от тишины и полны серы, а по лицу ползают мокрицы. Когда-то я был обласкан судьбой; теперь я на дне пропасти — я сир, убог, согреваюсь вшами и наслаждаюсь чесоткой.*

*Ты сбросил меня в эту пропасть, а ведь я хотел помочь тебе из шелковых волос твоего сына сплести великую любовь к миру!*

*Ты взял себе мой воздух, ты стал хозяином моей желчи и начальником моего голода. Ты солишь мои слезы и глотаешь мою слюну. Ты не оставил мне ничего моего и теперь я пользуюсь всем чужим — одеждой, постелью, бумагой, пищей. И знаешь, мне кажется, что если здесь ко мне придет смерть, то и она тоже будет не моя. Поэтому я не ропщу и не жду милости. Поэтому из нынешнего ничтожества я говорю тебе свои слова, хотя ты и не оставил мне права иметь хоть что-то свое.*

*Горе тебе, говорю я, ибо, ослепленный удачей, иллюзии своего тщеславия и заблуждения своего ума ты принял за высшее просветление, которое освобождает тебя от общего закона. И за меньшую повинность уготована человеку в преисподней смола и сера! Ты в славе пройдеши по миру до самых врат адových, гремя своими грехами, как корова боталом!*

*Но даже если все не так, даже если ты лучший из людей, даже если талисман твой не врет и ты действительно пришел из тех краев, где в реках течет вода, которая не смачивает рук, и где растут прозрачные деревья, плоды которых надо срывать, ибо один аромат их утоляет жажду и насыщает, то знай, исчадьё рая, и не обольщайся: ты — всего лишь государь. Да, ты — всего лишь государь, и тебе не избежать своей судьбы, потому что в лучшем из людей скоплен не только разум тысячелетий, но и все их безумие.*

*Однако кем бы ты ни был и какой бы жребий ни старался себе измыслить, вот что я говорю тебе и вот как заклинаю, ибо в любом случае ты есть порождение и моих дел.*

*Освобождая мир от ига сладкой лжи, разя презрением тех, кто стремится к равенству, кому мила жизнь, в которой нет ни бедных, ни богатых, потому что и то, и другое слишком обременительно, кто говорит: «Мы нашли счастье», — и моргает, не погуби подлунную своей великой свободой, помни: идя к людям с посулами лучшей доли, всегда нужно брать с собой кнут.*

*Глядя на мир, не пренебрегай его рухлядью и не шарахайся от его темных чуланов. Постигни не только империю эполетов, огни дворцов, пиры и битвы, которые для тебя те же пиры, но и лицо ребенка, дышащего на заледенелое стекло, деревенскую избу, серый забор, чугунок на заборе, тряпку, привязанную к палке на огороде, — то ли пугало, то ли родовой стяг живущей в этой избе старухи, что смотрит в темноту, на тяжелый снег. И все, что между эполетами и этим снегом, постигни тоже. Ибо все это — Россия, все это — судьба государя, все это твоя тяжкая судьба.*

*Нет в человеке ничего презреннее ничтожных мыслей. Право, уж лучше дурно сделать, чем мелко думать — таков закон мудрого, ибо мудрый беспощаден. Не забывай: все имена благого и дурного суть символы, а символы безъязыки — они лишь маняют пальцем, пыжятся и делают значительные жесты. В этих сосудах нет меда истины, там вообще нет ничего вразумительного.*

*Таков мой последний урок. Я сделал, что хотел. Я мог бы совершить больше, но я отпускаю тебя ко всем чертям. Знай, душа моя не будет досажать тебе в этом мире и рвать на части твой разум — тебе не придется звать на помощь Бадняка, чтобы поставить на нее лукавый капкан. Обещаю, что там, за пределами этой жизни, я буду вести себя тихо, очень тихо, так тихо, что никто обо мне не будет знать. Ненавидящие и любящие — прости-те меня!*

*А теперь, в заключение, перед отверстой могилой, которую ты, несомненно, мне уготовил, я скажу самые главные слова: кузнечик, луковица, камень.*

Надо думать, помимо философической тетради и Таниных пояснений к ней, Годовалов использовал в своей работе и другие образчики возвышенных стилей, в частности, начало определенно копировало римский эталон: «Плиний императору Траяну», а пассаж про тех, кто говорит и моргает, вел родословную от сумрачного германского гения, замешенного на дворянской польской крови. Таня осталась довольна. Что касалось отношения к написанному самого Годовалова, то, согласовав с заказчицей черновой вариант, творение свое он передал ей в виде безликой компьютерной распечатки, виртуально спалив, как и полагается современному Гоголю, в памяти компьютера файл, однако утаив судьбу экземп-



ляра с правкой,— то ли он предал его вполне реальному огню, остерегаясь перспективы быть уличенным в авторстве, то ли, напротив, приберет документ для потомков, надеясь включить его в состав следующего издания своих сочинений в качестве «не только прозы».

— Я полагаю, барин у этого Личарды — Некитаев? — поинтересовалась ворожея.

— Он.— Таня вложила листы в конверт, сорвала с липкой полосы вошанку и зажала самоклеящийся клапан.— Но дело наше ему не во вред, наоборот, можно сказать, за державу радеем.— Она протянула конверт гадалке: — Надпишите: «Государю императору. Лично в руки».

— Я гадала Некитаеву,— примеряясь, где бы лучше исполнить надпись, сказала хозяйка.— Разумеется, заочно. Из интереса.

Таня вскинула стальные глаза.

— Вероятно, вы знаете, что ему, равно как и событиям, виновником которых он стал или же станет в недалеком будущем, посвящены не менее десятка катренов Нострадамуса. Например, этот: «С ним связан восход человечьей эпохи, Приходит нам давший великий закон. Война меж своими при нем не загложнет, Достойный преемник ему не рожден». Или этот: «Чума и война, человечество вздыбив, Столетия ведут к моровому концу, И выплеснет пруд пресноводную рыбу, Чтоб звезды летели навстречу Стрельцу».

— Какие звезды?

— Это темное место,— честно призналась ворожея.— А сто лет назад оптинский старец Назарий предсказал, что новый поводырь мира, влекущий народы сквозь страх, родится между молотом России и наковальней Поднебесной и что зачат он будет от мертвого, выносит его рыба, а дерево, пока он будет мал и слаб, даст ему кров и схоронит от непогоды.— Хозяйка напоследок вывела пером затейливый росчерк и вернула конверт с Петрушиным посланием Тане.— Естественно, понимать это надо скорее символически, нежели буква в букву. А карты вот что показали: в Некитаеве, как черт в табакерке, сидит внутренний царь, и он сильнее царя внешнего, который не более чем саркофаг.

Когда фея Ван Цзыдэн с Нестором прибыла в Краков, император как раз собирался двинуть полки на Варшаву. Однако выступление армии было отложено на сутки, благодаря чему тысячи инсургентов оказались обязаны Тане лишним днем жизни. Нет сомнений, китайчатая дева знала толк в любви и, опираясь на свой завидный опыт, уже не ждала от встречи с братом того роскошного безумия, какое ослепляло их будни в незабвенные времена. Ей казалось, что драгоценный камень их общей тайны от долгого употребления истер свои грани и больше не способен дарить ту жгучую игру лучей, на какую горазда его природа, но она ошиблась. Ночь, проведенная с императором в Кракове, изумила ее — в Иване скопилось столько неутоленной страсти, такая жажда любви переполняла его душу, что (небывалое дело!) самой себе она на миг представилась прохвостом, наложившим нефритовую лапку на чужую сокровищницу. Чувствовать себя самозванкой в царстве, которое прежде считалось твоим, было тягостно — ведь однажды Сезам мог не отвориться и не впустить ее в свою голконду. Предчувствие такого поворота было невыносимо. Не желая огорчаться по столь безотчетному, а стало быть, не вполне очевидному поводу, мысли эти Таня бестрепетно прогнала вон.

Некитаев распечатал конверт только в полдень. Несомненно, письмо произвело на него впечатление: генерал заплакал — всего две слезы выкатились у него из глаз, но слезы эти дымилась.

Через полчаса в Петербург по срочной связи понеслась депеша: узника Алексеевского равелина предписывалось немедленно доставить к императору.

### *Уединенция* (год Воцарения)

А между тем сгущение вселенской грозы давало знать о себе не только экивоками в области предчувствий или явлением небывалых природных феноменов, но также вполне определенными движениями в международном политическом раскладе. В Южной Америке, Западной Африке и Юго-Восточной Азии разразились жестокие региональные войны, которые не были спрогнозированы никакими экспертами, французский Квебек на полных парах отделялся от Канады, а Гренландия провозгласила независимость, откопала во льдах собственные флаг, герб и гимн и подала заявку на вступление в Лигу Наций. Кроме того, к сговору атлантистов, помимо Австрии и Германии, примкнула теперь Османская империя — падишах, принявший в качестве сыновнего наследства вместе с незавидным характером позор потери проливов, жаждал реванша.

Петрушу доставили в Варшаву в тот самый день, когда ясновельможные паны тишком от непримиримых генералов, упорствующих в обреченной крамоле, выдали Сухого Рыбака в руки имперской разведки. Арестантский вагон из Петербурга прибыл в столицу Царства Польского во вторник, однако Легкоступову, ожидая «уединенции», как говаривал его отец, пришлось промаяться в местной каталажке до самого вечера пятницы. Такая проволочка Петрушу неприятно удивила — при столь поспешном извлечении из Алексеевского равелина он смел надеяться на скорое отпущение вины и ожидал немедленных дружеских объятий. Тем более что перед самым отъездом из крепости ему вернули философическую тетрадь и карманные часы с эмалевым циферблатом, что могло означать снисхождение или более того — приглашение вернуться к прежним помыслам и былому распорядку жизни. По такому случаю Петр даже записал в тетрадь оптимистическую мысль: «Смерть — это такой Юрьев день. Жаль, если какой-нибудь Федоров его отменит». Теперь, однако, он в этом сильно сомневался, и душа его вновь трепетала отчаянно и иступленно, как отброшенный ящерицей хвост.

В пятницу вечером из вполне приличной камеры Легкоступова привели в глухой каземат без окон, с каменными стенами, сводчатыми потолками и безотрадным запахом подземелья. Как назло, в обед Петруше дали фасоль, и теперь его пучило.

Утром следующего дня, часу в шестом по Пулкову, Петра Легкоступова утопили на тюремном дворе в цинковом корыте. Тем же способом, каким однажды его уже топил кадет Иван Некитаев в целебном озере близ порховской усадьбы. Сковав ему за спиной руки наручниками, его поставили перед корытом на колени; какой-то долгоносый рябой поляк из арестантов, согласившийся за послабление режима на роль палача, ухватил Петрушу за волосы и держал его голову в корыте до тех пор, пока брыкающийся от неумейной жажды жизни осужденный корыто не опрокинул. Пришлось снова набирать воду, на что ушло минут десять, и звать на подмогу конвойных — держать корыто. Потом казнь повторили, на этот раз успешно — до полного утопления. Что сказать еще? Вот это: вода была водопроводная — тепловатая и с хлоркой. Последняя запись в тетради Петра Легкоступова, герменевтика и человека, выглядела так: «По всему выходит, что добро и зло заключены не в чувствах, не в мыслях и даже не в поступках людей, а в одном только факте решения. Свобода воли делает жизнь человеческую невыносимой, превращая ее в полигон соблазнов, — поэтому, вероятно, невозможно представить рай, населенный существами, способными волеизъявляться в своем хотении, способными помыслить: ”Я беру предложенную грушу, но ем ее без удовольствия, ибо в действительности желаю отварной язык с хреном, которого в здешнем меню нет“. Отсюда вывод — чтобы сделать чело-

века счастливым, достаточно лишить его кошмарной обязанности совершать самостоятельный выбор». Далее без какого-либо отступления и какой-либо связи с предшествующими словами следовало осеннее хайку, странным образом рассогласованное с весенними (уже подступил апрель) чаяниями всех Божьих тварей:

Вот и червяк уже в нору  
Лист осиновый тянет.  
Красный такой, в черную землю такую.

Это нелогичное, неестественное сведение Абеяра с Басе свидетельствовало, пожалуй, о случившемся незадолго перед казнью повреждении причинно-следственных коммуникаций в сознании Петра Легкоступова при сохранении способности довольно ясно продуцировать локальную мысль.

В силу безвестного закона соответствия в тот миг, когда душа Петруши покинула свою захлебнувшуюся темницу через анальный сфинктер, ибо иные, более пригодные для того отверстия были погружены в корыто, а плавать душа Легкоступова не умела, англо-французско-турецкий десант высадился на Кипре. Россия владела мандатом на Кипр, выданным Лигой Наций, поэтому понятна холодная ярость Ивана Некитаева, без колебаний объявившего войну супостатам. Одновременно с ракетными и бомбовыми ударами по стратегическим объектам Порты, а также Суэцу, Бизерте и Гибралтару были развернуты Закавказский и Малоазийский фронты, высажен морской и воздушный десант в Порт-Саиде, а войска под командованием генерала Барбовича перешли границу размякшей в неге Австрии, давно потерявшей свой меч и сохранившей лишь драгоценные ножны.

### *Псы Гекаты*

(седьмой год после Воцарения)

С недавних пор за Некитаевым по пятам следовала радуга, оставляя на земле семипалые следы, заметные сверху птицам. Она и теперь стояла над Алушкой, ровнехонько над остробашенным Воронцовским дворцом, где на сегодня государь назначил заседание Имперского Совета. Давно уже без отдыха и перемирий белый свет терзала Великая война — эту канитель следовало кончать. Сверхоружие, которым державы пугали друг друга в мирные времена, было использовано в первые же недели вселенской битвы, однако оно, произведя нещадные разрушения и отравив землю с водами, вопреки ожиданиям оказалось на удивление малоэффективным. Судьба победы, как и во все времена, по-прежнему решалась на поле боя солдатами и их генералами; ничто не изменилось, полки воевали по старинке — штыками, порохом и заклятиями, — так воевали, что за семь лет устали не только люди и страны, но даже времена года и сама земля, все чаще впадавшая в дрожь, словно савраска, которая гонит со шкуры надоедливых мух.

Члены Совета сидели за овальным столом и приглушенно говорили о пустяках — вести деловые речи в отсутствие императора, главного радетеля о государственном благе, они почитали неприличным.

— Представьте, — вещал Барбович братьям Шереметевым, — наша гуманная комендатура в Мюнхене издала для граждан инструкцию, где дает такой совет: когда вас насилюют или убивают в темном подьезде, звать на помощь следует криком «пожар!», потому что, если обыватель услышит «караул! убивают!», он сдрейфит и нос из-за двери не высунет, услышав же «пожар! пожар!», он непременно объявится, а тут как раз убивают...

Дубовая резная дверь вела во внутренние покои дворца; по обе стороны от нее затянутые в фисташковые мундиры Воинов Блеска застыли два гвардейца с

красивыми, мужественными лицами, в половине случаев присущими не столько людям добропорядочным, сколько беспутным бестиям и головорезам. Государь заставлял себя ждать.

Никто не знал, что задерживает его — распорядок жизни императора являлся предметом государственной тайны. Ходили слухи, будто он держит в любовницах собственную сестру, мужа которой, своего ближайшего сподручника, казнил в первый день Великой войны по нелепому обвинению в лжесвидетельстве, повлекшем за собой человеческие жертвы,— говорили, что именно в ее спальне он принимает все свои исторические решения. Говорили также, что он, подобно великому Александру, устраивает грандиозные оргии с толпами распутниц и приставленными к ним евнухами, которые сами привыкли испытывать женскую долю. Но скорее всего это были пустые домыслы стойков, полагающих, что всякий баловень судьбы непременно лишается своих природных достоинств, ибо удача и слава дурно влияют даже на лучшего из людей, чьи непоколебимые добродетели ни у кого не вызывают сомнений.

Помимо слухов о досуге, ходили толки и о необыкновенных личных свойствах императора. Рассказывали, будто он мог не спать по семнадцать суток, а когда засыпал, то сон его был краток и так крепок, что на нем можно было молотком колоть орехи,— но даже при таком крепком сне он не терял бдительности и продолжал отдавать приказы о штурмах и казнях, не открывая глаз, ибо видел сквозь веки, как рысь видит сквозь стену. Говорили, будто в груди Ивана пылает необычайный жар, так что счастливы, удостоившиеся его приветливых объятий, ощущают нестерпимое жжение и впоследствии находят на своем теле ожоги. И уж совсем небылицы плели про его слюну — словно бы она имеет свойство делать соленое сладким, а сладкое острым, так что в кофе он кладет соль, а пельмени, вместо уксуса и перца, приправляет шоколадной крошкой и сиропом. Что делать, никакие плоды просвещения не в силах отбить у людей правило жизненной игры, соблюдение которого в свой черед тоже есть непременное правило игры.

Наконец дубовая дверь распахнулась и два гвардейца одновременно — целое представление — отсалютовали государю. Император поднятием руки поприветствовал собравшихся; члены Совета отдали ему молчаливый поклон. Иван был в полевой гвардейской форме, как всегда молодежавый и подтянутый, только сейчас вокруг его глаз лежали густые тени. Неизменно сопровождавший государя адъютант, мундир которого не по уставу был облеплен пухом (страсть Прохора к голубям поощрялась императором), застыл позади его кресла. Пора было начинать.

Совет вел министр войны, мастер подсуконных тактик и бумажных баталий, знавший свою силу и слабость, а потому относившийся вполне лояльно к боевым генералам, воюющим не чернилами, но кровью, что, в свою очередь, позволяло и генералам относиться к министру снисходительно. Разумеется, он не стал начинать с дурных вестей. Первым делом министр войны поздравил собравшихся с чудесной гибелью сводной британо-итальянской эскадры, в одночасье нашедшей свой конец в Баб-эль-Мандебском проливе. Члены Совета, изъясняя патриотические чувства, встретили уже знакомое известие одобрительным гулом. Нестор, племянник государя, вот уж год как им усыновленный (синклит без воодушевления расценил это как назначение в преемники), восстал из-за стола и преданно исторгнул из отсыревшего горла трехкратное «ура». Не поднимая век, император кивнул.

Министр войны дал слово братьям Шереметевым. Зная их особинку — способность к блестящей работе только в паре,— для них пришлось в свое время поделить штатную должность главы имперской разведки, каждому при этом, помимо целого оклада, вручив всю полноту прав и все бремя ответственности, после чего ведомство, оставаясь при одном лице, сделалось двуглавым. На засе-

даниях Совета они даже говорили хором, будто были двумя звуковыми колонками одной стереосистемы. Братья Шереметевы поведали о ходе операции «Термит», каверзный план которой, замысленный некогда сподручником государя Петром Легкоступовым, в режиме настраиваемой секретности неумолимо воплощался в жизнь. Дело в том, что еще восемь лет назад покойный ныне Легкоступов обнаружил в Историческом архиве Сената среди бумаг Якова Брюса записки некоего Отто Пайкеля, уроженца Лифляндии, алхимика и саксонского генерала, участвовавшего в Северной войне на стороне Августа. В 1705 году Пайкель попал в плен и как шведский подданный, изменивший королю, был вывезен в Стокгольм, судим и приговорен к смертной казни. Находясь в тюрьме, он предложил риксрода в обмен на свою свободу открыть тайну изготовления золота. В присутствии членов риксрода он осуществил трансмутацию свинца — металл, извлеченный из тигля Отто Пайкеля, на Стокгольмском монетном дворе был признан золотом, в связи с чем Карлу XII была послана срочная депеша. Однако шведский монарх, весьма щепетильный в вопросах чести, погнушался предложенной сделкой и повелел казнить изменника. Как записки Отто Пайкеля попали к Брюсу, осталось невыясненным. Впрочем, за время Северной войны русские войска побывали и в Лифляндии, и в Литве, и в Польше и даже высаживались на Аландские острова. Два года назад к тайнописи Пайкеля наконец-то был подобран последний ключ, и в секретной лаборатории Министерства финансов проведены первые успешные опыты трансмутации металлов. С тех пор в третьих странах алхимическое золото регулярно менялось на доллары, которые, в свою очередь, шли на приобретение в Североамериканских Штатах через подставных лиц земель, уцелевших после ракетных ударов предприятий, информационных агентств, газет и телеканалов, что, помимо прочего, в качестве побочного эффекта неизменно влекло за собой увеличение пушенной в оборот денежной массы и пагубное расстройство американских финансов. В результате исподволь начатой через контролируемые СМИ антивоенной пропаганды, а также непрерывного раздражения болевых точек — расовых, территориальных и межнациональных — положение дел заокеанского неприятеля угрожающе пошатнулось. В чадной атмосфере внутренней сумятицы и хаоса, на фоне разгула уголовщины, пацифистских выступлений, сепаратистских выпадов Техаса и Новой Мексики, этнических дрязг, инфляции и регулярных срывов оборонных заказов по случаю внезапных перепрофилирований и конверсий заводов эффективно действовали секты хлыстов, духоборов, скопцов и молокан, окончательно сбивая набекрень мозги и без того ошалевших американцев. На повестке дня стояли две задачи — вооружение цветных и формирование корпуса инструкторов из афророссиян. Союзный Китай на этом этапе обещал действенную поддержку со стороны пятой колонны в чайна-таунах. Кроме того, подключенное к операции «Термит» Охтинское могущество весь кремний в Силиконовой долине обратило в углеродную пыль с периодом обратного сгущения полторы тысячи лет. Все шло к тому, что в ближайшее время империи больше не придется рассматривать Североамериканские Штаты в качестве серьезного противника.

Членов Совета хор братьев Шереметевых изрядно воодушевил. Впрочем, на этом список удачных свершений заканчивался — далее следовали разочарования. В изложении министра войны скорбный перечень собранных вместе несчастий выглядел так. Ситуация в Египте была безысходной. Чуть лучше, но в перспективе столь же безнадежно дела обстояли на Ближнем Востоке, в Персии и Систане. Помимо этого, провалилась высадка десанта в Калабрии, где две сербские бригады Воинов Ярости с огромными потерями несколько дней удерживали плацдарм недалеко от Кротоне, однако после предательства «Коза ностры», которая, взяв алхимическое золото, вероломно нарушила обещание о содействии, они были вынуждены вновь погрузиться на корабли и с потерей двух третей личного состава несолоно хлебавши отбыть в Далмацию. Штутгарт вто-

рой месяц переходил из рук в руки — то его брали кубанцы, то вновь отбивали низкорослые нибелунги, а что касается решающего штурма взятого в блокаду Гамбурга, то к настоящему времени следовало признать, что наступление имперских войск напрочь провалилось. И это невзирая на то, что после оккупации Норвегии, Швеции и Дании империя приобрела безраздельное господство над Балтикой. Впору было задуматься о потере на театре войны глобальной стратегической инициативы, которую противник вот-вот готов был перехватить, а кое-где, как, скажем, в Египте, уже взял в обе руки. Однако и это было не все.

— Есть еще три дела, внушающие нам серьезные опасения, — взял слово Педро из Таваско, исполнявший в Имперском Совете должность государственного прозорливца. — На Саратов обрушились полчища летучих мышей, пьющих кровь у младенцев, в Екатеринодаре и на Полтавщине поднявшиеся хлеба желтеют и сохнут на корню, а сестра милосердия в Триесте родила рогатое дитя. Надеюсь, господа, вы и сами способны постичь угрозу, таящуюся за этими скверными знаменьями.

— Что известно о будущем? — спросил генерал Егунов-Дубровский — австрийский наместник и покоритель Ломбардии, чье лицо, казалось, подобно фамилии было поделено пополам, так как всегда выражало сразу два противоположных чувства, что выдавало увлечение генерала некогда популярной практикой поиска умеренности путем познания излишеств.

— Наше управление привлекло лучших спецов по прозрению грядущего. В иные времена мы могли бы прочесть любые знаки с обратной стороны и увидеть завтрашний день столь же ясно, как видим вчерашний. Но сейчас идет седьмой год войны и седьмой год Воцарения, а вся мудрость видящих, как известно, бессильна перед простыми числами. Мы были вынуждены прибегнуть к менее надежным способам: ауспиции, гиероскопии и скапулимантии. Однако предсказания темны и разноречивы — благоразумнее считать будущее вовсе не известным.

И без этого никудышного прогноза всем было ясно, что наступают сомнительные времена, но речь Педро из Таваско усугубила скорбь. Слово взял Егунов-Дубровский:

— Наша власть над вещами так велика, что кажется, будто не только история, но и сама природа покорна нашей воле. Однако не стоит обольщаться на сей счет. Люди издавна стремились управлять материей и повелевать судьбой, нередко они добивались на этом поприще необычайного. Зачастую природа выглядела полностью покорной человеку, но всякий раз покорность эта оказывалась обманчивой. Еще совсем недавно люди в надежде обрести мистическую силу осмеливались расписываться собственной кровью, не имея ни малейшего понятия о том, какую власть над собой дают обладателю сариольских заклятий. А теперь общеизвестно, что даже труп можно поднять из могилы и привести к некогда начертанным живой человеческой кровью письменам. Призываю вас, господа, быть мудрыми и не питать иллюзий относительно собственного могущества — возможно, власть наша столь же химерична и, словно часовая мина, таит опасность в самой себе, как и нелепая практика давать расписки кровью. Ни для кого не секрет, сколь велика сила растущего хлеба, она признается одной из главнейших в мире, а теперь хлеб в Екатеринодаре сохнет на корню, и мы не в состоянии помешать этому. Нетопыри, сосущие младенцев, весьма напоминают казнь египетскую, а что означает рождение рогатого дитяти именно сейчас, когда знаки будущего закрыты для нас, жутко даже представить. Против нас действуют грозные силы, и, пока не поздно, мне думается, следует признать неудачу африканской кампании. — Покоритель Ломбардии оглядел присутствующих и решил усугубить дерзость: — А вместе с ней и неудачу нашего южного похода. Мы еще успеем увести войска из Египта в Аксум, где можно будет переформировать и пополнить части, а в Персии и Систане отступить на север и укрыться за горными перевалами. Конечно, тем самым мы значительно ухудшим поло-

жение нашего корпуса в Иордании и наверняка потеряем Суэц, но в сложившейся ситуации ничего не остается как идти на жертвы. Лучше отдать палец, чем потерять руку. Хотя, безусловно, потеря пальца тоже болезненна. Будем мудры и осторожны, господи, возможно, не только судьба армий — судьба нового мира зависит от наших решений.

Генерал Егунов-Дубровский определенно пребывал нынче в состоянии умеренности. Но фельдмаршал Барбович, бравший Вену и Мюнхен и безусловно обладавший тремя необходимыми для полководца качествами — правый его глаз видел вдаль, левый вширь, а язык знал слова, способные вогнать в краску даже гвардейцев,— был с ним не согласен:

— Нас только что призвали к мудрости и осторожности, явно забыв о том, что это две разные добродетели и они далеко не всегда совпадают. Разумеется, мудро будет высморкаться, если напал сопливчик. И само собой делать это следует осторожно, чтобы невзначай не высморкать мозги. Но обречь на гибель солдат, овевших себя славой и готовых сражаться за своего императора до последнего издыхания,— где здесь таится мудрость и не сродни ли это выпущенным через ноздрю мозгам? Не спорю, удача как будто готова изменить нам, однако не стоит упускать из виду, что знамения не только угрожают, но также указывают путь к исправлению дел. Нам всего и нужно, что пых перевести. В конце концов победы и поражения изначально куются в сердцах людей, а сознание собственного бессилия относится, слава Богу, к тому сорту слабостей, которые мы в состоянии превозмочь. Нам следует сохранять силу духа в любых обстоятельствах, и в любых обстоятельствах нам следует действовать как победителям и считать себя таковыми, насколько бы невероятно это ни казалось. Только при таких условиях судьба будет и впредь покорна нам, как отведавшая вожжей девка.

Над столом вспорхнул легкий ропот — подобное витийство уместно было бы перед стоящими во фронт полками, но здесь, на заседании Имперского Совета, следовало выносить взвешенные решения, а не упражняться в элоквенции. Однако Барбович, ничуть не смутившись, продолжил:

— Позорно проигрывает битву тот, кто бросает оружие на поле боя. Но наше оружие — в наших руках. Больше того, мы его еще даже не обнажили. С какой стати мы зрим в землю, топчем край могилы и скорбим о своей доле? Надеюсь, не я один в сем достойном собрании наслышан о Псах Гекаты. Не пришло ли наконец то неотвратное время, когда следовало бы употребить их в дело? Пусть государственный канцлер просветит нас в этом таинственном предмете.

Вертикальные морщины на лбу Бадняка пришли в движение. Он посмотрел на членов Совета, бесстрашных полководцев и виртуозов скрытой войны, как сытый кот на воробьиной стайку.

— Василеостровское могущество обладает силой, чтобы открыть хрустальные врата.

— А закрыть? — снисходительно поинтересовался Егунов-Дубровский.

— И закрыть. Я смогу отворить их ровно на семь секунд.

— И Псы Гекаты войдут к нам? — спросил Барбович.

— Да, они войдут.

— Еще как войдут,— подтвердил Педро из Таваско и уточнил, имитируя простоту солдатской речи: — Как шило в жопу.

— Но Псы Гекаты — существа не нашего мира,— хором сказали братья Шереметевы,— как воспримут они непривычный для них гнет времени и пространства?

— Нам не все известно о природе Псов Гекаты.— Казалось, Бадняк с трудом подыскивает слова, которые бы наилучшим образом отражали истину — закон под страхом смерти запрещал на заседаниях Имперского Совета говорить ложь.— Но то, что нам известно, заставляет предположить в них необычайную, неистовую злобу. Я могу обратить их ярость против наших врагов.

— И как они на них свою злобу сорвут? — спросил фельдмаршал Барбович.

— Псы Гекаты пожрут их живые души, после чего их тела пять месяцев будут биться в агонии, желая смерти, но не находя ее.

Члены Совета переглянулись. Слова государственного канцлера произвели на всех приятное впечатление — даже у императора дрогнули веки, хотя глаза его по-прежнему оставались полужакрытыми. Казалось, не использовать столь грозное оружие в сложившейся ситуации будет преступным недомыслием.

— А что станут делать Псы Гекаты дальше? — уместно полюбопытствовали братья Шереметевы.

— Каково бы ни было их исступление, мы предлагаем Псам Гекаты чудовищную жертву — миллионы и миллионы душ. Можно надеяться, что после этой, прошу прощения за каламбур, гекатомбы их злонравие утихнет, и они станут подвластны нашим заклетиям. Тогда мы сможем удалить их или обезвредить.

— Но полной гарантии нет? — уточнил министр войны.

— Нет.

— Хрустальные ворота будут открыты семь секунд, — сказал министр войны. — Кто еще может войти в них?

— В них может войти кто угодно.

— А именно?

— Это неизвестно. Но Псы Гекаты войдут.

— Рискованное предприятие, — заметил Егунов-Дубровский. — Давно ли люди знают об этих, с позволения сказать, полканах?

— Люди знали о них всегда, только называли другими именами.

— Их когда-нибудь пытались использовать? — спросил Барбович. — Что-то я не слышал.

— Неоднократно. Но рассказывать об этом было уже некому. Впрочем, теперь мы можем действовать куда увереннее.

— А что получалось до нас? — упорствовал Барбович.

Государственный канцлер Бадняк красноречиво промолчал.

— Хорошо, — смирился фельдмаршал, — но что, помимо чертовской свирепости, известно об этих тварях еще? Что это за фрукты? Можно ли их хотя бы увидеть?

— Можно.

Такой ответ всех неслышанно удивил.

— Как можно увидеть тварей не нашего мира? — усомнились братья Шереметевы.

— Ярость их столь сгущена, что Псы Гекаты доступны нашему зрению.

— Их можно увидеть прямо сейчас? — затаив дыхание встрял во взрослый разговор Свинобой.

Бадняк кивнул, и взгляды членов Имперского Совета обратились на государя. Некитаев открыл глаза, бесстрастно обозрел своих советников и утвердительно склонил голову. Однако государственный канцлер не спешил выполнять повеление.

— Это зрелище требует мужества, — сообщил мого.

— Обидеть хочешь? — осклабился Барбович. — Мы что, шавок не видали? Нам хоть бы пес, лишь бы яйца нес.

— Господа, вам повинуются народы, но то, что вы хотите увидеть, помрачит самые отчаянные представления о возможном. Я обязан предупредить.

— Ты предупредил, — сказал фельдмаршал Барбович.

Мого призвал на помощь Педро из Таваско. Вместе они воскурили в надраенном бронзовом фиале — Алупка погрузилась в ночь, и свет ночи играл на его гранях — какой-то густой, вязкий фимиами, потом, пританцовывая, сотворили размыкающие заклетия и начертали в пространстве огнистые, тут



же истаявшие знаки. В результате этих волхований огромное каминное зеркало вскипело облачными клубами и бледно затуманилось. Туман со страшным воем пронесся в зазеркалье кудреватыми клочьями, будто его гнал неукротимый шквальный ветер. Холодом и гибельной тоской веяло из открывшейся бездны. Ветер все свирепел, но вскоре из-за прядей тумана проступило нечто несокрушимое и матово сияющее, преградившее дальнейший путь чародейскому прорыву в кромешную подкладку мира. Это была граница седьмого неба. Таким — млечным и непроницаемым — почти всегда и предстал этот рубеж перед взорами тех, кому доводилось уже пускаться в опасные прогулки на кромку творения. Граница и в самом деле была незыблема, но только не для Бадняка — владельца тайн, сокрытых под переплетом «Закатных грамот». Вихрь разогнал последние клочки мглы, и седьмое небо, отлитое из льда и пламени, открылось во всем своем испепеляющем великолепии, во всем мерзлом блеске. Тщетны были попытки проникнуть за его пределы: взгляд сгорал на этой глади дотла, коченел насмерть — посланный за вестью, обратно он не возвращался. Так длилось то или иное время, но вот седьмое небо на глазах начало меркнуть, стекленеть, будто топился на огне стылый жир, — еще один тугой, протяжный миг, и сквозь последний предел все ясней и ясней стали проступать чудовищные образы чужого мира, кошмары надсознания, жуткие обитатели нетварной тьмы. Псы Гекаты роились там, неистово бросаясь на хрустальное седьмое небо, и за его надежность — застывшим сердцем уповая лишь на нее — навряд ли кто-нибудь теперь мог поручиться...

Стража у дубовых дверей с грохотом выронила оружие. Уклейка серебряной стрелкой вымахнула из аквариума и, пузыря янтарные глаза, забила на ковре хвостом. Прохор одним рывком — хрясь! — разорвал на груди мундир. Австрийский наместник так стиснул зубы, что они с хрустом раскрошились у него во рту. Остальные члены Имперского Совета не издали ни звука, но самообладание далось им дорогой ценой.

Когда действие завершилось, зеркало заволкло туманом, и через минуту оно спокойно отразило вновь разгоревшиеся свечи. Бадняк и Педро из Таваско, едва перебирая ослабевшими ногами, сели на свои места. Все было кончено. Стражники у дверей сидели на полу и беспомощно скулили — они выдавили себе пальцами глаза, и по лицам их текла кровь; братья Шереметевы опустили вмиг поседевшие головы на руки; Свинобой с исполненным безумия взглядом жевал бумагу, заталкивая ее в рот пальцами; министр войны осел в кресле, и его неподвижное оскаленное лицо не оставляло сомнений — он был мертв.

— Горе нам! — выплюнув в фиал с фимиамом крошки зубов, прохрипел австрийский наместник. — Мы подобны слепцам, бредущим под горным камнепадом и гордящимся своими белыми тросточками! Как смеем мы есть свой хлеб и плодить детей, когда рядом есть то, что было нам явлено? Мы убиты одним видом собственного оружия. Оно нам не по плечу! Бросим все и по примеру Цинцинната отправимся пасти гусей и разводить капусту!..

Фельдмаршал Барбович, уже вполне овладевший собой, перебил Егунова-Дубровского:

— Библейская речь, ититская сила! Проповедь в назаретской синагоге! Впрочем, не будем осуждать генерала за его слова — ведь он не на поле боя, и к тому же он говорит правду. Нам не дозволено нарушать границу седьмого неба. Мы люди, и мы должны воевать силами и оружием людей. В наших руках есть штык, автомат, яд и алхимическое золото — и нам не нужно ничего больше. А если нам суждено лечь костями, но проиграть эту войну, то мы проиграем ее как люди.

Барбович умолк. Молчали и остальные. Все было ясно без слов. Члены Имперского Совета готовы были сражаться и если случится — принять от судьбы поражение, но брать в союзники тех, кого они видели...

— Есть еще один путь, хоть это и не путь солдата, — внезапно подал голос Бадняк. — Мы устали, нам нужна передышка. Я мог бы попытаться, открыв хрустальные врата, выдавить наружу малое время. Пока выходит время, Псы не войдут.

— Смысл? — живо спросил фельдмаршал.

— Зачем нужен черт? — Государственный канцлер удостоился изумленных взглядов. — Господь решил, что в жизни должны быть происшествия, а без черта не будет никаких происшествий. Время — это и есть черт. Без времени здесь наступит *тот свет*. Тот свет для всех — без победителей и побежденных. Конечно, Всевышний вскоре исправит наш произвол, но вся земля получит краткое отдохновение. Итак, одно из трех.

Тут над столом поднялся император. Он, как и остальные, не избежал дыхания смерти — на губах его виднелись следы зубов, а мозг был стянут обжигающим ледяным обручем, — но взгляд государя оставался горделивым и сияющим.

— Я выслушал вас, господа, — медленно произнес Некитаев. — Вы преданы отечеству и отважны, вы ясно высказались и тем не менее вы заблуждаетесь. Победа никогда не ускользнет из наших рук. — Иван Чума вытянул из-под воротничка гимнастерки шнурок с крестиком и раскаленной золотой подвеской. — Мы не отведем войска со своих позиций и не уступим ни пяди взятой земли. И мы еще не заслужили покоя. Властью, данной мне Богом, завтра в полночь я впускаю Псов Гекаты в мир.



Геннадий КРАСНИКОВ

---

## На декабрьском причале

*В день ангела*

*Нине*

Вот еще один день, да еще один снег,  
да еще одна ночь — и закончится век.

Слышишь, ветер гудит за окном на пруду,  
это век или снег — вылетает в трубу?

Зарекаться с тобой не обучены мы  
от сумы и тюрьмы, да от русской зимы.

Нам с тобою вдвоем хорошо в январе,  
как прошедшим векам в золотом янтаре.

Мы о прошлом потом погрустим. Все равно  
в ту же реку два раза войти не дано.

И не будем мы нежность менять на слова,  
в том судьба и права — что она не права...

Видишь, дети с коньками бегут на каток.  
Замкнут круг. Подо льдом Гераклитов поток.

\* \* \*

Не клином — клин, а себя — собой  
всю жизнь учусь выбивать,  
себя — собой, как тропу — стопой  
и штормом — мертвую гладь...

Вину — тоской, а тоску — вином  
и новой тоской — вино...  
Но в доме детства с пустым окном —  
чем выбивать окно?

Судьбу — молитвою, небом — тлен,  
а завтрашний день — судьбой,  
твой берег — пенем морских сирен  
и только тебя — тобой.

Быльем — былое, щедростью — взлом,  
а нищей сумой — тюрьму,  
и только зло невозможно — злом,  
и тьмою не выбьешь — тьму.

Любовью — ненависть, светом — мрак,  
 морошкой — барскую снедь,  
 а жизнь — эпитафией: «Сам дурак!»  
 и собственной смертью — смерть.

### *Было бы счастье...*

Ну что —  
 наломал дров,  
 Иван Петров?  
 Теперь сидишь суров?  
 Тяжело похмелье  
 в родном пиру?  
 Совесть, как зелье,  
 муторней к утру.  
 Сидишь, словно  
 проглотив аршин,  
 ты хоть помнишь,  
 кого крушил?  
 Вот он, наш вечный  
 русский вопрос —  
 после того как полмира  
 пущено под откос.  
 Думай не думай,  
 все равно —  
 сто рублей — не деньги,  
 а жизнь — говно.  
 Дуется Марья —  
 синяк посадил.  
 Знал бы за что —  
 совсем убил.  
 Пусть Филимоны  
 едят лимоны,  
 а мы, молодцы,  
 едим огурцы!  
 Хорош посол —  
 из глаз рассол.

Эх-ма!  
 Была бы денег тьма,  
 закатился б в кабак,  
 как медный пятак.  
 Пей, рванина,  
 гуляй — не хочу!  
 На грусть — половина,  
 рупь — на свечу!  
 Свисток ребятенку,  
 играй, малец,  
 мамане — клеенку,  
 бубенец — козленку,  
 бабе — гребенку  
 и леденец.  
 Куме-голубке —  
 шаль в кистях,  
 поцелуй — в губки  
 с треском в костях.  
 Куму — табачок,  
 племяшу — волчок,  
 себе — мундштучок...  
 А пока в руки —  
 крест или кистень,  
 впереди до-о-олгий  
 день!  
 ...Было бы счастье —  
 да ветер сдул,  
 подкову для потехи  
 сам разогнул.  
 Собственная сила  
 дурака подкосила.

\* \* \*

Сегодня я должен остаться один,  
 один на один со своею печалью,  
 с душою, закрытою на карантин,  
 с судьбою на мертвом декабрьском причале...

Сегодня мне нужно побыть одному,  
 стареющим, злым, одиноким, недужным,  
 в пустом и холодном доме,  
 никому —  
 на всем белом свете ненужным, ненужным!..

Сегодня такая нужна тишина,  
 чтоб слышалось ангелов горних круженье,  
 сегодня впервые свеча зажжена  
 за то, что не будет, не будет прощенья!

\* \* \*

Бог запустил часы,  
  толкнув рукою маятник,  
и Время, неподвижное, как памятник,—  
с туманною табличкою: ВСЕГДА,  
еще пока не ведая, куда —  
пошло...

Но до сих пор его следа  
никто не видел. Словно сновидение —  
оно в ночи веков, а мы — дневная тень его,  
бредущая назад, к Часовщику, туда —  
в покой и тишину предвечного ВСЕГДА.  
Не будет мучить Он часы Своей починкою,  
а просто завернет небесною холстинкою  
и спрячет... Все равно — сколь долго ни идти —  
Голгофой завершились все пути.



## Песнь странствий

Рукопись эта попала ко мне случайно, как говорится, по воле жизненных обстоятельств. Мне передал ее наш дворник, скромный и опрятный татарин, давно уже осевший в столице со всеми своими чадами и домочадцами. В его хозяйстве всегда полный порядок — ничто не исчезает бесследно и, уж конечно, не возникает из ничего. Между делом съездил он к своим родственникам, в далекую Германию, и привез оттуда вместе со всяческим добром ворох мелко исписанных листов. Не чувствуя возможным разобраться в них сам и зная мою склонность к литературе, вручил (или же всучил) он эти листы мне, чему я в конечном счете рада. Предлагаю вниманию читателей текст почти без изменений, позволив себе лишь более четкое, фрагментарное деление частей, два-три эпиграфа да необходимый заголовок. Что в дальнейшем стало с героями «песни», мне доподлинно не известно. Да и в самом повествовании остались неизбежные зияния и пробелы — в надежде, однако, что они могут быть восполнены.

### 1

Не та же ль ночь на брате, на Полуксе?  
Б. П.

Сегодня ровно в 14 часов 15 минут по средневропейскому времени в берлинском метро мне, сударыне-одиночке из СНГ — некогда семейной, некогда из СССР, — выдали справку о том, что в 14 часов 00 минут автоматом под порядковым номером 1999/50 были проглочены мои пять дойче марок. Эта мелкая сумма исчезла навсегда, зато была выплюнута сдача. Билет же на пользование метрополитеном как был, так и остался лежать в железном чреве вышеупомянутого автомата.

Зато теперь у меня была справка.

И это даже звучало, могло звучать гордо, если бы... Вот именно если бы! Если бы не Рождество Христово, не наступающее новое тысячелетие, не внеплановая встреча с любимым человеком, подругой-беженкой. Если б вообще весь мой вид на чужеземном перроне не был так дик и странен. Почему странен — об этом потом, своевременно. Когда прояснится характер моих взаимоотношений с подругой (если вообще что-то может проясниться), которую я знала, ха-ха-ха, без малого тысячу лет. Когда всплывет, так сказать, суть дела — хотя что за дела могут быть под конец тысячелетия, в условиях всеобщего развала?

А дело было так.

В 14 часов 00 минут я со своей подругой, в прошлом московской профурсеткой с литературным уклоном, а ныне подающей надежды русскоязычной писательницей-беженкой спустилась в метро, чтобы двинуться из восточного (тоже в прошлом) сектора к Музею Стены. Сама Стена не так давно рухнула благодаря усилиям посткоммунистических лидеров типа Горбачева. Музею же отныне предстояло быть всегда, подобно Трое, граду Китежу, храму Христа Спасителя и всему тому лучшему, что остается человеку от проклятого прошлого.

Вперед, к светлому будущему, в западный (тоже бывший) сектор города Берлина!

Надо заметить, что подруга моя также олицетворяла в этом заново воссозданном пространстве некие жизненные перспективы. Самой себе, впрочем, не

оставляя ни одной. Вот уже который год она с завидным постоянством писала роман «Жизнь после смерти», при упоминании о котором у всех здешних менеджеров и продюсеров просто слюнки текли (подруга, конечно, выразилась более образно). Но она не спешила ставить жирную точку и расставаться с миром потустороннего в пользу этого довольно хорошо оплачиваемого, посюстороннего капиталистического ада. Предпочитая жить на так называемый «социал», остатки гонораров своего фиктивного мужа, художника-авангардиста, и скромную контрабанду, которую ей регулярно поставляла ее мама, бессменный житель одной южной республики нашей бывшей Родины.

Все эти деньги были вполне мифические — они не пахли.

Мои же деньги пахли. Даже пованивали. Потом и желчью обменных очередей. Презренным металлом, за который, представьте себе, все еще гибнут люди. Одним словом, очень уж мне хотелось пересечь хоть какую-нибудь границу и войти в этот общий для всех, бескровный европейский Дом под Крышей неба и бескорыстных человеческих надежд... Желание это отчасти подогревалось угольками той давней истории, которая у нас приключилась с подругой (об этом своевременно, как я и сказала), отчасти же тем бедственным положением, в которое за последнее время впали многие мне подобные.

Не то чтобы я хотела радикально поменять место жительства или, упаси Бог, сводить с кем-то счеты... Но что-то здесь было такое, я бы сказала, умышленное и странное. Да, странное! ПРЕДНА ЧЕРТАННОЕ.

Во всяком случае, именно мои деньги в размере пяти марок были проглочены автоматом. Ни одна из его умных кнопок с изображениями людей, детей и собак не желала откликаться на мои настойчивые нажатия и даже поглаживания. Железное бесчувствие было мне ответом.

Хорошенькая же перспективочка под общей поехавшей крышей общего дома, уже вопила я внутренне! Вот она во всей красе, их хваленая точность, непоколебимый немецкий «орднунг». Порядочек!

А всё начиналось, казалось бы, так отлично. Мы с подругой договорились тогда по телефону о встрече — после долгой разлуки... в шесть часов вечера после войны (точнее, после нескольких случившихся за это время войн)... на перроне, под часами. Мы железно обозначили место и время встречи, в соответствии с расписанием, тоже железным, по моим наивным представлениям. Но конечной своей остановкой поезд почему-то избрал совсем иную станцию, не доехав до вышеозначенной на довольно значительное расстояние.

Когда я вместе с остальными растерянными пассажирами высыпала на платформу, до желанной встречи оставалось ровно десять минут.

В одной руке у меня был чемодан на колесиках, в другой — ребенок-малолетка.

Чемодан быстро набрал скорость, явно превышающую мою собственную. Ребенок бежал за нами, скуля и подвывая.

— Мама! Мама! Я писать хочу! — услышала я сквозь шум бегущей толпы.

— Потерпишь! — рывкнула я, пытаюсь понять, в какой из проходящих поездов нам лучше прыгнуть.

— Я очень-очень хочу писать, — канючил ребенок.

В запасе еще минут пять... четыре... три...

— Да где ж тут эти ваши часы, круглые и висячие, показывающие нужное мне время, под которыми стоит моя подруга, вся в слезах и с букетом любимых цветов?!

— Мама, я очень-очень...

— Где тут выход?!

Все мои попытки добиться ответа были безрезультатны, немцы шарахались от меня как от чумы, посланной на оба их дома, восточный и западный, обтекали ровными струйками мое потное с выпученными глазами и уже бесчувственное тело.

Да! Я была инородным телом, почти трупом, вместе со своим чемоданом и ребенком. Чьи-то лица плыли вокруг по своим траекториям, точно звезды, далекие мертвые звезды. Когда же они все умерли, когда всё здесь было кончено? Вот у нас — ясно: война, революция, еще война, еще революция, а у них?..

— Мама!!!

Иностранная женщина, бросив коляску с собственным младенцем, подхватила мой чемодан, моего ребенка и быстрым движением придала нам нужное направление — вверх по эскалатору.

— Мама...

Стрелки на круглом циферблате правильно совместились в единый указующий вектор.

— МАМА! Я УЖЕ НЕ ХОЧУ!

Возле чемодана у моих ног, на свежeweымытой с порошком платформе сверкала лужица. Подруги с букетом под часами не было.

— Я описался,— возвестил ребенок тем, кто еще не понял.

— У! Понаехали тут, сволочь с детьми! — Бомжиха русского происхождения пнула мой чемодан своей тележкой, доверху набитой красивым мусором.

Дальнейшие подробности я утаю от читателя, если он вообще найдется у подобных «женских историй». Но то не женская история... Пока скажу лишь, что в момент, когда весь запас великоросской (да и женской тоже, что греха таить) гордости был мною окончательно израсходован, в тот самый момент случилось ЧУДО — на эскалаторе, покачиваясь над головами, вдруг расцвел букет моих любимых цветов, и подруга вся в слезах бросилась мне на шею. Оказывается, время моего позора было использовано ею, чтобы сбежать на станцию, куда реально прибыл наш поезд, и вернуться обратно.

— Всегда имеются варианты выхода,— объявила подруга-беженка, когда автомат проглотил мои деньги.

Первое. Можно хряпнуть молотком (которого у нас с собой не было) по всей этой непрошибаемой немецкой точности.

Второе. С видом достоинства покинуть метрополитен.

Третье. Ехать без билета. И отныне вообще никогда и ничего им больше не платить.

Ни один из вариантов почему-то не годился.

Подруга тут же предложила найти служителя станции и рассказать ему (она уже прилично говорила по-немецки), что нами была опущена в автомат бумажка в пятьдесят марок, а сдачей выдана всего 1 марка 40 пфеннигов плюс 0 билетов,— и всё это тут же предъявить. Тогда нам просто обязаны будут выдать и билет, и сдачу.  $50 - 1.40 = 48.60$ .

Через тридцать минут поисков мы обнаружили служителя в каком-то тайном окошке. Наши разумные речи были встречены им с глубочайшим недоверием. Как черт из табакерки, он выскочил на платформу и стал размахивать своим ярким флажком перед каждым из прибывающих поездов, чуть не падая при этом на рельсы,— псих, просто нервный немецкий псих, решили мы, вовремя сообразив не омрачать это чистейшее безумие своей грязной сорокавосемимарковой ложью.

В награду нам была выдана справка.

Мы вздохнули с облегчением.

На полуоткрытый перрон врывался с улицы запах жасмина, лип и перестоявшего материнского молока.

— Время входа в метро вписано от руки. Давай замажем, сделаем ксерокопию, вставим другое время, какое нам нужно, и будем ездить куда захотим.— Подруга смотрела печально.

— А нельзя сегодня в порядке компенсации покататься лишних пятнадцать минут?

— Абсолютно нельзя! — Она взглянула на меня, как на дуру.— Мы можем находиться в метро ровно два часа. В справке точно указано время входа. Его можно только подделать.

— Нет, они явно психи.

Подруга сверкнула глазами. Они у нее были чернейшие, горячие — взрывчатая смесь армяно-азербайджанских, татарских и еще не известно каких кровей.

— А, по-моему, психи — это мы. Никакая справка нам уже не поможет.

С этими словами я выбросила аккуратную бумажку в открытое окно несущей



щегося поезда. Далее мы ехали без билета и без справки, наконец придя в равновесие с самими собой, то есть друг с другом.

— Ну и?.. — задала я ей свой вопрос. — Что же именно ты сегодня опять ничего не делала?

Она прелюбопытно меня поняла, хохотнула.

— Я сегодня не делала ВСЁ! И, знаешь, опять сошло с рук.

Действительно, понятие хроноса, быстротекущего времени, в которое мы с подругой погрузились ровнехонько посередине нынешнего столетия, как в шахту метро, имело здесь совершенно другой смысл. Для российского жителя, собранного в единый кулак круглосуточным мытарством, когда день практически неотличим от ночи, а ночь от смерти, — времени вообще нет. Есть только ты сам, изношенное, бьющееся за всех сердце. Здесь же оно как-то странно вспухало — ВРЕМЯ, на глазах расслаивающееся, члениющееся, отсортировывающееся на фрукты и овощи, страховки и железнодорожные «карты», авиабилеты и «социалы», джинсы, колготки, кроссовки, мороженое, хот-доги, блюда китайской кухни — словом, на что-то совершенно вещественное и рукотворное. Каждый раз, когда ты, пришелец в чужой стране, оказывался обладателем не какого-то общего и безымянного, а своего собственного, отвешенного тебе времени, тебя посещали недоумение и даже испуг. Неизвестно было, как распорядиться этой субстанцией, столь ловко выдаваемой за вещественность жизни.

Подруга же, давно раскусившая сей секрет, лишь посмеивалась, изучая меня черным взглядом падшего ангела.

Она давно уже праздно шаталась — *праздношаталась*, причем ее роман этому явно не мешал. Это у нас, думала я, всё вперемежку: работа, безделье, праздник, скука, жизнь, смерть. А тут либо веселятся, либо скучают, либо живут, либо умирают. Их нищие духом — не наши нищие, наш кризис — не их кризис. Всё так. Всё правильно. Никакая справка нам уже не поможет...

Господи! А как нам хотелось туда, в их рай! Самолетом, вертолетом, теплоходом, пароходом... Песня, которую, заметьте, никто уже не поет. Но петь-то хочется. Приживалы всегда хотят в рай, для преисподней они грехов не накопили. Я же стала форменной приживалкой в родном отечестве — с тремя гуманитарными образованиями, бывшими мужьями и ребенком-малолеткой, в пору в уличном переходе петь и бить в бубен. Подруга была единственным человеком, который знал и помнил меня еще до моего обнищания — и только ей я еще могла помочь.

Наш поезд въезжал в черную пустоту тоннеля. Теперь каждый звук, как в акустической камере, отзывался прямо в голове. Мы всё туже и туже ввинчивались в неподвижность собственного тела, в размеренность чужой речи. Странное умиротворение посетило нас ровно в 14 часов 50 минут по берлинскому времени в здешнем метро!.. Я их все-таки увидела — настоящих ангелов. Это тоже было в метро, но в парижском. Ангелы были румяны, стрижены под панков и легко, в одно касание, перелетали через металлические штaketники, наглухо закрывавшие вход. Я тоже попробовала перелететь под изумленными взглядами билетеров, но у меня ничего не вышло. Ангелы оказались учащейся молодежью, а отнюдь не «зайцами», и полет был для них способом экономии времени. Об этом все знали. Я одна не знала. Рождённый ползать летать не может.

Поезд швырнуло в яркую, как день, олеографию городского пейзажа. Мы уже летели по касательной к домам, улицам, серебристым виадукам и рельсам... Вдруг на самой высшей точке короткого железнодорожного равновесия что-то ворвалось в вагон.

Певец был так себе, не Юрий Шевчук. Голосок отчетливый, но хиловатый, содержание же песенок и вовсе исконно-посконное. Чуждо оно было, это содержание, для нашего коллективного слуха на данном пролете, меж двух станций берлинского метро.

Поезд слегка покачивало — влево-вправо, вверх-вниз. *Да исправится молитва моя, яко кадило пред тобо-о-о-ю!..* Немцы исправно кидали денежку, мы тоже бросили свои пфенниги. *Радуйся, владычице державная, церковь православная, възграй! Радуйся, надежда православная, не остави мой погибший край!..* Наши соседи отдавали свои кровные из какой-то непонятной пассажирской солидарности, мы же — с восторгом злости или со злостью восторга, и тут

достали! *И моему настрою слитно со всех сторон, со всех концов пел «да исправится молитва» хор придорожных чернецо-о-ов...* Мы вдруг почувствовали, что как бы обречены — и слушать, и деньги кидать, вот именно тут, на этой линии, в данном пролете (а то и по два раза, если следовать туда-обратно), и будет та же кепочка, та же хитровая ухмылка, чуть ли не подмигивание. *И я, перебирая листья, шепчу раскаянья слова — очисти, Господи, очисти! Душе моя, почто мертва-а-а?..*

Наш певец подмигнул нам и, позванивая мелочью, отправился в соседний вагон. Ступал он при этом как-то неуверенно, пошатываясь.

— Да ведь он слепой. Слепой музыкант, — откомментировала подруга. — Поэтому и поет про всякую небыль — жертва какая-то, мертвецы, извиняюсь, чернецы придорожные. Как Гомер — чего не видел, то и пою.

Действительно! Нет бы про солнышко лесное, про тень от янтарной сосны, про лыжи у печки стоят, про снежные флаги разлук, дым от сигаретки, терема и дерева, ключи и молчание в ночи, — всё, что осталось у тебя от Родины. А то про чернецов!

Душе моя, почто?..

Не для того ли, чтоб из бедного этого голоса рвался на волю другой, звучный и сильный, единственный не могущий солгать голос, и чтоб в ареале его звука не смело твориться зло, а рождалось одно добро, и страсти человеческие смолкли, и мы впали бы в пароксизм чистого восторга при виде этой божественной слепоты, и пели все вместе, одним хором, и были бы счастливы, счастливы и хранимы, хоть на время одного пролета метро. Душе моя!..

Доплывем ли до смысла и цели нашего странствия?

Между тем прямо по курсу был Музей Стены. Мы вплывали туда на нашем небольшом суденышке: я со своим сыном, подруга — со своим.

Перед нами раскрылась карта Города, и была она, как бездна, звезд полна.

Но что это? Почему эта бездна вся расчленена, опутана кровавыми бинтами и паучьей сетью явочных квартир грозного Штази, почище, чем нашими НКВД и КГБ?

Всюду торчат видеоэкраны. Мы видим, как разрезается город — по-живому. Всего за одну ночь. Родительские окна, выходящие на вдруг выросшую стену, безжалостно замуровываются. Из них никто уже не будет смотреть в окна детей, оставшихся там, по другую сторону.

Добровольные зрители, мы становимся свидетелями берлинского восстания — не бессмысленного, но, как всегда, обреченного. Первого в ряду восстаний, как огонь по бикфордову шнуру проползших почти по всем «братским странам», задавленным «старшим братом».

Какой-то интеллигентный немец, присоединившись к нашей небольшой группе, неожиданно вспоминает, как в дни своей юности он пробирался к любимой девушке через советские посты. Это была не та, главная Стена, а как бы маленькая дочерняя стеночка, с проходным постом в районе Панкоф. Впоследствии он был оборудован под госдачи партийной номенклатуры, из коей многие досидели там до наших времен и дождались праведного и страшного суда. А в то блокадное время будущая номенклатура вся была на командных постах. А на город падали с неба медикаменты и продовольствие — манна небесная, которую сбрасывали на «небратскую» часть города западные союзники.

— Нам ведь тогда и танки вводить не потребовалось, они отсюда вообще не уезжали, еще с войны, — разулыбался интеллигентный немец. На поверку он оказался самым что ни на есть «нашим», если не своим, перестроечным русским.

От всего этого безумия пространства, проглатывающего собственных детей, эти детки тоже, в свою очередь, обезумели.

Перелетали через Стену на воздушных шарах и Икаровых крыльях.

Пытались пересечь границу по земле и под землей — в огромных грузовых контейнерах и небольших шахтерских тележках.

Один мальчик был переправлен родителями туда внутри пианино.

Пианино в процессе транспортировки, наверное, тренькало и постанывало. Интересно, где теперь тот мальчик?

— Два народа в одном, два народа, — бормотал, не отставая от нас, не то немец, не то русский. — Потому лицо твое то смеется, то плачет... А через сердце твое пройдет меч...

Сумасшедший, догадались мы, городской сумасшедший. Такие везде есть. И постарались быстро распротиться. Но он на прощание все-таки успел рассказать нам историю. О том, как в околостенном промежутке якобы угнездились многочисленные кроличьи семейства, целое полукапиталистическое-полусоциалистическое поселение. После разрушения Стены уцелевшие кролики разбежались по всему городу, и долго, долго еще по улицам и площадям бегали вконец ошалевшие зверьки с налитыми кровью, обезумевшими глазами...

— Не капитолийская волчица с тяжелыми сосцами, оттянутыми жадными ртами двух славных близнецов, а кролики, кролики — вот что может по праву считаться историческим символом города!

Сверкнув металло-улыбкой, немец исчез с нашего горизонта.

— Чуть всё это собачья, легенды, — высказала подруга свое мнение по поводу «кроличьей истории».

— Мама, говно, дай пять марок, — подал голос её сынок, красивый южный подросток, то и дело пытающийся удовлетворить свою детскую ностальгию по утраченной Родине за счет маминого «социала». — Твой муж, говно, отец — опять ничего не дал.

Мой малолетка явно был обескуражен. По выходным он иной раз посещал Воскресную школу, а перед сном даже творил какую-то нехитрую молитву.

Но, как это ни странно, были они чем-то похожи, этот подросток смешанно-южных кровей, уже получивший прививку «закатом Европы», и мой мальчик, в серо-голубых глазках которого бродили северные, польско-украинские черти.

Они были схожи тем, что один русский поэт конца-начала века назвал тайной чертой, не разъяснив это никак, кроме как собственной жизнью. Да еще строками поэмы с насквозь смотрящим названием — «Возмездие».

...Мы проходили под Бранденбургскими воротами, с их знаменитой квадригой, вознесенной над Городом.

Нас обступал каменный лес пропилей, придуманный в подражание афинскому акрополю. Стволы колоннады в шесть раз превышали человеческий рост.

Следы гигантомахии были видны повсюду. Город-исполиин. Город-призрак.

Но державный призрак шлемоносной воительницы с копьем и щитом, на котором в полный человеческий рост умещалась фигура Ники-победительницы, кажется, навсегда покинул эти места. Пусть Афина сияет золотом и белизной слоновой кости там, под небом своей родины! Тот музей — безопасней.

Образ германской женственности в обход категорическому императиву Унтер-дер-Линден дремал в мутновато-сонных водах Шпрее. Над этими водами, убаюканные прекрасными и страшными снами империи, покоились в саркофагах царственные останки...

Что остается от жизни, когда ее уже нет, когда она кончилась и ВРЕМЕНИ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ, как сказано в Писании?

Может, только песня и остается, только она и будет?

Веселая да удалая, на родном ли, на чужом языке, колыбельная, плачем ли гребальным полная до краев, как бочка после дождя полна живой влагой, небесными слезами-каплями, которые всё капают и капают, а песня всё льется и льется...

## 2

С Татьяной нам не ворожить.

А. П.

Дом, где жила подруга, зиял в этой величественной пустоте, как свежая рана. В последнее время за полным неимением, как у нас говорят, востребованности муж подруги, вторая ее половина, слишком уж часто стал покидать их расхристанное жилище, размалевывая эту падшую крепость авангардизма в кровавые и черные цвета с внешней стороны.

Подруга и охнуть не успела, как влюбилась в своего фиктивного без памяти, да толку-то... Не могла она, как Геракл на квадриге, торжественно въехать в свою собственную Любовь.

— Правда, что у вас теперь можно достать наркотики — в любом количестве и качестве? — Наскоро стряхнув с обеденного стола гору окурков и использованные шприцы, подруга готовилась к приготовлению черного зелья. То есть, попросту говоря, кофе по-турецки. Что всегда было для нас ритуалом, с долгими, иссушающими до дна разговорами, гаданием на темной гуще и всеми вытекающими последствиями.

Увы, я не могла поддержать разговор. Однако важно кивнула. Да, мол, в любом количестве и качестве. У нас теперь есть всё.

— Пакистанский метадон, индийский бупреморфин, тремитилфетоил, — в общем, всяческая синтетика? Или же опиаты, марихуана в желатиновых капсулах из-под лекарств? — не унималась она.

— Откуда ты всё это знаешь? — со слабой надеждой спросила я, и она поняла, правильно увела разговор в другое русло. — Это в моей книге есть такая глава. Сходство опыта после смерти с наркотическим делирием. Совсем не похоже, однако...

Она слегка покосилась на меня.

— Да-да! — Я нервно рассмеялась. — Тут женщина одна позвонила на телевидение, в передачу, и ни больше ни меньше сообщила, что она пережила опыт клинической смерти. Ничего не болело — и на тебе. Говорит, абсолютно не страшно, даже наоборот. Ну про зависание над собственным телом и про трубу ты, конечно, слышала. Только в конце трубы ей знаешь что привиделось? Украинские хатки. Представляешь? Мороз, звезды, снежок летит. Прямо тебе Гоголь, ночь перед Рождеством...

— Черт с неба месяц слямзил. — Она выразилась, конечно, сильнее.

Подруга задумчиво косила в окно. Она выглядела совсем усталой, в кофточке из дыма, с дымным, истаивающим лицом.

— А я так думаю, просто нанюхалась или накололась. Представляешь, хатки!... А роман свой... ты закончила?

Аккуратно разместившись среди окурков, я потягивала кофе. Если учесть, что два года назад, отъезжая с Родины, она увезла четырехсотстраничную рукопись, написанную менее чем за четыре месяца, я, прибегнув к простому действию умножения, слегка поежилась.

— Думаешь, напечатают?

— Ты что! Ждут, как гиены падали. Три издателя и два телепродюсера.

Я была не склонна подозревать подругу в приукрашивании действительности или же, попросту говоря, в прямой лжи — не такой она была человек. Совсем-совсем другой она была человек. Но... пустые облатки, горы чего-то неудобоваримого — опыт потусторонней жизни слишком уж расширился, затягивает он, этот опыт.

— Как же ты все-таки живешь? — Я пошла в атаку, тем более что детки уютнейше устроились перед компьютером, найдя общий язык на почве файлов, сайтов и байтов, а также папок и слэгов. Щека к щеке.

— Когда эта дрянь кончается, приезжает матушка. Хорошо, что они у нас уже есть.

Без всякого перехода она обратила свой взор к мальчикам. Я не очень ее понимала.

— Хорошо...

— Никто нам больше не нужен.

— Никто...

Она развивала какую-то свою тему, и я струсилась, что сейчас последует вопрос. Что-нибудь о моей лично-творческой жизни. Но не такой она была человек, моя подруга. Совсем-совсем другой она была человек.

— Погадать на гуще? — Она опрокинула чашку, несколько капель брызнуло мне в лицо.

Я брезгливо утерлась.

— Тебя это уже не интересует?

— Да нет, почему же?.. — Я, как всегда, темнила.

— Темнишь что-то.— Она так и поняла и вдруг возликовала, даже две свечки зажгла. Прикрепила стеариновыми слезками к грязному блюду.— Больше света!

По комнате сразу тени какие-то пошли, поползли по стенам, по потолку — открылась четырехметровая сводчатая высота. Я так и ахнула. *Ни черта себе, откуда такая кубатура?.. Уколемся?.. Ещё есть... Скоро матушка придет, матушка-голубушка... Ты что, нам, сударыням из СНГ, этого никак нельзя, нам возбраняется. А потом я и так уже... Что так-то?..* Подруга смотрела тяжело, нехорошо. *Хатки, что ли, родные манят?*

— Вроде того.

— Темнишь! Ну а я на антресоли полечу, здесь антресоли классные (другой эпитет)!

...Она спускалась оттуда медленно, слишком медленно, как в рапиде, и страшно-страшно красиво, и сама была такая красивая и страшная, какой я ее никогда раньше не видела. Прямо-таки скользила с огромной высоты вниз по всеобщей лестнице, ни за что не держась, только за воздух, как будто получила окончательное равновесие.

— Ну и как же? Как нам с этим быть?

Она считывала через себя весь мой «текст». При этом ухмылялась.

— Как нам, спрашиваю, быть с этим равновесием?

Она говорила, как пела, вроде я тоже пою вместе с ней. *Равновесие — того и этого, тебя и меня, нас с ними... ты думаешь, я про него, про мужа, я про хатки... Дались ей эти хатки! Я про деток, про деток... Про себя, себя... тебя... Дети — это другие люди, компьютерные, до десятка операций в минуту, а мы только одну и можем операцию — над собой, одной-единственной. Опыт, как сказать, филологического исследования. Или физиологического. Мое «я» вопрошает твое «ты»! Рав-но... А они — мужской мир, мол, мужской мир. Женские ценности какие-то придумали, жди эру Водолея. Но ведь он тоже мужик, этот Водолей. Катаклизм почище нынешнего — женский парламент, женский террор, женское всепрощение, женский банк данных... Не понимают, что оно уже есть — равновесие! Ты и ты... Да-а-а, круто въехала... Кто пишет чувствительнее дам?! Ну кто, догадайся. Разве что иные мужчины! Да нет, это не я сказала, это Михаил Афанасьевич Булгаков, Царствие ему Небесное, вечное равновесие... Слышишь, что ли?.. Но мы тоже ручку приложили — обмороки, трепет, красота всякая. Ты, конечно, так не считаешь... Или считаешь? Что-то я тебя не пойму... Что-что? Талантливый мужчина лучше, чем талантливая женщина? Чище?! Свободнее?! Ну ты даешь. Хорошо, наверное, даешь. Что-то за это имеешь?..*

Я действительно мало что имела. Просто вспоминала. Про уроженку, кстати, немецкого города Штеттина — Августу Фредерику. Писательница и по совместительству русская императрица. Венценосная Мать Отечества, детородные функции русской государственности на себя взяла — словом и делом... *Сносно писала?.. Ну ты и стерва!.. Нет, я — вед, литературу... Имей в виду, женщина — не контекст, а текст. Вся жизнь тобою написается... Это, между прочим, мужик сказал, Державин Гаврила Романович. Поэт, пишет, он из подхалимства не мог... А что он мог? Что хотел, то и мог... Ну, кто о чем, а мертвый о веревке! При чем тут мертвые — все они живые. Веселее надо жить, радостнее, как будто роль твоя еще не написана. Вот Катенька Сумарокова, например, в осьмнадцатом еще веке — писала себе стишки от лица возлюбленного. Молодец! Екатерину Дашкову вообще звали «мужской мундир». Старухой любила сидеть в ночном чепце, как Пиковая дама, в мундире с орденом. Тоже пиитка... Образованность свою хочешь показать? Образовалась, значит... Да, образовалась! А ты — против? Жизнь тебе подавай, голую, как баба. Реализм — и вашим, и нашим... Не шей мне дела, у-мо-ля-ю!.. Ты не шей мне, матушка, красный сарафан. Почему именно красный? Он ведь с красным знаменем цвета одного... Что, передергиваю? А почему бы и нет? Ты ведь рассуждаешь о перемене женской участи, хорошо, что еще не о перемене пола. Ни-ни, подруга! Переодевание в другой костюм, легкий грим, переход из одного географического пространства в другое, а ещё лучше вообще умереть — вот что нам всегда к лицу... Ты следишь за моей мыслью? Что-что, ни одной не заметила? А может, все-*

*таки заметила? Ну да всё равно... Для тебя главное, я вижу, встать на одну доску, рассуждать и писать не ниже их уровня — средне-хорошего мужского. Образум передовой отряд пииток, и они нам за это дадут орден! Один на всех. Занавесим себе лицо ложью, как зеркало в доме покойника... Ну чего ты, чего, никто ведь еще не умер, откуда такой пессимизм, наследие коммунизма?.. Кто о чем, а ты о своем... А о чем же? О чем?..*

**ОБ ОДУХО... О ХУДО... ОХУДОТВО... ОДУХОТВО...**

Я тоже начала хорошеть и возноситься — пьяна по мнению, что ли. И вообще в жизни бывают случаи, когда, как говорится в бессмертной комедии Гоголя «Женитьба», надо хоть что-то сказать (женитьба тут тоже окажется кстати, в нашем сюжете, вот вы увидите).

*Духо... Худо... Художество — любое, женское либо мужское, не вырабатывается, как секрция... Духо!.. Оно начинается с отказа и запрета на все личное, на пол в том числе... А на потолок? Смейся, смейся, я тебе врать не мешала. Женская песнь, да! Но насыщающая и телом, и духом, а не голой плотью — принцип всего нашего шоу-бизнеса и шоу-литературы. Нет ничего ужаснее этой товарно-денежной, как труп распухающей, как вечный хлеб, разрастающейся человеческой плоти. Сейчас главное — не сказать или написать, а НЕ СКАЗАТЬ, НЕ НАПИСАТЬ. Пусть будет живым, невоспетым!..*

**БРАВО! БРАВО! ОНИ УЖЕ ПРОТИВ ШОУ-БИЗНЕСА!**

Нам аплодировали. На полном серьезе. На достигнутых нами высотах мы слышали не хлопанье крыльев, а самые настоящие аплодисменты.

Правда, я еще раньше, до аплодисментов почувствовала, как в наш разговор что-то вливается. Какая-то тишина. Или чье-то молчание. А это, оказывается, он, фиктивный муж, слушал и молчал. Но молчал на другом, не на нашем языке. Всё время был там, на антресолях (но ведь подруга там тоже была!).

Я видела его мельком, на заре туманной. Теперь же вид его поразил меня как в романах, только хуже. Много лет назад это был мрачно-сексапильный авангардист с большой Биографией — начиная с заляпанных краской и спермой мастерских до исправительно-трудового учреждения, где, исправляясь, плели стране миллионы метров пеньковой веревки.

Ныне он являл собой настоящее соцартовское зрелище. Уже не человек, а как бы памятник. Несколько даже похожий на русского Свифта, дедушку Крылова. Только тот у себя на Патриарших сидит, а этот по чужим стенам лазает. Как это у него, интересно, получается при такой комплекции?.. Ну просто БЕРЛИНСКАЯ СТЕНА... Только та рухнула, а ты-то еще жив... Мне вдруг стало чертовски любопытно.

— А почему свечки только две? — Он даже не поздоровался с соотечественницей. И на чугунных ногах неожиданно легко придвинулся к столу. Ловко зажег третьи пламя. — Два — число плохое, нечистое. Нужен третий.

Тоже мне мистик, мелькнуло у меня, вместе с проблеском чего-то другого, непонятного. Но, как это ни странно, совпадающего и с этой третьей свечкой, и с темной пещерой антресоли, и с двумя детскими головками, обведенными свечением экрана.

Дышать вдруг стало легко.

— Ну вот и ты! — страшно фальшиво сказала подруга. — Всё отлично. Мы приглашаем тебя на свадьбу.

— Это кого же с кем? — Он слегка ошалел.

— Нас с тобой!

— Обоих сразу? — Он еще больше изумился. Наверное, был гораздо проще, чем казался. Дышать опять стало трудно.

Подруга недоуменно вскинула брови. Как бы позабыв, что, кроме нее и этой разросшейся мужской субстанции, тут еще кто-то имеется. Ни черта себе, обидно шевельнулось во мне, женская литература, женская судьба, близнецы-братья — и все до первого мужика. Да и не жених он ей! И никогда им не был. И не будет...

— Пойду готовить плов, а то скоро матушка возникнет, — каким-то безразличным голосом объявила подруга и, прижав к груди ободранный чан с Родины, отправилась на кухню. С ее стороны это был смелый ход. Знала, что я не смогу воспользоваться ее отсутствием. Она-то знала, а я пока нет...

— Ну, как там на Родине с большой буквы? — спрашивает. — Всё так же?  
— Нет, отчего же? — светски отвечаю. — Много перемен. А ты вообще-то помнишь, как было раньше? Или вряд ли?

— Отчего же? — говорит. — Помню. Хотя и вряд ли.

— Главное сейчас — к кому правильно примкнуть, — продолжаю я врать. — К одному из имеющихся блоков.

— А сколько их, имеющихся?

— Кажется, три. Три дороги, как в песне... А ты почему — здесь?

— А меня здесь никто не знает. А ты почему — там?

— Меня там знают все.

Конечно же, это было чистое вранье. Он посмотрел на меня так, будто в первый раз видел. Я тоже подошла поближе, будто в этой массе что-то можно было разглядеть.

— Ну и?

— Что — и?

— Примкнула?

— Выбираю.

— Всё еще выбираешь? — Он вдруг развеселился. — Ну-ну, как выберешь, приезжай снова.

— А я уже. Приехала.

Он смотрел на меня, как на полную дуру с Родины, во все глаза.

— Мне, может, к тебе примкнуть охота, — говорю я вдруг.

В это время отчетливо завозились дети.

— Да как-то неудобно, смотрят же.

— Они в компьютер смотрят.

Дети действительно с головой погрузились в свою чудо-технику, а подруга в свой чудо-чан. А я что-то окончательно осмелела, одна-одинешенька в своей смелости. Жарко мне вдруг стало и холодно — одновременно. И душно, и очень-очень смешно, как будто я, совсем маленькая, с горки вниз лечу. Нет, мы оба — два дитяти, по одной горке, одежда развеивается, сейчас ее всю ветром сдует. И лицо такое луноликое, плоское — чье? Мое или его? Мы одним лицом в один ветер впечатываемся — две плоские половинки луны...

— Мама! Мама! — Он кричал неожиданно детским голосом. — Чего она от меня хочет, мамочка? Иди сюда!

Подруга с чаном ввалилась и сразу, конечно, все поняла. Но вида не подавала, наверное, считает, что мы с ней уже давно одно целое, близнецы-братья, братья и сестры...

Самое интересное, что всё это уже когда-то с нами было, в прошлой московской жизни. Однако она все-таки удивилась, я видела. Свечи, льдом подернутые, жгущие сквозь ледяную корку, — вот такими стали ее глазищи. Понимаешь, заобъясняя я, акт искусства начинается с того, что художник созерцает вокруг себя множество демонов, то есть личин, которые принадлежат другому человеку. Он страдает и говорит: это демон мой, — и берет его на себя, чтобы освободить другого. Ты слышишь, этот демон — мой. *Нет! Он мой! Мой!!!* Подруга закричала, как сумасшедшая. Хлопнула чан с пловом прямо на стол, так что посуда посыпалась. Потекла бурая кофейная жижа.

— А дальше-то что? — спросила я невпопад, как будто что-то уже произошло. Будто с нами что-то могло быть, какой-то сюжет.

— Я же сказала. Дальше будет свадьба! — отбрила меня подруга.

— Моя? — продолжала я нахальничать.

— Нет, моя! — Она твердо стояла на своем.

— Я тебя уважаю, — пошутила я.

— Я тоже тебя уважаю. — Она смотрела вполне серьезно.

— Но я тебя люблю, — настаивала я.

— Я тоже тебя люблю.

— Тоже? Значит, мы все тоже друг друга — любим?

— Нет, не все, — слабо возразил муж.

— Как это не все? — вскинулись мы обе. — Уж все, так все, а никто, так никто.

— Нет! — уже более твердо сказал он.

— Нет?! — Подруга зашлась от возмущения. Мне её даже чуть-чуть жалко стало.— И это ты при детях?

— Но это не мои дети, мамочка.— Он совсем растерялся. Что-то уж слишком часто теряется, брезгливо подметила я. Мне вдруг стало ужасно скучно. Как будто никому из нас больше никогда не выйти из этой комнаты.

Но вдруг, слава Богу! Двери распахнулись (оказывается, тут множество дверей, даже наверху, на антресолях), они все как-то единоразово раскрылись — и вперились друг в друга чернотой проемов.

— Матушка! Матушка приехала!

В дверях стояла женщина-колобок, вся увешанная свертками и сверточками, авоськами и коробочками. Да еще под одеждой что-то намотано-набинтовано. Словно по морозу долго гулять собралась.

— Матушка-голубушка...— запела подруга.— Наша мама пришла, молочка принесла...

— Принесла, доча, и молочка, и творожку, и снежку.— Колобок нехотя стал разбинтовываться.

— С Рождеством, деточки!

— Ты что, маманя, какое тебе Рождество? — удивилась подруга.— Мы все двадцать пятого справляем, весь цивилизованный мир. А сегодня, кажись, седьмое.

Матушка сокрушенно качала головой, ручками всплескивала. Все ты, мол, доченька, забыла-запаятовала.

— Детки мои! Детки.— Прижала она головы обоих мальчиков к своей разбинтованной груди. Что мальчиков двое, ее нисколько не удивило.— Ваша баба приехала! Сейчас баба пойдет помоеся. Где тут у вас условия?

— Что ты, мама, ваньку валяешь, в первый раз, что ли? Только свечку возьми, в ванной нет света,— посоветовала дочка, внимательно разглядывая свертки.

— Да куда ж он, свет-то, подевался? Всегда был — и вдруг нету? И окошко разбито...— Новоприбывшая кротко взяла свечку и пошла себе. Вскоре из ванной замелькал огонек, послышался шум бегущей воды.

За окошками между тем творилось такое, что даже обитатели комнаты под сводами, занятые собой, не могли не заметить.

Все небо расцвело крупными звездами, и в то же время лепил снег, мокрый и редкий. Он как-то поменял всю оптику пространства, обдышал стекла, и в близорукие окна теперь можно было смотреть насквозь, как в телескоп. Только этот телескоп был обращен зияющими отверстиями в обе стороны, туда и сюда одновременно. Сквозь подлунные очи в земные словно проникал чей-то взгляд, ища следы невидимого астронома, умеющего там, в вышине, вычислить своего близнеца — другую звезду.

Но тут, в комнате, пламя свечей по-своему распорядилось клочками пространства. Хлопья снега, ворвавшись с улицы, делались золотыми, потом темно-синими, потом совсем темными, летели вразброд и врозь и наконец гибли на лицах людей.

В ванной уже горела не одна, а множество свечек, слышался отчетливый материнский шепот... Иди сюда, доченька, иди! Завернувшись в белую простыню, мать звала, манила. И подруга, босая, сбросив одежду, пошла к ней и встала у самого края воды.

Мать ладошкой подчерпывала воду и каплями лила ее на голову дочери — умойся, деточка, омойся... И сыпался, сыпался снежок...

Отфыркиваясь, подруга явилась из ванной, чем-то страшно довольная. И сразу же принялась руководить детьми. Но те, похоже, и сами знали, как им жить. Визжа и толкаясь, ворвались к бабе, брызгались водой, дули на языки пламени. Потом опомнились, вернулись к светящемуся экрану и стали навестывать упущенное. Они никуда не боялись опоздать и поэтому никогда не опаздывали.

Мой малолетка явно пытался вспомнить уроки Воскресной школы. Его друг тем временем смело проник в Интернет.

— Сайт один. Величаем тебя, жизнедарче Христе! Плоть Небесная и Пречистой Девы. Первый блок. Одна из важнейших частей Всенощной в рождест-



венскую ночь — это полиелей. Множество светильников зажжено. Горят лампы, заправленные маслом. Полиелей — многомаслие...

— Сайт два. В Сургуте открылся новый храм, деньги пожертвовали новые русские меценаты. Мэр города говорит им всем спасибо. Дорога в будущее лежит через Веру, Надежду и Любовь. Спасибо вам, новые русские люди! Всякое дыхание да хвалит Господа!

— И положил Бог предел всем тварям, и положил он им изменение для природы их. И сотворил для человека другую тварь, чтобы он состязался с ней в свободе...

Наша взрослая троица даже притихла, вперившись слухом в этот неожиданный детский антифон.

Один — ВАСИЛИЙ, другой — АРТЕМИЙ. Вместе АРТ — ВАС.

ВАС. Слава Тебе, показавшему нам Свет!

АРТ. Две природы Иисуса Христа — это две свечи. Три свечи — Святая Троица.

ВАС. Файл Рождество. В Элисте, столице Калмыкии, хорошо относятся ко всем конфессиям, в том числе и к православной. Верующие Элисты сегодня рапортуют верующим всей Руси. Сам Президент принимает участие, он говорит: слава в вышних Богу, на земле мир, а в человецех благоволение.

АРТ. Божественная Литургия корнями своими восходит к Тайной вечере, о которой упоминается в Евангелии. Начальные слова Литургии, как и многие элементы церковной службы, взяты из Писания. Ектенья — великое моление. Простить все вольные и невольные прегрешения. И на все моления хор отвечает: Господи, помилуй!

ВАС. Помилуй, Господи! Плавающих, путешествующих, страждущих, умерших, во всякой скорби находящихся. Помилуй!..

АРТ. Приди, сила благодатная с высоты, придите, милости совершенные, приди, мать семи домов, чей приют в доме восьмом, приди, посланец согласия!..

Снегопад иссяк, и за окнами теперь плавал неверный утренний свет. Детская Всенощная шла на убыль. Лица мальчиков были белее снега и светлее этого утра. День еще не разгорелся. Лишь компьютер слабо мерцал, устав выдавать нужную информацию.

Они так и заснули, обнявшись, под рождественское пение Интернета. Взрослые тоже устали, и им было не до детей.

Муж раскинулся на стуле, и ноги его были похожи на белые колонны — он так и не вспомнил в эту ночь о своих красках и баллончиках.

Женщины, сидя рядышком, о чем-то шептались, порой доходя до вскрика. Они не спали ни минуты, но по временам как будто впадали в какое-то сонное забытье.

Их сон был зыбок, как и сама жизнь, но так же требовал о себе немедленного рассказа. И каждая рассказывала — будто ставила перед другой зеркало в виде смутного, стекленеющего на бегу времени, на самом дне которого что-то было. Может, это ее бог жил там, на дне сновидения, а может, она сама, но другая, не такая, как всегда.

### *Первый женский сон*

Ей снилось, что она читает знакомую книгу — чьих-то странствий. Она хорошо знала ее название, но вдруг начисто забыла и не могла вспомнить. Упала в чужой сон, читала чужое письмо, проговаривала чужие слова.

Она была — там. Но слух ей точно отключили, оставив только зрение. И была она — ГЛУХОЙ АНГЕЛ.

Говорят, правда, вначале ей вкатили укол — поздние роды все-таки. Так что последующее уже происходило в состоянии, так сказать, наркотического делириума. Все равно — СВОБОДА. Так назывался кинотеатр, возле которого она жила в детстве. Вот туда-то она и стала просачиваться, через каждую букву в отдельности. И вот теперь она и есть эта самая СВБД — буквы всегда западали, гасли — и летит куда-то, мерцая и светясь.

Сначала ее держали руки в резиновых перчатках, не пускали. И вдруг она увидела прозрачно-светлое небо над дремлющей рекой, и по ней далеко-далеко

разносится песня. И вод веселое стекло — хочешь смотри, отражаясь, хочешь гадай...

а потом, сразу — адриатические волны. Брента. Чей-то волшебный глас. Он пел на языке любви, и этот язык был тайной. Вольный бег под ризой бурь...

Еще там была бурная череда волн, готовая лечь к ее ногам журчанье тихого ручья и стадо диких уток над озером река в деревне — вдруг засеребрившийся поток. И бегущие, текущие без ответа дни.

Потом все воды стали подергиваться тонкой, ломкой пленкой — застыли и кто-то писал пальчиком на отуманенном стекле, скользя по нему, как по зеркалу воды, заветный вензель

кто-то садился в ванну со льдом. И все покрывалось льдом, погружалось в зимний сон, — серебрилось, блистало, отражалось и отражало. Живая влага сохранялась лишь во вздохе, в выходе, в чьем-то живом дыхании, в непролитых слезах, которыми был полон томный взор. Да в волшебной струе шампанского, открытого уверенной мужской рукой.

И вот все эти реки, речушки, ручейки, моря-океаны образовали общую кровеносную систему, единый организм, течение. И ее стало уносить это течение, все дальше и дальше. По земле так не ходят, только во сне, по водам, по стеклу...

Книга уносила ее в иную, мощную реку под названием Лета. В таинственную гондолу. В омут жизни, где морозы трещат, как дрова в огне, и серебрятся среди полей, как та же Лета, как летом серебрился поток... и к этим морозам есть рифма розы, с живой, незамерзшей каплей влаги. Есть Женщина-Роза, вироза, тоже все в себе отражающая, как в зеркале вод.

Вода-память, кусок дремлющего стекла, зеркало, наведенное на месяц — глаза ее бежали по знакомым строчкам

Светил небесных дивный хор  
Течет так тихо, так согласно

она оказывалась перед шумящей пучиной. Вязкая, незастывшая, клубящаяся стихия подступала прямо к ней. Кипучий, темный и седой поток, не скованный зимой. Она проваливалась в него по колено, по грудь, вся... вся.

Что дальше стало — с книгой, с ней самой?

Кровь, дымясь, вытекала из раны на снег...

Было воспоминание о саде над светлой, безымянной рекой.

Был город, где нету в вод — и ничего там не отражается. Свет пустой...

И некто, являющийся с корабля на бал...

И дождь страстей...

И врачи, хором отсылающие влюбленного героя к водам...

И грязно тающий снег...

И наконец — берег, к которому, так никуда и не доплыв, причаливают герои романа.

«Поздравим друг друга с берегом».

Книга написана, но не дочитана — читается, течет, ускользает, обрывается, делая невозможной любую развязку.

Развязка? Какая?..

Но ее уже будили, хлопая по щекам, и она летела обратно, вниз, по детской горке, на горящих ягодицах, и шлепалась об землю, о маленькое человеческое тело. Младенца шлепнули ей на грудь, как розу. Смотри, сын! Она вдруг снова стала слышать. Детский крик. Команды врачей. Звук хирургических инструментов — по стеклу, по металлу...

### *Второй женский сон*

Что для меня имеет в твоём «литературном» сне хоть какое-то значение — это вовсе не какой-то там роман, а твоя собственная боязнь и жажда развязки. Важно, что ты в конце концов падаешь на детскую площадку. Это значит, что для тебя главное — правильно вернуться из сна. Умеешь устраиваться... Глухой ангел, вот-вот.

К тому же еще и слепой. Не разглядела, кто руку-то тебе там, во сне, протягивал? Две жердочки, перекинутые через поток, обледенелый мосток, гибельный, и перед ним дрожачая женская фигура. Но чье, думаешь, у нее лицо? Твое? Протягивается лапа с острыми когтями — думаешь, к тебе? Но ты же не дашь свою руку. А я дам. И он перетаскивает меня через ручей. Дальше я иду без тебя. А снег не дает идти, облепляет по колено, по грудь. Медведь несет меня на спине, и я почему-то знаю, что это ОН. Тот, кто ждет нас ТАМ. Германия убер аллес. Мать плюс сын минус отец. И вроде мы нечестно хотим туда прорваться под видом беженцев. Вокруг разные звери появляются, в лесу же, все смотрят на меня. А мне так неловко и стыдно у него на спине — я же думала, наша любовь будет тайной и вечной, а она на глазах у всех, почему нам не дают визу, дайте немедленно... Отпустите! И он немедленно отпускает меня и ставит меня перед собой — лицо к лицу, или что там у него такое. Целуй! А мне все равно хорошо. Лучше быть не может. И я целую — в глаза, в косматую шею, сколько угодно могу, потому что это вечность. Я с ним прощаюсь. Не хочу такой вечности — прощаться! Хочу проснуться! Хочу! И я прошьюсь, мне это ничего не стоит. Проснувшись же, теряю все. Проснулась и знаю: а ведь я точно его любила. Точно... Пустой сон. Вот и матушка сейчас скажет, что пустой...

### *Третий женский сон*

И скажу, да еще и песенку спою тебе, в твоей пустоте, джан моя, джан... Люль-люль, дар-дар, топ-топ, клек-клеп... Не знаю, как легла, как заснула — за несколько суток впервые. И снится мне мама. Но не она сама, живая, а словно весть о ней. Будто она умерла — а она действительно умерла, Царство ей Небесное, я с тобой в это время была, здесь, с ангелом романс на пианино разучивала — матушка-голубушка, солнышко мое! Хотела, чтобы дитя ей когда-нибудь сыграло. Не о себе думала, когда пальчики детские ставила, о ней, о матушке. Это она солнышко, она голубушка. Словами песни, детскими пальчиками откупиться желала. Не дождалась меня моя матушка. Хоронили ее уже на девятый день, когда я вернулась. Народу множество собралось, все мамины подруги, не захотевшие убежать из родных мест, хоть и горячо у нас стало и страшно. Дети в военной форме, старики, женщины погибшие... А я расстаться с ней никак не могу, все руки ей целую: зачем ты это сделала, глупенькая моя девочка? Старухи же говорят: целуй, целуй мамины руки, столько добра сотворившие! А потом все сожгли — мамины руки, мамины волосы, платье мамино. Она так хотела, чтоб сожгли. Пришла я домой — ничегошеньки, даже костей в земле. Стала искать, шарить — хоть бы ноготочек, хоть волосочек. И натыкаюсь тут на старый-старый, как и она сама, халат. И собрала я на нем мамины волоски, тоненькие такие, почти невесомые. Теперь они у меня в железном сердечке висят, над зеркалом. Там вся жизнь моя предо мной проходит, как сон... Только я тебе другой сон рассказываю. А он состоит в том, что от мамы мне идет сообщение. Не голосом, а как-то по-другому. Что с ней после смерти случилось? Узнаю я, что родила она двойню, двух мальчиков-близнецов. Один в колясочке двухместной лежит, а другой уже почему-то рядом с ним стоит на ножках. А лица у обоих — взрослые. Даже имена мне их известны, только я их позабыла, когда проснулась. А сама думаю: как же так все быстро произошло? Не успели они с папой встретиться... Неужели же действительно?.. Да это ж чудо настоящее! Только как я могла позабыть имена? Не будут ли они теперь мне мстить, не казнят ли свою сестру? Потом только поняла: казнь — это другое. Это мамины волоски в железном сердечке... А подруги говорят — не к добру сон. Близнецы вообще всегда не к добру. Лучше будет, если один из них умрет и унесет с собой несчастье другого. Если же оба выживут, ни в коем случае нельзя допустить, чтоб один был на свадьбе у другого. Разруби, говорят, пополам монету и одну половину закопай — тогда обязательно кто-то умрет. На похоронах же не плачь, а возьми и скажи: я тебе желтый цветок, а ты мне белый свет! И брось цветок в землю, пусть отныне он будет тому братом... Пусть он будет тебе братом... Я беру и бросаю... Это тоже — во сне было.

Посуди сама, как бы я могла решить, кому из них жить, кому умирать? Пускай все живут, доченька, джан, слышишь, все! Говорили, будут бомбить только

военные объекты, а вышло по-другому. Ведь у них нет глаз, у ракет-то, и крыльев у них нет, хоть и называются крылатые. Какие уж тут крылья! Сначала плывет черный дым, потом белый, так они друг за дружкой и стелются. Дети собираются в одну толпу и бросают в этот черно-белый туман — кто яички, кто кетчуп красный... Защитим родное отечество! А волосы в зеленый и синий цвет себе выкрасили, зверьки маленькие. Почему ж ваше отечество вас не защитит? Они и слушать не хотят — будто кто их за собой тащит, какая-то лапа с острыми когтями. И идут они, ряженные, в пятнистой одежде, с одинаковыми лицами, близнецы, братья, на самый край, где гибельный мосток, к незамерзающему потоку, седому и темному... И это самый последний мой сон, с тех пор мне ничего уже больше не снится.

## 3

То не песня, нет, летит по небу,  
То печальный глас об нем носится...

В городе так и не рассвело.

По улицам кружила метель из мелкого снега и слабого, рассеянного света. Она висела в воздухе, покачиваясь и вспухая влагой.

Какие-то сумасшедшие, должно быть, приехавшие русские, пускали в небо самодельные шутихи, и они разрывали снежную завесу хвостатыми кометами — салют!

Волчицей выла чья-то вспугнутая машина.

В комнате намело. Белые холмики лежали повсюду — на столе, на стульях, на лицах сидящих. С антресолей сыпало слипшимися серыми хлопьями. Могучий торс мужа тоже припорошило, прихватило морозцем. Но женщины не спешили смахнуть снег, как вчерашнюю пыль. Настроение, зародившееся под утро, охватывало их все сильнее и сильнее.

И вдруг вся комната словно вспыхнула. Стало заметно, что двери и дверные косяки, зеркала, валявшаяся обувь, монеты, черепки — все было раскрашено самыми яркими красками. Наверное, это фиктивныйенький муж, устав кормить цветом городское пространство, принялся за наше жилище.

Дети спали прямо на полу, бережно укрытые, забросанные каким-то мягким тряпьем.

— Что, съела? — Подруга кивнула на заснеженного мужа.

— Съесть-то она съест, да кто ж ей даст? — невольно отшутилась я. Не хотелось ломать настроение.— А когда же твоя свадьба? Или откладывается до выяснения?

— Яволь! — Подруга, расхохотавшись, быстрехонько вскочила, накинула на себя что-то вроде покрывала (муж не успел раскрасить).— Услышим же звуки труб и органов и громкое пение! Войдем в брачный чертог!

Я тоже рассмеялась — хоть и накинула ты, подруга, на себя белое покрывало, под белым лица своего не скроешь!

— Бодливой корове Бог рогов не дает.— Она так посмотрела на меня из-под своего покрывала, словно ее никто тут не знал, партизанку, я одна знала и могла выдать врагу.

Хорошо же ты тут пела и плясала без меня, маленькая лгунья. Мы пристально смотрели друг на друга, будто любовались своим отражением, дочери одной лжи. Мы были знакомы сто, тысячу лет, она даже когда-то предсказала мне рождение сына. Ну и что? Просто теперь на ней белый покров, а на мне — нет. Просто я больше не стыжусь, перестала стыдиться.

— Покров разврата сдернут? — Она отвела глаза.

Это положительно стало невыносимым, опять считать мои мысли. Откуда она вообще могла знать — что я думаю о той давней истории? «Покров разврата!» Каково?

Для тех, кто считать не умеет, поясню. Была сто лет в обед некая женская история, маленький такой романтический треугольник. Он, я и она. Она.

Он. Я. Вроде как Татьяна, Онегин и, скажем, Ольга. Теперь уже за давностью лет не разберешь. Ну предали тебя тогда, продали, вытерли ноги, весь вечер танцевали на балу, шепчась и хихикая. Но крови на снегу не было. Дуэли не было (интересно, кого с кем?). Да и важного генерала, по совести говоря, тоже потому не нашлось, разве что еще один Онегин или два... Я даже не знаю, была ли любовь и куда она затем исчезла? И исчезла ли?

— Прости, подруга! — Она вдруг закатила глаза, будто комедию ломала. — Я знаю, ты приехала меня спасти. Ты всегда хотела — спасти. Если заболел, то лекарства, дыхательная гимнастика, средство от целлюлита. Жить негде — пожалуйста, живи. Хоть с сыночком, хоть с чертом. Только чистоту соблюдай. Да и чистоты не надо, сама придешь и все вылижешь. Ты ведь чистюля. Потом убежишь, а я в твою чистоту пару раз плюну — сразу легче делается. И на все-то у тебя совет, всегда-то ты добрая. Только все знание твое, чтобы получить к себе привязать. Доброта, чтобы удивить до смерти. Даже красота твоя не сама по себе, а для другого, чтоб получше привязать и спасти. Ты палочка-выручалочка, путеводная звезда, вешалка... Но больше у тебя не выйдет. Меня ты больше не спасешь. Оставайся одна.

— Я и так одна. Мы обе одни. — Я пыталась ее образумить. Но она явно не желала.

— Да, ты одна. Что теперь делать будешь?

— В парламент баллотироваться! Надо же ребенка кормить. У меня же мамы нету.

— Ты, значит, опять там очень нужная? Просто необходимая?.. А я? Я?!

.....

.....

Матушка-голубушка наконец закончила разбирать свои свертки и, прямая и гордая, как черная птица, примостилась к столу. Ей хотелось поговорить, а с кем же и поговоришь, как не с дочерью? *Ах, детки, детки... Сами вы не ведаете, что творите. Но знайте же, конец всяких детей — печален, потому что у них будут свои дети. И каждый будет наказан уцербом детей своих. Из-за детей вы сами превратитесь и в грабителей, и в притеснителей, и в угнетателей. Множество детей — причина множества болей и скорбей. С вами же постоянно что-то случается! То болезнь, то школа, то война, то демон злости вас захватывает. И всеми, всеми этими сквернами мучаются ваши родители. Через вас мучаются! Даже если им самим скверны удалось избежать. Так будьте же непогрешимы, чисты, безгорестны, и тогда вы войдете куда хотите — хоть в брачный чертог, хоть куда!..*

— Все это совершенно лишнее, мама! — отрезала дочь. — Сын за отца не отвечает, а мать за сына или дочь. Возишь снежок — и вози себе, а свои саночки я уж сама повезу.

— Ты еще про хатки вспомни. — Я вдруг уловила ужасную фальшь в словесных выпадах подруги. Вроде она опять кого-то (не меня ли?) передразнивала. «Бодливая корова!»! «Саночки!»! А то все про жизнь после смерти, конца и края не видно. Так ведь и переутомиться недолго, перенапрячь своих ангелов-хранителей... — Ведь тебя в этой жизни после смерти долго никто терпеть не будет. Даже твоя собственная мать, не говоря уж о нем, о муже... А я вот — буду. Терпеть. Потому что я добрая и красивая, ты это правильно говоришь. За это я подарю тебе еще одну присказку, может, пригодится. Пойду в хатку — хатка немая, гукнусь в хатку — хатка глухая. Не войти тебе больше в ту хатку, ни за что не войти!..

И тогда она подошла ко мне, подняла руку и ударила по лицу — подняла и бьет.

Я же взглянула на нее, в первый раз за все это время прямо взглянула, и говорю торжественными, не своими словами, где-то я их определенно слышала. *Бог мой простит тебе это в том мире, который придет. Но в этом мире он явит разные чудеса той руке, которая меня ударила. Скоро я увижу, как раздерут тебя на куски, и зверь потащит твою руку.*

Она как стояла, так и села.

Тут и муж начал подавать признаки жизни, не до конца его, значит, подморозило. Вроде вообще не спал, за нами наблюдал. Интересно ему было, так ин-

тересно, что даже малевать не пошел. Он в основном красными и черными баллончиками рисовал, разные там кружочки, треугольнички, крестики. А в это утро жители города были лишены чудеснейшей рождественской росписи — не стоялось в это утро чуда!

Вообще-то действительно красиво, я видела. Вроде посланий от одного дома другому. Он как бы из своей прежней жизни ничего не помнит и заново хочет сориентироваться в пространстве — потому и малюет. Но нам тоже ничего невозможно запомнить. Вроде как только перестанешь всматриваться в его художество — оно сразу возьмет и исчезнет, вместе с домом, вместе с городом...

Правильно, говорит, рассуждаешь. Потому что это не я смешиваю краски, а твое собственное зрение. Ничего, мол, твоему зрению предшествовать не должно, никакой посторонний опыт.

А оставаться, смеюсь, что — тоже ничего не должно? Мой зрачок, он что — гробик, саркофаг такой маленький?

Да, радуется, как ты угадала! А город этот — огромный саркофаг. Смерть в смерти.

Это что же за принцип искусства такой, спрашиваю, смертельный? А где же связь старого и нового, обветшалых форм с молодым содержанием жизни? С кем вы, мастера культуры?!

Больше уже не радуется, не смеется. Все, говорит, и старое и новое сидит в нас самих, во мне. И принцип тут один — вишу в воздухе между небом и землей в городе, которого нет...

А Берлин, между прочим, красив, все равно чертовски, дьявольски красив! Особенно плоскости его, не покрашенные ни старыми домами, ни новыми деревьями... Иногда ему кажется, что он все-таки может сойти с ума. Какие-то тучи по небу носятся, и мрак ужасный, а сквозь него — что-то вроде света. Какие-то ранние лучи из детства, когда ты еще не проснулся, но точно знаешь, что уже рассвело и день будет стоять долго-долго. И тело, которое было смято, подавлено, вдруг молодеет, и его начинает куда-то нести. Тогда он и лезет на стену, рисует — это ребенок, кровь детей в нем играет. Только дети и могут сделать новую старую игрушку — жизнь. Но взрослые играть запретят, игрушку отнимут...

На секунду я это увидела — ребенка в нем; быстро выглянул из узких прозрачных глаз, полоснул по сердцу, и нет его. Горячие капли с лица смахнула и спрашиваю:

— Ты что, жалеешь о чем-нибудь?

Смотрит как на безумную.

— Ты с кем вообще все время беседуешь? Со мной?

— Считай, что я под наркозом беседую. Например, с Александром Блоком. Да, это который Двенадцать. И ни с какой ЧК он не сотрудничал, не шей, пожалуйста, дела! Это называлось Чрезвычайная Комиссия Временного правительства. Когда царских министров допрашивали, он редактировал записи. Да, редактор! А сам писал, что сердце его обливается слезами жалости ко всем, ко всему. Что никого судить нельзя. Больше, больше слез — душа очистится! Но он не плакал, не мог. Странная сонливость сковывала его, как мороз, такая, что даже век поднять не мог. Пан-Мороз! Зачем ты бродишь по городу, пьешь его воздух, висишь среди коринфских полуколонн, позабыв о чувстве разумной меры, о золотой середине жизни? И ничего, ничего, кроме белоснежного сияния песчаника и асбеста, ничего, кроме снега... Пан-Мороз! Пан-Мороз!

— Забудь, — говорю, — все, что я тебе тут наплела.

— Забыли! Всё забыли!

Это подруга встряла, мы про нее правда позабыли начисто. А она уже и не говорит, а заговаривается — ахтунг, ахтунг! И сама, как фурия, в своем покрывале, только не кровь изо рта капает, а кофейная жижа.

И вдруг мне так жаль ее стало, так жаль... жальче, чем себя, ей-богу!

Вот, говорю, бери его. Совсем бери. Не надо мне его и ничего не надо. И того, кого ты у меня украла, — тоже бери. Я от всего отказываюсь. И не врала я тогда, не врала, нет — так и думала... А она знай свое:

— Медведь! Медведь!

Тут детки под тряпьем зашевелились. Проснулись и смотрят на нас, два маленьких *геймера*.

— Где медведь, мама, где? Это что, квест такой с элементами экшена?

— Это жанр «дерилиум тремс».

— Непопулярно. Только квест с элементами экшена обеспечивает кайф, риалтаймовые тени и трехмерный свет.

— Пан-Мороз! Пан-Мороз!

— Пусто на адвенчурном горизонте. Жанр стратегий потерял свою былую свежесть. Поняла, подруга?

— Ты с кем это разговариваешь? Ты все-таки с матерью разговариваешь, Иван, не помнящий родства!

— Кричать нехорошо. Мы еще дети, нам скоро в армию. У нас мощная оперативная память — гигабайты. Мы помним все! АРТ плюс ВАС — это будет САВТРА наоборот.

— Завтра нет и не будет.

— В путь, в путь, в путь! А для тебя, родная, есть почта полевая. Прощай, труба зовет!..

— Завтра нет и не будет...

Нет, не вдали мы больше, и он это почувствовал. Просто взяли и изгнали его из нашей жизни.

И тогда он встал на подоконник и, как был, всей своей каменной массой хлопнулся вниз. Мы так и ахнули!

Высота, правда, была небольшая, но все-таки. Тут недавно кот разбился, коты не могут на такой высоте вывернуться всем телом — и бьются. А он — вывернулся.

Мягко так приземлился и заковылял на своих перебитых колоннах по длинной темной улице, со всех сторон заставленной домами. Даже неба не видно. Ничего не видно из-за слез. Плачь, сердце, плачь! Тяни свои серебряные нити. Хорошо было Александру Блоку в его серебряном — долго всматриваться... зеленая звезда, померкшее золото империи, лазурь. Плачь, сердце, обливайся слезами жалости ко всему! Рвутся наши нити, и я даже слышу этот звон — легкий, доселе не слышанный...

Только зачем же в окно? Можно было и в дверь. Никто ведь не держал. Нет, не вру! Не женская это история, а черт знает какая. Даже матушка не выдержала. Руками по воздуху завозила, будто плывет, вскрикнула тоненько — иголкой душу прошила.

Потом стала свертки свои собирать, вновь на себя наворачивать. Снова — на мороз.

И почему-то этот мороз сразу почувствовала щекой, будто покойник рядом. И какие-то белые цветы у меня в груди замерзли и осыпались, целый куст роз.

Видно, пришло время утраты. Простимся. Все с нами уже случилось, все произошло. Вся жизнь пропета и свернута — в белый свиток ненаписанного романа.

.....  
И было лето, белый-белый жар раскаленного асфальта. Взрыв белизны.

По свежевывымытым улицам города, на которых и следа не осталось от ночного чада баров и гаштеттов, пронеслось чье-то молодое дыхание. Как будто, разорвав пелену, на минуту выпростался из-за туч он, великий Блинец, чей образ разыгрывается каждый год в трогаящих душу рождественских декорациях, в факельных шествиях тысячи тысяч атомов какого-то пестрого, патлатого, оранжево-синего, насквозь протатуированного жаром и весельем тела, проросшего компьютерной зеленью и черными бляшками глаз.

Шествие!

Длинная, змей извивающаяся процессия, изнемогая от жары и обливаясь первозданным потом, медленно ползет по городу к Бранденбургским воротам. Над разгоряченными головами плывут огромные огненные подсолнухи — тысячи солнц.

Дево-мужественный Парад Любви, ставшее традиционным увеселение берлинских жителей.

Во время шествия можно искупаться во всех городских фонтанах, прямо на глаза у почтеннейшей публики подребезжать всеми частями своего совершенно обнаженного тела, озонируя воздух точно рассчитанным буйством «рэпа» или «рэйва», — одним словом, выплеснуть наружу все свои нехорошие инстинкты. Валяй, гуляй, никто тебе худого слова не скажет! Никто даже и не вспомнит про столицу-блудницу. Не исход жизни, а ее ход, самой молодости движение — чего его исправлять? Само исправится, направится...

Цветы живые и бутафорские.

Люди и дрессированные животные.

Лица, тела, звуки — все смешалось, все радуется, ползет и танцует.

Маленький лев на веревке.

Кони, пришпоренные лилипутами.

Сонный удав, ласкающий человеческую шею.

Все — вместе. Только глаза животных живут отдельно.

Всюду — глаза.

Даже на лицах людей проступают очи быков, волов, змей, налитые кровью, тяжестью любви и ожиданья.

А одна флейтистка всю дорогу на флейте играет. Думает, наверное, что она волшебная.

А кто-то от шествия оторвался. Спустился к фонтану воды попить, а там лев сидит. А в пасти у него человеческая рука.

Тут флейтистка, что всю дорогу на флейте играла, играть перестала. *Увижу, как руку, которая поднялась на меня, потащит зверь!* Но рука не живая, искусственная.

Она как возьмет, как сломает свою флейту волшебную.

А потом сбросила с себя остатки одежды и встала нагая посреди людей и зверей. Обнажен у нее был стыд женский.

И выходит против нее лев.

А флейтистка стоит, раскинув руки в стороны, в виде креста. Не шелохнется.

Лев подбежал к ней, чтобы напасть, но, когда достиг ног ее, лег рядом и лежал.

Вздыхнул народ — вот лев лежит у ног человеческих.

Тогда ринулись остальные звери, чтобы разорвать флейтистку. И снова встала она в позу креста и так стояла.

Но тут уж кто-то не выдержал — стали из брандспойта разгонять зверей.

Потом направили струю прямо на флейтистку, но та только смеялась, и отфыркивалась, и ловила ртом брызги, и шли от нее пар и свет.

А рядом с женщиной-флейтисткой, которая была уже без флейты, стоял ослик и смотрел на нее. Потому что он есть тварь бессловесная, не спадает завеса с уст его. Ничего-ничего не мог он сказать, что не подняться ей над прежними делами своими, над поступками бесполезными, над одеждой, что ветшает, над красотой, которая оборачивается стыдом, над телом, становящимся прахом.

Села тогда флейтистка на ослика и поехала вместе со всеми к воротам. Накинул на нее кто-то одежду, и развевалась она, белая-белая, как жар солнца.

И въехала она в те ворота.

Дальше ослика отпустила, шла одна. Прощаясь, сказала — иди и будь хра- ним, как и был храним раньше.

Ослик ушел.

А она продолжала идти своим шагом.

Идет, а навстречу ей — новый зверь. Волчица с оттянутыми сосцами. И ступает та волчица по черным и красным треугольникам, кругам, квадратам, по асфальту расписанному ступает, как по воде. А на спине у нее два мальчика, один помладше, другой постарше.

Спешились они у фонтана, устроились у воды — оба счастливые, бессмертные, как Ромул и Рэм. Достали длинный белый хлеб, разломали пополам, и каждый отдал другому свою половину. Обменялись бессмертием.



Хлебом насытились, радостью облеклись...

И воцарилась вдруг по всему городу такая тишина, словно и не шло по нему тысячеглазое, тысячерукое шествие. И золотые подсолнухи, растоптанные молодой ордой, лежали под ногами. Тихо-тихо было в мире. Так тихо, будто не родился там еще ни один человек.

А она все шла и шла и бормотала вслух. Потому что флейты у нее уже не было и она сама себе была музыкой. Матушка, матушка, что во поле пыльно? Сударыня-матушка, что во поле пыльно? Дитяtko, дитяtko, кони разыгрались!.. Матушка, матушка, на двор гости едут. Сударыня-матушка, на двор гости едут. Дитяtko, дитяtko, не бойсь, не пужайся!.. Матушка, матушка, образа снимают. Сударыня-матушка, образа снимают. Дитяtko, дитяtko, я тебя не выдам!.. Матушка, матушка, что во поле пыльно? Матушка-матушка, образа снимают! Матушка, матушка, меня благословляют...

Дитяtko, дитяtko, Господь с тобою.

Той же ночью подруга услышала во сне голос матери. Он звал ее по имени, а потом все смолкло. Через месяц она получила письмо. Даже не письмо — записка.

«Дорогая доченька! Я все думала над тем сном, который тебе тогда рассказала. Да так ничего и не надумала. Зачем близнецы? И какая нам в том угроза? А вчера поубивало всех наших мальчиков, видимо-невидимо, кого в чистом поле, кого в канавке, а кого под ракитовым кустом. Все. Больше ничего не скажу. Вспыхнула в небе большая-пребольшая птица, вроде лебедя, а шея у той птицы точно знак вопросительный. Догадалась я — это от нее привет, от моей мамы. Детки мои, ваш близнец в небесах задохнулся, и это некрасивая смерть. А я, ваша мама, хочу смерти красивой. Не знаю больше, на чем стою, значит, пришла пора улетать. Дочь своей матери, твоя мама, теперь уже неизвестно где.

Не думай ни о чем. Снег тебе все равно будет приходиться через моего дальнего родственника, доброго Равиля».

Не письмо — записка, которую подруга получила с оказией, когда я уже отбыла на Родину. Доставил тот самый Равиль, скромный и опрятный татарин, приехавший на заработки в столицу, где он и работает дворником по двадцать часов в сутки. Татары как были, так и остаются лучшими людьми на земле русской в смысле ее содержания и опрятности. Этот оставляет себе на сон часа три-четыре от силы. Ровно то время, за которое небо в один присест выдувает на землю всю свою наличность в виде дождя, снега и прочих разностей. Тогда он берет лопату, метлу в руки берет и метет чисто-пречисто.

И взметаются палые листья.

И летят по двору пыль да песок.

И сверкает серебром его лопата. Чтобы весь этот промысел Божий не оставался бесхозным, не смущал и без того заблудшие души и, отторгнувшись от дающего жизнь тела, имел свое место и продолжение.



Георгий ФЕРЕ

# Три разбойника с большой дороги

РУССКАЯ НАРОДНАЯ СВЯТОЧНАЯ СКАЗКА

## *Предисловие*

**Э**то что за невидаль? Разбойники с большой дороги, да еще какой-то святочный рассказ, наподобие «Ночи перед Рождеством», что ли? Да еще швырнул в свет какой-то пасечник! Пчеловод-любитель без высшего образования. Еще мало народу, высокого звания и сброду, вымарали пальцы в чернилах! Да я, забожусь, и другие истории знаю, похлеще этой, такие страшные, что волосы ходили по голове. Я нарочно их не запихнул сюда. Еще напугаешь добрых людей, да все равно всех этих заморских триллеров на переплюнешь! А у нас все путем, все по-доброму кончается. Одно слово — сказка.

## I

«Мы работы не боимся, но работать запаadlo,— сказал Ахча.— Будем угонять тачки. Короче: пора идти на дело».

## II

В некотором царстве, в некотором государстве, невесть где, а точнее в окрестностях города Бляндашиха, в поселке завода «Красный компрессор» (который ноне получил заморское название «Inter-pasos»), жило-было семейство Парабукиных. А вернее, то, что от него осталось. А именно: наладчица Анастасия Федоровна и ее довольно взрослая дочь Христина. Ибо глава семейства, инженер Парабукин Г. Н., ушел жить к заму по кадрам, Веронике Ахметовне Маркеловой, блондинке и красавице, а сестра Анастасии Клава (Клавдия Федоровна), бухгалтерша с того же предприятия, недавно на старости лет, можно сказать, сдуру выскочила замуж за геолога и укатила далеко-далеко, аж в тридевятое царство, а конкретно на Камчатку. (Потому и «сдуру», какая теперь от Камчатки радость — не то что северной надбавки, простой зарплаты по полгода не платят.)

Так что наладчица Анастасия мыкалась на своем приусадебном — да хошь бы дров наколоть! — по правде сказать, одна. Я и лошадь, я и бык, я и баба и мужик. Потому как дочь Христина по весне подзалетела и должна была вот-вот разродиться. Глядишь, прямо к Рождеству. Так что помочи от нее не жди: то по танцулькам бегала, то в роддом намылилась, к тому же будущий наследник был незнамо от кого. Но Анастасия Федоровна (уж ты ворчи, не ворчи) все равно втайне радовалась: снова будет в доме мужик — гвоздя некому прибить. Она свято верила, что будет мальчик, по всем приметам сходилось. Давно, давно пора в больницу собираться, да дочка все тянет — боится ли чего... Кто из них нынче заране об чем думает? — молодняк! В голове одна пепси.

А надо бы, надо бы все обдумать. Автобус в Бляндашиху ходит редко, а с оказией... Какая тут оказия? У соседа вон есть «Жигуль», только что обзавелся. Так хозяин Тарас Вакулович Солохин, пожилой уже человек, с ним носится как с писаной торбой. В нужную минуту может и не дать. Кому охота гнать новехонькую цацку по снежным горбылям да наледи в зимнюю стужу?

А когда Христине и вправду приспичило, вышло еще нескладней. Мать-то, как на грех, уплелась в соседнюю деревню Паньри к своей старой подружке с «Компрессора», теперь уж она на пенсии. А Тарас Вакулович возьми да и уехай в город, но без машины, что-то ему в моторе не заправилось — поскакал за запчастию. А его новая молоденькая жена, Зинка, из нефтебазовских, бой-баба, чисто ведьма, разве что без помела, водить вроде как умеет, но прав-то нету, за рулем толком еще и не сидела, да ей Тарас Вакулович и не дает: погоди, лапуля, вот придет лето, тогда, мол...

А что делать, коли делать нечего? Стоят две бабехи у этой таратайки и в голос воют. Солохина, хоть и ведьма, своего строгого супружника побаивается.

Но женское нутро пересилило. (Тем боле что своего дитяти у нее не было, и как судачили в поселке — и не будет, не надо было столько гулять, задом вертя, в свое-то время.)

Короче, запахнув кое-как соседскую дочку Христину на заднее сиденье с разными там тряпками и одеялами, взгромоздилась Зинаида на облучок драндулета и ну погонять все его лошадиные силы!

Как дала по газам, так и выскочила, поутюжив снега, на большак. А там до больницы не так уж и далеко было. Километров семь.

И вот, значит, выбралась Солохина по худо расчищенным проселкам на основную трассу. Повернула на спуск к речке, там внизу мосток, который създавна прозывается Тарабарским, за ним дорога наверх пойдет, а там направо — и выкатись на шоссе, а та напрямик выведет на Бляндашиху, у въезда в которую и расположена больница. (Несмотря на нынешнее безденежье, ее в прошлом году все же достроили и запустили.)

### III

А в некотором царстве, в некотором государстве, но уж точно не в Перуанском королевстве, а именно в чудесном городе Бляндашиха, жил-поживал Ваня-пастушок. В настоящее время безработный. Ну, конечно, не коров он гонял, а служебный автобус. К тому же был неплохим автослесарем. А ежели начистоту — был наш Иван несчастный счастливчик. Несчастный — потому как сиротой остался. Отца нет и, как утверждала мамаша, никогда и не было. Старший брат Мишка мотает срок за ограбление винного киоска плюс пьяную драку с отягчающими — или как говорили в Бляндашихе — «с отчаянными» последствиями. Сама же матушка, сорок лет проработавшая уборщицей в санатории «Красные зори», не так давно отдала Богу душу.

Теперь — почему Ваня не только несчастная сирота, но и счастливчик? А он, в силу всех этих обстоятельств, стал законным владельцем прекрасной однокомнатной квартиры. На третьем этаже и с лоджией. Конечно, можно было бы сразу загнать ее за тугие хрусты, за эти самые вечнозеленые баксы и фраернуться по полной программе. Но наш Ваня, хоть и Иван, но вовсе не Иванушка-дурачок. Решил он хату свою сдавать, и пустил к себе жить иногороднего басурманина. На кухню. А басурманин — человек порядочный, не какая-нибудь там чеченская мафия и не исламский террорист. Хоть и с пугающей фамилией — Исламов. Нет, он вполне безобидный музыкант, игравший в своей родной Уфе на курае, на такой деревенской камышовой дудке, издающей нежные звуки. А сюда он перебрался, чтоб малость подзаработать, и устроился кларнетистом в местное кафе «Золотая русалка». Может, кто и считает, что музыканты — народ отпетый, но Загир, хоть и выпивает, но не

курит, не ворует и девок к себе не водит. А все потому, что деньги копит. На учебу в консерватории.

И вот как-то зашел в «Русалку» некто по кличке Ахча. Отмотавший третий срок. Вел себя скромно, не бузил, не буянил. Но всем фицыянточкам сунул за пазуху по месячному окладу, лабухов одарил еще почище и напросился к кларнетисту домой на ночевку. Загир туда-сюда, объяснил, что сам живет у чужих. У шофера Вани кухню снимает.

Но Ахча сказал, что профинажит шелестухой и ночлег, и кухеру, и вообще всю хавиру со всеми потрохами. Всем кинет на карман. И особенно хозяину. Как безработному. Выдаст, так сказать, пособие по безработице. В десятикратном размере.

И что характерно — так оно все и вышло. Даже еще лучше. Зажили так, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Кларнетист теперь играет только дома, за большие дедэшки, Ахча всю дорогу на диване кемарит, а Иван только знай себе за эликсиром бодрости бегаёт.

Кому ж такая житуха не понравится? Только принцу Уэльскому разве да королю голландскому, которые сроду нужды не знали. Живут себе друзья припеваючи, как сыр в масле катаются. Одно слово: по-княжески...

Но вот как-то после утренней опохмелки Ахча такую речь держит:

— Альзо цурюк, господа-товарищи, физдипун малине. Мои тугрики испарились, а у вас их и отродясь не было. Не на что даже за керосином бежать... Деньги есть — Уфа гуляем, денег нет — чишмиш едим.

Ребята приуныли, носы повесили. Тяжело с хорошей жизнью расставаться. Привыкли.

— Но у любого кинотеатра всегда есть запасной выход, — продолжает Ахча. — Хватит тебе, Загир, на своей дудке наяривать, хватит тебе, Иван, ханкой заливаться. Мы работы не боимся, но работать запаadlo. Спать — так с королевой, брать — так лимон. Кто автобус гонял, будет теперь угонять тачки. Пачками. А с тебя, музыкантишка, спрос невелик, туш играть пока рано, будешь со своей трубой на шухере стоять. Короче: пора идти на дело!

Ребята по первости что-то вякнули, выразили коллективный протест, но Ахча с ходу сурово намекнул, что за ними ба-альшой должок числится: мол, сидели в гостях, пили вместиах, а кто платить будет — Пушкин?

Загир с Иваном ломаться не стали, не маленькие, соображают, что за базар отвечать надобно. Тем паче что красивую жизнь познали, кто же ее на худую менять станет? Дураков нет. На одну зарплату нонче живет разве что Иванушка-дурачок...

#### IV

А тут как раз праздники наехали. Последний день перед Рождеством прошел. Зимняя ясная ночь наступила. Глянули звезды... Месяц величаво поднялся на небо посветить добрым людям и всему миру, чтобы всем было весело пить шампанское и славить Христа. Морозило сильнее, чем с утра. Но зато так тихо, что скрип мороза под сапогом слышался за полверсты. А перестук электрички за пять км. Аналогичную ночь перед Рождеством почти теми же словами описал и Николай Васильич Гоголь. Лучше не напишешь. Так и оставим.

Хорошо потолкаться в такую ночь меж людей, между кучею хохочущих и бренчащих на гитарах парней и девчат, готовых на все шутки и дурацкие выдумки, какие может только внушить весело смеющаяся ночь.

Но — делу время, потехе час.

...Первой машиной завладели шутя и играючи. Фольклорным, по определению культового писателя Пелевина, «Мерседесом-600» с затененными стеклами. «Мерс», конечно, с дьявольщинкой попался, номерной знак Д 66-66 RUS 77! Но взять лайбу по наводке у свежееиспеченного нового русского Емели оказа-

лось, что два пальца обстрекать. У него ж слишком много всего: хоромы в пять этажей, четверо детей и одна полюбовница. Зато какая — кинозвездунья... Так что машину его не угоняли, а просто Емелю с нее аккуратно высадили. Ахча ему тихо так на ушко шепнул: «Браток, мы супротив тебя, а уж тем боле против твоей тачки ничего не имеем. Это просто законный налог. Налог в законе. Ферштейн? Если что не так, бухайся в ножки своей крыше. Но крыша твоей крыши — это я. Жалуйся. Только учти, пока будешь маляву писать, твоя хибара так полыхнет, что мало не покажется, детки в больничке жидкую кашку лизать будут, а у твоей крали мы роль отберем. Есть на нее и другие желающие. И еще объявим, что рольку ты сам оттяпал. Из ревности. Разбирайся потом сам со своей зазнойбой».

Емеля голову повесил, смирился.

Тут бы крутым разбойничкам и домой, на родную фатеру. Продай лайбу — гоняй шайбу! Или катайся на лихом «мерсе» по всей округе с веселыми девками, гуляй, рванина, от рубля и выше! Но с Ахчой разве поспоришь? «Нас три богатыря, — сказал, — значит, каждому по тачке треба. Бог троицу любит. А ночь перед Рождеством — она длинная».

Ох, воровская жисть — чистая каторга. Слово пахана — закон. Сказал — и пахай!

Вторую колымагу взяли у зазевавшегося южноамериканского автотуриста, который в подражание Радищеву катил по накатанной дороге из Петербурга в Москву и, не обнаружив за всю дорогу ни одного приличного сортира, в районе Черной Грязи, не в силах более сдерживать нахлынувшие эмоции, выскочил в кусты, бросив машину к чертям собачьим посередь шоссе не только не закрытую, но и с полным набором ключей. Чем, ясное дело, не замедлили воспользоваться наши герои. А выйдя из кустов... О-хо-хо! Выйдя из кустов, бедняга не знал, куда и сунуться, поскольку свободно изъяснялся лишь на бразильском диалекте индейцев племени «хуа-хуа». В силу чего его не могли понять не только в райотделе милиции, но впоследствии даже в Министерстве иностранных дел.

Этот «сааб», чтоб развязать себе руки, автопройдохи поставили на платную стоянку у «Золотой русалки». Там несколько иномарок стоит, бросаться в глаза не будет. Ну там пара машин бляндашихинской мафии, а также директора местного рынка и начальника налоговой полиции.

Ну а третью коляску решили брать у Тарабарского моста через речку Клязьму.

## V

Третью решили брать по всем правилам науки. А то что же получается? Владелец «мерса», Емеля этот, из новых русских, сразу сдался и, как говорится, «в кусты». От греха подальше! А беспечный представитель славного племени «хуа-хуа», владелец «сааба», взятого напрокат в Швеции, — тот сам в кусты кинулся. Естественно. По причине крайней российской отсталости в отношении туалетизации всей страны. Не интересно даже. Нет уж, третью надо брать по науке: с пальбой и с криками.

«Спокойно! Это ограбление!» — изобразил Ваня, продемонстрировав всей коdle свой немалый стаж упорного бдения перед телевизором.

«Спокойно, это угон», — поправил его кларнетист Загир.

«Вытряхивайтесь, падлы!» — подсказал коллегам правильные слова лидер преступного сообщества Ахча, имевший три ходки.

А мост при чем?

А действовать решено было по классической схеме, разработанной еще Шарлем Перро в знаменитой сказке «Кот в сапогах». Разбойники прячутся под мостом, а когда на дороге показывается экипаж маркиза Карабаса, выскакивают из засады, размахивая мушкетами и пистолетами. Правда, у Шарля было не

совсем так («Le Chat Botté a dit an Roi que lorsque il se baidnait dans la rivière à coté du bont, quelques voleurs et bandits aux pistolets ont volé ses vêtements»), но это уже подробности. Ахча гимназиев не кончал. Но об оружии позаботился. Сам он был вооружен газовым пистолетом (искусно переделанным для стрельбы боевыми патронами). Ваня снабжен игрушечным наганом, приобретенным в местном магазине «Детский мир» (но выглядывшим, как настоящий). А кларнетисту достался собственный кларнет. (Черный, с поблескивающими латунными клапанами, он в темноте вполне мог сойти за короткоствольный автомат.) Кроме того, башку башкира украшала широкополая мексиканская шляпа с бахромой, в которой он выступал в кафе «Золотая русалка». Ну вылитые разбойники с большой дороги!

Подъехали к мосту на свежестибренной «мерседесе». Оставили ее неподалеку на обочине с включенным двигателем (на всякий случай), а сами схватились под мост. Все в резиновых болотных сапогах с ботфортами. Ну точно, как вышеупомянутый кот!

Но малость не рассчитали. Тут тебе не Хранция! Холодрыга...

Вскоре вдалеке на спуске показалась сильно виляющая машина. Очевидно, за рулем сидел перебравший водила, потому как фары рыскали в разные стороны. Будто высматривали чего.

Головорезы выскочили из своего укрытия и, размахивая самодельным пистолетом, шляпой и кларнетом, преградили дорогу автомобилю. Вначале, по предложению Вани (насмотревшегося телевизора), хотели было перегородить дорогу «мерсом», но Ахча не пожелал рисковать столь дорогой вещью, которую он уже почитал своей.

Конечно, перед пляшущими на дороге тенями машина может и не затормозить, но что делать — и тут риск (не остановится), и там риск (покалечит «мерсуху»).

На их счастье (а может, и наоборот), машина остановилась. Все, как доктор прописал. Распахнули дверцы, сунули пушки: «Вытряхивайтесь, падлы!»

А там — бабы.

И одна сразу визжать. «Вы что, придурки, с ума спятили? Она ж у меня рождает!»

У Вани неприятно захолонуло где-то под ложечкой. Башкир скривился: вот влипли! Но Ахча прикрикнул: «Врут, суки!» И повторил грознее: «Вытряхайтесь, падлы!»

Но тут рыцари ночи и впрямь разглядели, что у одной пузо мешком.

— Да подавитеесь вы этим драндулетом! Забирайте его! Берите! — завопила та, что за рулем. — Но дайте до больницы доехать!

«У, щерт, шайтан! — подумал Загир. — Опять сами машину отдают, не дадут устроить настоящее ограбление...»

— Залазьте! — скомандовала ведьмоватая баба за рулем. А вторая, тарача округлившись глаза и закусив губу, только постанывала в отключке.

Налетчики на миг подрастерялись.

Тут в небе полыхнул сначала ответ фар, а потом на спуске к мосту появилась еще одна машина. Подкатив почти вплотную к «Жигулям», она встала.

— Пикнешь — стреляю! — прошипел Ахча, приставив свой пистолет к сложной прическе Солохиной, а заодно (для верности) и кларнет музыканта.

У подъехавшей машины (это был трухлявый «Запорожец») опустилось стекло. Оттуда спросили:

— На Бляндашиху правильно еду?

— Правильно! — гаркнули разом все три разбойника.

— Поссе моста пьварот направу, а ты ехай пьрямо, — уточнил человек в шляпе с бахромой, указывая путь кларнетом.

— А вы че, прям с концерта? — поинтересовался белобрысый парень, высовываясь из окошка. — Застряли?

— Засунь язык себе в ж... и рихтуй до Босфора! — заорал на него Ахча. — Не видишь, нас мотор заколебал! — И нервно рванул крышку капота.

Белобрысый презрительно сплюнул окуроч, «Запор» прокашлялся своим дырявым выхлопняком и укатил.

Христина снова застонала. А потом и захрипела.

— Стреляй, сволочь! Не видишь, у нее схватки начались! — завопила Зина как психованная. — Садись, поехали! Доедем — заберешь тачку.

Тут с другой стороны моста выскочил «уазик».

— Мусора! — взвизгнул Ахча. — Уходим! — И рванул на полусогнутых к своему бесшумно дрожавшему «мерсу».

## VI

«Уазик» оказался вовсе не милицейским и промчался мимо. Но Ахчи и след простыл. Будто его тут никогда и не было.

Ваня тоже хотел дать деру, но Солохина гаркнула:

— Сидайте!

Подчиняясь властному приказу (к тому же женскому), рыцари с большой дороги покорно плюхнулись на сиденья и одновременно хлопнули дверцами с двух сторон. Как в кино.

Мысли у начинающих угонщиков были простые и коротенькие, как у Буратино. «Хочешь, дура, нас с собой прихватить? Лады, поехали. Все равно нам бежать некуда и не на чем. А там у больнички наверняка суматоха закипит, две бабехи растерехаются, залопочут, крыльями захлопают, не до ключа им будет в замке зажигания. Вот тогда-то мы и покажем всему свету, что не такие уж вахлаки. Ну не бросать же в самом деле такое добро, такую классную тачку, когда она уже почти в руках? Да поехали, поехали уже, чего ж ты еще ждешь, зараза?»

Однако драндулет, как древний языческий истукан, застыл на заснеженном шоссе возле Тарабарского моста и не двигался с места. Ну никак не заводился! Хотя ведьма упорно щелкала ключом и педалила ногой, мотор был нем, как могила. То ли Тарас Вакулович опытным ухом старого автомобилиста и матерого пчеловода действительно расслышал в его урчании посторонние стуки (почему и помчался накануне Рождества за какой-то запчастью), то ли Ахча накаркал («Не видишь, нас мотор заколебал»), когда отшивал белобрысого парня с сигаретой на губе.

Меж тем мороз увеличился и вверху так сделалось холодно, что гипотетический черт, столь искусно описанный Гоголем, перепрыгивал с одного копытца на другое и дул себе в кулак, желая сколько-нибудь отогреть мерзнувшие руки. То же попытались сделать и незадачливые жулики: холодно же...

— Чего расселись, ироды? — заголосила Солохина. — Вы ж в моторах сечете! Или вы бандюги-недоучки?! Вот она сейчас рожать начнет — вам же хуже! Будете роды принимать!

Затюканные недотепы послушно выпорхнули из кабины, как школяры из туалета, когда прозвенит звонок на урок. Ваня открыл капот, сорванный Ахчой с замка, и заглянул в остывающие кишки двигателя: как-никак шофер. Кларнетисту там делать нечего. Разве что послушать абсолютную тишину.

Внезапно месяц скрылся за тучами и повалил густой снег.

Затем мутную мглу прорезали мощные желтые огни приближающихся фар.

— У-у-у! — по-волчьи завывала Христина.

— Автобус! Автобус! — зашлась криком Зина. Похоже, с такой же надеждой и отчаянием матросы Колумба вопили «Tierra! Tierra!», завидев землю.

Солохина железно скомандовала грабителям:

— Остановливайте его и развертайте! — И Христине: — А ты потерпи пока! Живо тебя довезем в теплом автобусе. Больница уже совсем рядом.

Громилы, слепо повинувшись древним ли неведомым инстинктам, связанным с продолжением рода человеческого, особому ли влиянию рождественской ночи, еще мало изученному современной наукой, а то и просто бабьему заполошному ору, выскочили на проезжую часть и с риском для жизни стали останавливать заскользивший по льду тяжелый автобус. Оттуда неся многоэтажный мат шофера.

Затем вместе с Солохиной тщедушные кавалеры, напрягаясь из последних сил, потащили к пышущему жаром автобусу тяжеленную (вроде бы такую махонькую, но отягощенную божественным плодом) Христинку.

Вдруг тучи разошлись и в небе засверкал месяц. Все осветилось. Метели как не бывало. Снег загорелся широким серебряным полем и весь обсыпался хрустальными звездами. Мороз как бы потеплел.

Рейсовый автобус развернулся. Пассажиры, которым по всем канонам следовало бы кипятиться, выражать энергичный протест действиям водителя, самовольно изменившего маршрут, и вообще вставать на дыбы, узнав, в чем дело, неожиданно присмирели и даже помогли поудобнее уложить роженицу. Причем по просьбе Зинаиды водитель автобуса, совершив еще одно доброе дело, подцепил на буксир ее заглохнувшую тачку.

Через некоторое время посаженный за руль Ваня почувствовал, что безнадежная таратайка, которую тащили волоком, завелась. Он стал настойчиво сигналить. Мол, дай отчепиться!

Но автобус пер как угорелый, видно, ведьма Солохина не давала ему приостановиться. Выходит, меня поймали на крючок и тащат, как пойманную рыбу? Выброситься из машины! Но Загир остался там, в автобусе! Он как заложник... А пузатая роженица, возможно, уже рождает!

Что-то больно и остро сдавило Ивану грудь. Он задыхался. Ваня еще не знал таких далеких от него слов, как «раскаяние», «муки совести», а тем более «покаяние», но их хрупкие тени уже зарождались в нем, в то время как в автобусе тоже начались роды.

Возможно, похожие мысли беспокоили и кларнетиста. Во всяком случае, много позже следствие точно установит, что анонимное заявление в милицию: «...разыскиваемый автомобиль «Saab», похищенный в районе Черной Грязи, в настоящее время находится на платной стоянке возле кафе «Золотая русалка», — написано собственноручно Загиром Исламовым.

Меж тем снова поднялась метель. В воздухе забелело. Снег метался взад и вперед мелкой сетью и угрожал залепить глаза, рот и уши случайным путникам. Но их не было. Шоссе было пустынно.

Очухавшийся Ахча вернулся на «мерсе» к Тарабарскому мосту, к месту, с которого сбежал. Но не нашел там никого и ничего, кроме вьюжного свиста и снежного месива, исполосованного змеистыми переплетениями следов автомобильных шин, будто здесь проходила серьезная бандитская разборка...

### Эпilog

Христина благополучно разрешилась двойней, оба мальчика. В честь сомнительных спасателей одного назвали Иваном, другого Загиром. Анастасия Федоровна чуть с ума не сошла на радостях — в доме наконец-то появились сразу аж три мужика. Дело в том, что глава семейства, инженер Парабукин Г. Н., расплевался с этой стервой, замшей по кадрам Вероникой Ахметовной, и как раз в ночь под Рождество заявился домой с двумя чемоданами. Сестра же Анастасии Клава, разочаровавшись в Камчатке, тоже возвратилась в родную Бляндашиху, так что теперь у близняшек-башибузуков вроде как две бабки. Христи-



на обещала матери по танцулкам больше не бегать, у нее серьезные планы, ей нравится Ваня.

Ахче не повезло, получил семь лет строгого, по полной программе, два других джентльмена удачи, как начинающие, отделались условно. Иван успешно слесарит, люди, опекающие малый бизнес (говорят, двоюродная сестра Ирины Хакамады), помогли ему открыть в Бляндашихе свой автосервис. Загир Исламов в консерваторию поступил, на отделение духовиков, по классу кларнета. Дудит день и ночь, большой талант имеет.

А Ваню кой-куды двинули. По одномандатному. Прошел без звука. Теперь в Думе. Думает, что дальше. Может, на следующий год в президенты? А что — человек известный. Их процесс по всей округе гремел.

Ахча, конечно, мотает от звонка до звонка, но не унывает, держится. Долбит английский, по окончании срока мечтает уехать за три моря, в Америку, и начать там новую жизнь. Есть интересные задумки насчет бензина.

В какой пропорции (без вреда для работы двигателя) его можно водой разбавлять? Изучает справочную литературу. Серьезно готовится к жизни на свободе.

Зинаида получила водительские права и водит машину теперь довольно уверенно, не такой уж она и ведьмой оказалась, как болтали, живем мы с ней в мире и согласии, ибо сосед-пчеловод, как вы, верно, уж догадались, это ведь я и есть.

*За сим кланяюсь всем добрым людям, Т. В. Солохин, местный краевед и пасечник, с хутора близ Бляндашихи. (Будете в наших краях, заворачивайте в гости, спросите поселок завода «Красный компрессор», такими грибками угоstim, что будете рассказывать всякому встречному и поперечному...)*



## Три стихотворения

### *Зерно*

Вдалеке от страданий лежало зерно одиноко,  
вдалеке от страданий,  
Между тем, сатанея от тени тесной, народы,  
между тем сатанея,  
Мир отеческий руша, текли во все стороны света,  
мир отеческий руша,  
И стреляли, не целясь, во всех, кто был против, не с ними,  
и стреляли, не целясь,  
И отцов не щадили, и память взрывали земную,  
и отцов не щадили.  
И Бога отринув, к «светлой» мечте прорубались,  
и Бога отринув,  
И боялась их гибель и мимо порой пролетала,  
и боялась их гибель.  
И сияла победа и их ослепляла навеки,  
и сияла победа.  
А зерно умирало, и путь его был одиноким,  
а зерно умирало.  
Запустенье, разруха и мгла — но земля поднималась,—  
запустенье, разруха...  
И горланила песни о счастье, что снилось ей только,  
и горланила песни.  
И, стране закрывая руками партийными очи,  
и стране закрывая,  
Ухмылялся диктатор и множил соратников трупы,  
ухмылялся диктатор.  
Задыхались и гибли в темницах премудрость и песни,  
задыхались и гибли.  
И рожать не давали земле, и повсюду рос голод,  
рожать не давали,  
Но зерно, прорастая, спешило в объятия к небу,  
зерно, прорастая.  
И превыше вершины любой откликалось Вселенной,  
превыше вершины,  
И небесные вести спешило поведать народам,  
небесные вести.

### *Вечер*

Белохвостый самолет,  
Сосны, краснощекий воздух,  
Тишина, и только возглас  
Там, где сумрак к хатам льнет.

К речке, к небу подошли,  
Крыльями взмахнув, березы,  
Тишина, упали росы,  
Тьма выходит из земли.

*Ялта*

К лазури с гор сошли дома  
И смотрят пристально на море,  
Архитектура без ума,  
Ее отринет город вскорее.

Трава проколет вновь асфальт,  
Твой палец послабей травинки.  
На моле сакс, наверно, альт  
Киксует снова по старинке.

От творчества немножко пьян  
Художник пишет звуки неба,  
Прижался к солнцу храм армян,  
Всевышний в нем пока что не был.

Нагорный домик, где гостил  
Когда-то Надсон величавый,  
Едва стоит, кому-то мил  
В тени акации и славы.

Таится ночь в глубинах вод,  
Всё старше день, идя с ним в ногу,  
Спешит в концертный зал народ,  
И транспорт больно бьет дорогу.

Закрыты дали. Спит маяк.  
Стрельнув зрачком, зовет юница.  
Опять взойдет луны медяк,  
От скуки им не откупиться.



## Берлинские эпохалки\*

### Пересуды

На мой взгляд, текст Ларисы Сысоевой удивительно точно соответствует названию рубрики «Нечаянные страницы». Вот именно что — страницы, а то и строчки, которых никто НЕ ЧАЯЛ, ибо только в фантастическом сне можно было бы представить, что один из школьных друзей этой некогда тихой, одинокой московской школьницы станет шишкой в Министерстве авиации страны Израиль, другой — членом кнессета этого же государства, а сама она в начале склона лет окажется живущей в объединенном городе Берлине в качестве вполне самостоятельной персоны, нежно любящей и опекающей своего знаменитого мужа, родоначальника советского «черного юмора», художника Вячеслава Сысоева, который в отличие от других практикующих претендентов на этот титул оплатил его двумя годами пребывания в отечественном концлагере «за порнографию», каковой коммунисты сочли его ядовитые рисунки, конгениальные, пожалуй, лишь словесным откровениям английского Джонатана Свифта или русского Гоголя, но с учетом того, что персонажи двух этих великих писателей просвистели бы еще и сквозь медные трубы «развитого социализма», прежде чем оказаться там, где оказались нынче все мы, вне зависимости от национальности или постоянного места проживания. Мы — бывший советский народ, проснувшийся после веселого пиришества «перестройки» и «становления неокрепшей демократии» в бескоординатном поле дикого капитализма и не знающий, чем похмелиться в таких новых условиях человеческого существования.

«Нечаянные» и в том смысле, что некоторые из пока еще здравствующих (на сегодняшний день) героев эпохалок имеют шанс воскликнуть: «Я этого не говорил. Этого не было!», а поостыв, уточнить: «Ну, может, и говорил, может, и было, но не ТАК...». Шанс, но не право. Что написано пером — иная реальность, где все — на совести автора и зависит лишь от его ума, такта и вкуса. Лично мне определенные пассажи текста, связанные с моим именем, частично кажутся неточными, но, может быть, со стороны виднее? Ведь я здесь уже не я, а некая персона, чье вяканье влетает в обичий «шум времени».

А шум этот Лариса Сысоева передает безыскусно-мастерски, не корча из себя «писательницу», не расставляя так называемых акцентом, «никого не кляня, не виня», как пел когда-то Юз Алешковский. В пестром этом калейдоскопе мелькают персоны известные и не очень, писатели, поэты, художники, галерейщики, стукачи, ВОХРовцы, пьяницы, работяги, фанфароны, таинственные «немцы», таинственные «наши евреи», таинственные «русские». Тот самый таинственный «народ», именем которого любят клясться любые идеологические жулики и весомая часть которого предпочла искать счастья за просторами «родины чудесной», тогда как оставшиеся занимаются такими же поисковыми работами дома. Кто из них прав, кто виноват — вот вопрос, ответ на который может дать только время.

Но кто мы и откуда,  
Когда от всех тех лет  
Остались пересуды,  
А нас на свете нет?

\* Журнальный вариант.

*Это, заданное Борисом Пастернаком, — в будущем. Пока еще — страсти, выборы, политика, метания, поиск. Пока еще — печали, радости, обиды, сплетни сегодняшнего дня.*

*«Страшная стерва» Лариса Сысоева посмеивается из своего близкого берлинского далека над собой, «великим Сысоевым», друзьями, недругами, окружающим миром. Ей страшно, но она живет. Чего и нам желает — ЛЮДЯМ. Рекомендую читателям «Октября» ознакомиться с «эпохалками» Ларисы Сысоевой. Интересно, если даже для кого-то все, ею описываемое, совершенно «чужое».*

Евгений ПОПОВ

У одного журналиста, живущего в Берлине, спросили, знает ли он Сысоева. Тот ответил:

— Сысоев — гениальный русский художник.— И, не удержавшись, добавил: — А жена у него страшная стерва.

Когда рухнула стена, мы жили в Западном Берлине. К нам приехала знакомая и сказала, что в Восточном Берлине евреям дают вид на жительство. Сысоев выслушал и воскликнул:

— Мамочка, ты же у нас еврейка!

Эта знакомая сказала:

— Я вас отвезу к своей приятельнице, она в курсе всех дел. Если вы ей понравитесь, то она вам поможет остаться.

Мы со Славой переглянулись. Рекомендация из уст данной знакомой могла сослужить медвежью услугу. Это была хорошая, порядочная женщина, но любившая поддаться.

Она повезла нас к приятельнице. Это была Ольга Завадовская. Мы вошли в квартиру. Сысоев посмотрел на Олю и сказал:

— Я не знаю, что вы обо мне думаете, а вот я совсем не пью и две книги написал.

С Ольгой мы с тех пор дружим, а когда вспоминаем наше знакомство, то всегда смеемся.

Мы переехали в лагерь, а затем, почти сразу, в общежитие для переселенцев.

Когда мы жили в общежитии на Кётенерштрассе в Аренсфельде на окраине Восточного Берлина, у всех было очень подавленное состояние — серые, убогие немецкие хрущобы, коммунальные квартиры, несовместимость с соседями, чужой язык, хождение по мукам, то есть по немецким организациям, я уже не говорю про ностальгию. Я, оптимист по натуре, развлекала, как могла, своих товарищей по несчастью, рассказывала анекдоты или истории из своей жизни и из жизни своих друзей. Дора Шехтер посоветовала мне записывать мои байки. Я отмахнулась, сославшись на то, что машинку оставили в Москве. Прошло какое-то время, мы купили компьютер. Я начала потихоньку записывать свои истории.

Сысоев прочитал мои байки и воскликнул:

— Это же эпохалки!

Так мы их и стали называть.

## 1

Моя мама была необыкновенно красивая женщина. Очень часто она жалостливо смотрела на меня и говорила:

— Господи! Ну до чего же страшненькая, просто лягушонок, ладно хоть умненькая.

А папа добавлял:

— До того умная, что аж дурная.

Моей любимой нянькой была Анна Ивановна Сметанникова. Я называла ее тетей Нюрой. Жила Анна Ивановна, как она говорила, «в людях», у многих известных людей. А у нас она жила в перерывах «между хозяевами». У нее были чудовищные запои, из-за которых, собственно, она и меняла хозяев. Из их числа я помню Всеволода Иванова, Эдуарда Колмановского и Петра Тура.

Тетя Нюра была необыкновенной кухаркой. Она мне хвасталась:

— Сам Арагон мне ручки целовал, когда поел моих пирогов.

В то время она жила у Всеволода Иванова.

Однажды — мне было лет десять — она хотела взять меня с собой в Переделкино, но я сказала:

— А вдруг они меня назовут «кухаркиной дочкой»?

И не поехала.

В детстве я занималась гимнастикой. Наша группа должна была выступать на спортивном параде на Красной площади. Я с гордостью принесла красивый белый костюм и показала маме. Когда мама узнала, для чего костюм, она рассердилась и сказала:

— Еще чего! Много чести перед этими дураками выступать.

Это был 1960 год.

Мамина родня спаслась от немцев в последнюю минуту. Семья была большая, бросили все, погрузились на подводу — дед с бабушкой и четверо детей. У мамы уже был сынишка, хотя ей было всего двадцать лет. Выехали из города, вдруг старшая сестра сказала, что сейчас вернется, она забыла закрыть форточку. Ее отговаривали, но она сказала, что мигом сбегает. В это время в город въехали немецкие мотоциклисты, сестра не смогла убежать из города и погибла.

Когда нужно принять какое-то важное решение, я вспоминаю форточку.

Мама умерла, когда мне было семнадцать лет. Отец стал сразу выдавать меня замуж за «богатых и старых», как мне тогда казалось, евреев. Это были деловые и энергичные мужчины лет под сорок, нажившие капитал, нагулявшие животы и лысины, желающие остепениться. Я в то время под чутким руководством моих лучших школьных друзей Штерна и Рабиновича изучала Шопенгауэра и Ницше, читала Гессе и, естественно, ни о каком замужестве не помышляла. После очередного, по-видимому, самого «крутого» отвергнутого мной жениха, у отца случился микроинсульт. Он быстро пришел в себя, но мне этого не простил и уволил, как он говорил, «без выходного пособия».

Поздно вечером Паша Грандель со Штерном решили зайти ко мне в гости. На ступеньках парадного сидел отец и рубил топором тушу; было полное впечатление, что человекею. Друзья испуганно спросили:

— А Лариса дома?

Отец грустно ответил:

— Нет и больше не будет.

Они долго ждали меня, чтобы убедиться, что я жива.

С семнадцати лет я жила одна. Отец приходил ко мне только зализывать раны между очередными неудачными женитьбами, а их после мамы было «штук» пять. Но он никогда не отчаивался. Отец не давал мне ни копейки, искренне полагая, что он для меня сделал все, что мог. У меня были стипендия 35 рублей и масса друзей, которые у меня дневали и ночевали. Они-то и не дали погибнуть, за что им всем огромное спасибо.

Как-то раз звонит мне школьный друг Юра Штерн и спрашивает: как дела? Я мрачно отвечаю, что нет ни копейки и не на что купить хлеба. Юра приехал через полчаса и привез маленький сверток — передачу от бабушки: несколько кусочков хлеба, намазанных маслом, куриную ножку и кусочек шейки. Я давила слезами и ела ножку, а Юра передавал бабушкины наставления, как надо вести хозяйство:

— Покупаешь курицу, отделяешь белое мясо, делаешь из него котлеты, потом фаршируешь шейку и варишь бульон, а из остального можешь сделать жаркое. Таким образом, у тебя из одной курицы получается на несколько дней обед из трех блюд. Бабушка так в войну прокормила всю большую семью.

Тогда, конечно, я никаких шеек не фаршировала, было нам по восемнадцать лет, а эту куриную ножку по сей день вспоминаю.

На выпускном экзамене по литературе Юра сделал ошибку, которая стоила ему золотой медали. Сам Штерн рассказывал об этом так:

— Я взял свободную тему и решил написать эпиграф. Пишу я слово «эпиграф» с заглавной буквы и думаю: «Ай да Юрик, ай да молодец! Какую красивенькую заглавную букву написал».

А буква эта была «Е», то есть он написал «*Епиграф*».

Сочинение было написано без единой ошибки, кроме этого злосчастного «Е». Все понимали, что это описка, возили сочинение на консультацию в горно, но там посмотрели на фамилию юноши и сказали: считать ошибкой.

Мы сидели в компании друзей и рассуждали о судьбах отечества. Всё нам было плохо и не так. Я сказала Юре:

— Когда ты станешь президентом, назначишь меня министром культуры. Штерн согласился.

Прошло много лет. Юра живет в Израиле и хотя еще не стал там президентом, но уже член кнессета. Так что я жду. По-моему, осталось не так долго.

Со мной в начальных классах училась девочка по имени Зина. Ее отец дядя Ваня был сапожник. Они жили на Пушкинской улице в коммуналке, в глубочайшем подвале. Дядя Ваня на финской войне потерял ногу, ходил на протезе. Работал он дома, шил отличные сапожки, в которых мы с Зиной тоже щеголяли. Такие в те годы в магазинах не продавались. Жена его, тетя Шура, работала на обувной фабрике и воровала оттуда заготовки. Самое страшное слово в доме было «финны». Я сначала думала — те финны, которые дяде Ване ногу прострелили. Но это оказались фининспекторы. Если во двор входил кто-то подозрительный или просто незнакомый, мы бежали сломя голову в подвал, и все пряталось к соседям.

Вдруг где-то в году 60-м приходит письмо из международного Красного Креста, где черным по белому написано, что у дяди Вани нашлись два сына. Они живут в Швеции и много лет разыскивают его.

Оказывается, у дяди Вани в финскую войну пропала без вести жена с двумя детьми. Женщина умерла, а мальчиков спасли, и они попали в Швецию. Сыновья выросли, один стал летчиком, а второй — фабрикантом.

Дядя Ваня получил приглашение в Швецию. Собирали его всем домом. Приехал довольный, навез подарков. Мне запомнился бордовый бархатный коврик с двумя огромными голыми летящими ангелочками. Они его повесили над кроватью.

Больше всего его потрясла следующая история:

— Идем мы с сыном по улице. Смотрю — на скамейке лежит настоящая золотая брошка. Я говорю сыну: «Смотри, что я нашел!» — И в карман.

А сын мне: «Нет, папа, пусть лежит! Тот, кто потерял, придет и возьмет ее».

«Ну, блин, и честность!» — добавил дядя Ваня.

У моей подруги была страшно злая бабка. Когда мы были маленькие, она все время нас пугала:

— Будете себя плохо вести, я сегодня ночью умру.

Мы утром с затаенной надеждой и страхом пробирались к бабке в комнату, а она, увидев нас, подпирая руки в боки, смеялась:

— А вот взяла да и не умерла!

Мои московские соседи все время говорили мне, что я похожа на американскую актрису Шер и что она сделала много пластических операций. Я посмотрела на актрису в роскошном журнале и сказала:

— Стоило ли терпеть такие муки, чтобы стать похожей на меня.

Когда меня бросил мой первый муж, у меня второй раз отнялись ноги. Мой друг детства и замечательный врач Илюша устроил меня по большому благу в хорошую больницу, и меня там действительно поставили на ноги. От этой больницы у меня осталось одно воспоминание. Там ко всем без исключения обращались не иначе, как «больной». Звучало это так:

— Больные, обедать!

— Больной, на процедуры!

— Больная, к вам пришли!

После этого я иногда обращаюсь к Сысоеву, как в той больнице, особенно в тех случаях, когда это не лишено основания.

Женщина, которая увела у меня мужа, позвонила и сказала:

— Самое обидное, что я теперь не смогу с тобой общаться.

Мой двоюродный брат Слава Грановский был страшно ревнив. Все время шпионил за своей женой Ириной, думая, что она ему изменяет со всеми подряд. Судил по себе.

Как-то раз Ира возвращалась домой на частнике. Слава решил, что это очередной любовник, начал их преследовать, злоба застила глаза, и он, не справившись с управлением, влетел в забор. Новая машина разбилась всмятку, но на Славке не было ни царапины. Он тихо вышел из машины и сел на асфальт. В это время подъехали «Скорая» и милиция. К нему подошел милиционер и спросил:

— Вы не знаете, где труп?

Слава грустно посмотрел на него и ответил:

— Я труп.

Грановские жили в Ташкенте. Слава ненавидел этот город и называл Африкой. При первом удобном случае он оттуда уехал, женившись на москвичке Ире. Теперь они живут в Хьюстоне, штат Техас, и Слава мне с горечью написал: «Поменял одну Африку на другую».

Ира родилась в Москве, но родители ее были родом из Одессы и мама имела местечковый говор. Сын Иры и брата до школы воспитывался у бабушки и тоже говорил с жутким акцентом. Ира хотела отдать Антона в английскую спецшколу, в которой я когда-то училась. Тогда она была никакой не спецшколой, а просто хорошей школой № 170. Завучем там работала моя классная руководительница и любимая учительница. Так как Грановские жили в другом районе, то ребенка могли просто не взять. Я зашла в школу к Людмиле Фоминичне и сказала, что мой племянник хочет учиться в нашей школе. Она записала фамилию, сказала, что ребенок уже принят, но собеседование все равно нужно будет пройти.

Мы с Ирой повели Антона в школу. Ира работала в американской фирме и одела ребенка, как наследного принца. По дороге она повторяла, чтобы он был вежливым и не забыл поздороваться.



Мы зашли в директорский кабинет. За столом сидела комиссия — человек пять учителей и завуч с директором. Все доброжелательно смотрели на Антона. Ребенок вышел на середину кабинета и с чудовищным местечковым акцентом, не выговаривая букву «эр», громко сказал:

— Здгаствуйте.— Потом раскинул руки, как в дешевом водевиле, и добавил: — Как поживаете?

Собеседование было сорвано. Рыдали от смеха все, включая директора.

Антон прекрасно учился в нашей школе, пока родители не уехали в Америку.

У меня был школьный товарищ. Он был талантливый физик и необыкновенно образованный человек. Мне он очень нравился, а ему нравились длинноногие красавицы-блондинки. Они все были, как правило, страшные дуры. Я спросила:

— Неужели тебе не скучно с ними?

Он мне ответил:

— Зачем мне умная девушка? Я сам умный. Целый день ворочаю мозгами, прихожу вечером к девушке в гости, хочу с ней отдохнуть, развлечься, а она мне про Ван-Гога.

Я расстроилась, но на вооружение взяла — ни слова о Ван-Гоге.

У меня была одна очень красивая знакомая, Таня. У нее не было отбоя от молодых людей. Она всегда приходила и начинала свой рассказ словами:

— Ой, девочки, с каким потрясающим мужиком я сегодня познакомилась!

Ей все завидовали. Наконец, одна подруга спрашивает:

— Тань, ну почему тебе хорошие попадают, а у меня что ни мужик, то ничего особенного.

Таня посмотрела на нее и успокоила:

— А ты чаще пробуй, и тебе обязательно хороший попадет.

Мой сын Сашка был совсем маленький, а разговаривал сразу чисто, совершенно не картавил. У нас в доме, естественно, с ним никто не сюсюкал. К свекрови пришла соседка, Сашка сидел завтракал. Он ел яйцо. Соседка умиленно спросила:

— Любись ко-ко-шку?

Сашка посмотрел на нее и строго сказал:

— Я люблю яйца всмятку и по утрам.

Соседка потеряла дар речи, но больше не сюсюкала.

Сашка был очень прилежный ребенок. Даже в выходные умудрялся заниматься. Я ему говорила:

— Сань, да брось ты, все равно все не переделаешь, пойдем лучше погуляем.

На что ребенок с укоризной отвечал:

— Мамочка, я же бабушке обещал, пойди погуляй без меня.

К нам пришли гости и просят Сашеньку рассказать стишок. Он серьезно посмотрел на просившего и сказал:

— Частушка из романа Зиновьева «Зияющие высоты».

И выдал частушку из романа, который мы тогда читали и цитировали.

Моя первая свекровь была простая русская женщина.

Анастасия Ильинична подошла ко мне, обняла и сказала:

— Я знаю, что ты сирота, а сироту обижать грех, я тебя никогда не обижу.

И относилась ко мне лучше, чем к своей родной дочери Ирине.

Моя свекровь не простила собственному сыну, что он бросил нас с Сашкой, так и не разговаривала с ним до самой смерти.

Когда свекровь умирала, она сказала мне:

— Ты у Иринки одна осталась, ты уж ее не бросай, пожалуйста.

Прошло много лет, я живу в другой стране, а у Ирины никого ближе нет.

Я сейчас еду в Москву и с любовью покупаю Ирине подарки.

Моя берлинская подруга Инна иронизирует:

— Это кому рассказать — подарки для сестры бывшего мужа.

Я ждала места в хорошей больнице, в которую меня должен был устроить мой друг детства Илюша. Сидела на больничном, когда мне позвонили с работы и сказали:

— Если можешь, выйди сегодня на работу. Все равно короткий день, посидим, закусим, выпьем, а этот день прибавится к отпуску.

Я взяла такси и поехала. Села тихонько на свое место и помалкиваю. В это время прибегает Нинуля и держит на поводке белого щенка непонятной породы. Как сказала одна моя знакомая, помесь пуделя с балалайкой. Нина стала рассказывать, что щенка нашли в подвале. Не хочет ли кто-нибудь взять себе собачку?

В комнате было человек восемь женщин, все дружно обсуждали эту проблему, и только я молчала, мне было не до собаки. Вдруг смотрю, щенок подошел ко мне, сел рядом и положил голову мне на колени. Я ему тихо говорю:

— Ну что ты, глупый, хочешь от меня? Я больная, несчастная, у меня и без тебя проблем по горло.

Он меня внимательно слушал, прядал ушами и ласково смотрел.

А я тихонечко продолжала:

— Вон иди, например, к Аллочке, у нее дом полная чаша, будешь каждый день мясо лопать и на «Волге» на дачу ездить.

Собака еще доверчивее прижалась ко мне. Когда женщины огляделись, они увидели меня, тихо разговаривающую с собакой. Тогда ко мне подошла одна из них и спросила:

— Ты знаешь, что приблудная собака приносит счастье? Возьми ее, ты сейчас нуждаешься в удаче больше других.

Так у меня поселился Дик.

Дик был очень веселый и общительный щенок. У него была одна особенность. Он ненавидел людей в форме, причем не важно в какой. Особенно дико он начинал лаять, когда видел милиционеров. Как будто это я его настраивала. Я про себя думала, как хорошо, что гэбэшники в штатском ходят, а то бы меня точно в подстрекательстве обвинили.

Сысоев, когда вышел из зоны, посмотрел на Дика и заметил:

— У тебя собака ест лучше, чем мы там питались.

Купила я на Новый год огромную индейку, положила на противень и думаю, что мне с ней делать.

Сашка был маленький, вошел на кухню и воскликнул:

— Мама, это что, орел?!

У нас в институте работала Вера Алексеевна — профессор. Обычно часов в 12 дня она проходила по коридору и, театрально прижимая руки к груди, восклицала:

— Уже полдня прошло, а для вечности ничего не сделано!

Она же как-то сказала:

— Я инфаркт по внешнему виду определяю.

Злые языки болтали, что и кандидатскую, и докторскую ей написали зеки в лагере, где ее муж Яшенька, как она его ласково называла, работал начальником, а она была врачом.

Другая сотрудница, по имени Серафима Львовна, занималась пропагандой здорового образа жизни женщин, в основном писала о вреде аборт. Целыми днями она могла говорить о презервативах — как хорошо и приятно заниматься в них любовью. Дама она была очень экспансивная, страшно болела за свое дело. Как-то она ехала в троллейбусе по Садовому кольцу в самый час пик и увидела в другом конце вагона сотрудницу, которая только что вышла замуж. Сима закричала:

— Света, какими презервативами пользуется твой муж?

Она же переходила однажды Садовое кольцо между улицей Кирова и Орликовым переулком, а под мышкой у нее был муляж нижней половины тела женщины с растопыренными ногами. На Садовой сбилось движение, все тарасились на гениталии. Сима невозмутимо стояла на светофоре. К ней подошел милиционер и что-то возмущенно сказал. Сима начала читать ему лекцию о вреде абортов. Молоденький лейтенант стал малинового цвета, а когда она строго спросила его, пользуется ли он презервативами, он перекрыл Садовое кольцо и проводил Симу на другую сторону.

Моя подруга Катя жила в коммунальной квартире. У них было две комнаты в разных концах коридора. Мама умерла, сестра Ольга вышла замуж и переехала к мужу, и Катя осталась одна в двух комнатах. Я иногда оставалась у нее ночевать. Комнаты выходили окнами на Пушкинскую улицу, прямо на театр Станиславского и Немировича-Данченко. Пушкинская улица шла под гору, и в комнате, в которой спала я, окна были ниже, чем в Катиной. В эту ночь Катина сестра Ольга опоздала на метро и попыталась попасть к нам. Квартира была на первом этаже, и соседи запирали дверь на тяжеленную щеколду, цепочку и оставляли ключ в двери. Когда Ольга поняла, что в дверь звонить бесполезно, она начала бегать под окнами и кричать. Мы спали как убитые. Ольга так кричала, что остановился рейсовый автобус и водитель спросил, чем он может помочь. Ольга попросила ее посадить. Ольга — девушка пышной комплекции, гибрид Гундаревой с Дорониной, и водитель чуть не надорвался. Он сначала влез в окно сам, а только потом смог втащить Ольгу. Они попили чаю, посидели, поговорили. Парень вышел через дверь, я не проснулась.

Наутро я увидела Ольгу, спящую на полу и накрытую от холода ковриком. Я спросила ее: почему она не легла со мной? Диван ведь большой.

Она ответила:

— Я так сильно шумела в комнате, а ты ни на что не реагировала, вот я и подумала, что ты умерла.

Я обиделась:

— И ты даже врача не вызвала!

— Я так устала,— сказала Ольга,— что решила до утра подождать, покойнику ведь уже все равно.

Когда Ольга подсаживала водителя, он умудрился на нее упасть и сломать ей палец. Наутро она пошла в поликлинику. Там ее спросили, как это произошло. Ольга, вместо того чтобы просто сказать, что упала, начала рассказывать всю сложную историю.

Врач выслушал и записал: «Удар тяжелым предметом».

Однажды Ольга угодила в сумасшедший дом. Случилось это так: она проходила на работе очередную диспансеризацию. Дошла очередь до психиатра. Он задает ей вопросы, а Ольга абсолютно искренне отвечает.

Диалог был примерно такой:

— Скажите, как вы живете с мужем?

— Очень плохо.

— В чем это выражается?

— Он такой зануда, все время пилит меня за все. Иногда мне хочется его убить.

— А еще кого-нибудь вам хочется убить?

— Когда я еду на работу в переполненном транспорте, я хочу убить всех, кто довел нас до этого.

Она и не заметила, как врач вызвал санитаров. Через какое-то время у меня на работе раздался звонок:

— Ларисочка, вызволи меня отсюда. Я дала санитарке рубль, и она разрешила мне позвонить. Здесь все сумасшедшие.

Когда я узнала, что произошло, я ей сказала:

— А ты нормальная? С советским психиатром разве можно говорить откровенно?

Одна знакомая работала в издательстве редактором и делала книгу о скальной живописи. На одном петроглифе был изображен голый мужчина с огромным стоящим членом. Работник Главлита посмотрел и велел член убрать. Моя знакомая побежала в обком и член отстояла.

У меня была подруга Нина, которая родилась в Париже. Ее родители были белоэмигрантами. Она говорила:

— Я еще хуже, чем еврей. У меня в паспорте в графе «Место рождения» стоит Париж.

Нинины родители вернулись на родину, когда Нине было пять лет. Их поселили в Республике Коми, в бараке рядом с лагерем.

Ее первое впечатление по приезде:

— Мамочка, смотри, сколько Эйфелевых башен!

Мой первый муж был авиаконструктор, у него была какая-то сверхсекретность, и я успокаивала себя: «Кто-то же должен остаться жить в этой стране».

Когда мы с ним развелись, я сказала себе: «Больше меня ничего здесь не держит».

Я решила уехать. В это время моя подруга Нина собиралась в очередной раз в Париж. Ее старшая сестра вышла замуж за француза и жила во Франции. Нине с мамой разрешали по очереди ездить к сестре в гости. Она всегда спрашивала меня, что привезти в подарок, а я отвечала: спасибо, у меня все есть. На этот раз я сказала, что у меня к ней огромная просьба — привезти мне жениха, лучше, конечно, фиктивного. Нинка чуть в обморок не упала, но жениха мне привезла.

У Нины была знакомая француженка Натали — она работала во французской редакции «Московских новостей». Натали была членом ФКП. Пожив в России с полгода, она вышла из компартии и стала яркой антикоммунисткой. Внешне Натали была похожа на простую русскую девушку. Один сезон у француженок, живших в Москве, было модно ходить в ватниках. Натали, надев ватник, пошла в «Березку». Ее туда не пустили. Натали стала скандалить — она прекрасно говорила по-русски и чудовищно ругалась матом. Все закончилось милицией. Больше Натали не ходила в «Березку» без документов, а вскоре вообще уехала из России: ей не продлили контракт.

Вскоре по приезде из Парижа Нина подошла ко мне и сказала:

— Мы едем сегодня к Натали знакомиться с фиктивным женихом.

Было католическое рождество, и за неимением индейки Натали приготовила курицу. Меня познакомили с присутствующими. За столом сидели трое мужчин: один француз — для меня, как сразу я определила, другой — красавец-блондин Слава и невысокий, интеллигентного вида мужчина, представившийся Рустамом.

Напротив меня сидел Рустам. Мы славно болтали. В это время в Москве показывали ретроспективу фильмов Фасбиндера. Разговор естественным образом зашел о кино. Красавец Слава многословно и восторженно лопотал о гениальном режиссере, Рустам снисходительно слушал и молчал, потом тихим, вкрадчи-

вым голосом сказал несколько фраз, и я вытаращила глаза — так говорить мог только профессионал. У меня в голове заработал «компьютер», и я спросила: — Скажите, вы случайно не Рустам Хамдамов?

Это оказался он. Про Рустама в московских интеллигентных кругах ходили легенды — гений, гуру, сам Антониони просил Рустама работать у него, он дружит с Тонино Гуэрро.

Я забыла, зачем пришла к Натали, и протрепалась всю ночь с Рустамом, ни разу не взглянув на жениха. Я подумала так: «Жених-то все равно фиктивный, мне ему глазки строить не надо, а встреча с Рустамом выпала раз в жизни».

Рустам нарисовал и подарил мне на память два рисунка — силуэты прекрасных незнакомок.

Как потом оказалось, жених и Рустам ухаживали за красавцем Славой. Меня жених с первого взгляда полюбил за то, что я на него никаких притязаний не имела.

Я бы на месте Славы выбрала Рустама.

Через несколько дней жених переехал ко мне. Он привез с собой двух кошек и шесть канареек. Я читала ему вслух Пушкина, мы слушали его любимого Вагнера, и он рассказывал мне, как мы будем жить в Париже:

— Сашу отдадим в иезуитский интернат, там самое лучшее образование. Ты можешь иметь сколько хочешь любовников, но развода тебе я не дам.

Когда француз уехал домой, меня вызвали в КГБ и стали расспрашивать про жениха. Со мной беседовал симпатичный молодой человек примерно моего возраста. Я кокетливо спросила:

— Это вы меня вербуете, что ли?

На что красивый гэбэшник серьезно ответил:

— Нет, это надо заслужить.

А я обиделась — значит, я не заслужила? — и ничего ему не рассказала.

Мой сын Саша очень хорошо относился к жениху, но, когда узнал, что Сысоева бросила жена, сказал:

— Мама, выйди замуж, пожалуйста, за Славу Сысоева, он такой настоящий, а не фиктивный.

Мы в то время с Сысоевым были просто друзьями.

Мы с Сысоевым знали друг друга задолго до того, как стали жить вместе. Мы даже дружили семьями. Сначала распалась моя семья, и Сысоев в своих письмах из зоны утешал меня. По выходе его из лагеря, буквально за воротами зоны, жена объявила ему, что теперь, когда он на свободе, она также хочет быть свободной. Я долго уговаривала эту женщину не бросать Сысоева, словно чувствовала, чем дело кончится, а потом, исчерпав все аргументы, сказала:

— Все, что ждет тебя в этой жизни, — это климакс и одинокая старость. Подумай и измени свое решение.

Она заплакала, но решение не изменила. Впоследствии я страшно жалела о своих словах, потому что виноватой оказалась не она, совершившая поступок, а я, прокомментировавшая его.

Когда Сысоев сидел в лагере, про него часто говорили по «Свободе» и «Голосу Америки». Как-то к нему подошел охранник-бурят и заговорщически сказал:

— Сысоев, Сысоев, нарисуй порнографию!

Начальник лагеря, где сидел Сысоев, носил во внутреннем кармане пиджака фельетон про Славу, напечатанный в «Литературной газете», и при случае гордо показывал.

После его выхода из зоны многие приглашали Сысоева в гости, хотели с ним познакомиться. К нам домой приезжали художники, иностранные корреспонденты и дипломаты, писатели и искусствоведы. Я старалась всех принимать одинаково радушно. Как правило, пекала пироги с капустой и подавала чай. Многие иностранцы хотели купить работы.

Однажды пришел голландский консул. Он долго рассматривал работы, потом, наконец, выбрал серию из четырех работ. Сысоев назвал цену, естественно, в рублях.

Консул подумал и сказал:

— Я ведь беру целых четыре работы, а когда покупают оптом, то полагаются скидки. Может, продашь на десять рублей дешевле?

К нам в самом начале перестройки пришел районный гэбэшник. Что-то ему нужно было разнюхать. Они с Сысоевым стали дискутировать, Слава нападал на советскую власть, работник органов защищал. Потом наконец гэбэшник говорит:

— Ну теперь уже все позади, вы на свободе.

На что Сысоев с пафосом воскликнул:

— А кто вернет мне загубленные годы и мою жену?!

В одном салоне Слава встретился с Толей Брусиловским. Брусиловский бросился чуть ли не целоваться, а Сысоев отстранился и очень холодно спросил:

— Вот ты, Толя, всю жизнь рисуешь порнографию и имеешь мастерскую с видом на Кремль, а я никогда ничего подобного не рисовал, мастерскую у меня отняли и посадили за порнографию. Как ты объяснишь этот факт?

— Ну, старик, у тебя такая карма,— философски ответил Брусиловский.

Первая выставка Сысоева в Союзе была в Доме медиков. Выставку устроила на свой страх и риск наша подруга Лина, за что и пострадала. Ее после этого выгнали с работы. А выставку Сысоева закрыли на третий день под предлогом, что по улице Герцена проходит правительственная трасса. Все это произошло в самый разгар перестройки, в 1988 году.

Один художник подошел к Венедикту Ерофееву и спросил, что тот думает о современном искусстве. У Вени еще не было искусственного голоса.

Венедикт сделал жест рукой вперед ладонью, означающий « подожди », выпил рюмку и написал на бумаге: «А я о нем ничего не думаю».

Один человек смотрит на картину, где баба стоит посредине поля, на котором растут железные молоты, и косит их серпами, и спрашивает: «Что это значит?» Я не успела рот раскрыть, как сзади кто-то отвечает: «А это все, что у советской власти за семьдесят лет выросло».

Объединение «Эрмитаж» устраивало выставку художников на Петровских линиях. Мы пришли вешать работы. Были Вадим Захаров, Саша Юликов и другие. Вдруг приходит пожилой человек и скандалит: почему его работы висят не в самом центре и не на самой лучшей стене? Ему отдают лучшую стену, и он успокаивается. Потом к нему подошла девушка-искусствовед, державшая в руках одну из его картин, и почтительно спрашивает:

— Скажите, пожалуйста, как эту работу вешать — так или, — переворачивает ее вверх ногами, — так?

Он посмотрел на работу и махнул рукой:

— Да какая разница, вешайте как хотите! Я не помню.

Я онемела. Сысоев, с неприязнью смотревший на эту сцену, спросил у Юликова:

— Это что за явление?

Юликов отвел его в сторону и шепотом сказал:

— Это же Злотников, основатель абстракционизма.

Сысоев ответил:

— Извини, а я думал, Василий Иванович Кандинский — основатель абстракционизма.

Перед открытием этой выставки в зал вошли две женщины, очень похожие друг на друга. Невысокие, седоватые, бесцветные.

«Как коряги», — подумала я.

У Сысоева на этой выставке была представлена серия лубков «Модернизм», где едко высмеиваются нравы современных художников-нонконформистов.

Женщины рассматривали серию с конца и страшно смеялись. Когда дошли до начала и увидели фамилию художника, улыбки сменились гримасами ненависти, и они зашипели:

— Это безобразно снять немедленно!

Оказывается, это были Кирюшова и Григорьева — представители управления культуры.

Художник Слава Провоторов, который знал их по Строгановке, сказал:

— Они были самыми бездарными студентками, перебивались с двойки на тройку, а теперь отыгрываются на всех.

Генриха Сапгира обворовали. Ходили слухи, что он очень богатый человек.

Генрих смеялся и говорил:

— Глупые, они не знали, что главное богатство у меня спрятано здесь.

И показывал пальцем на сердце.

А на пальце был старинный дорогой перстень.

Сысоев в молодости работал «в людях» макетчиком. Его бригадиром был Иван Иванович — люберецкий мужик, ненавидевший советскую власть. Иван Иванович был кладезем шуток и прибауток, по большей части нецензурных, но очень точных.

Когда Иван Иванович увидел Славину первую девушку, он ему сказал:

— Тебе, Слава, нужна буфетчица, толстая, добрая, чтобы все тащила в дом. А эти тощие лахудры — от них какой прок?

У Сысоева был друг — «сумасшедший» Иосиф. Слава называл его ласково Чайником. Он в детстве был очень умным, перечитал много книг, и у него что-то сдвинулось в голове. Он никогда не работал, жил на Алексея Толстого в коммуналке, получал мизерную пенсию и был очень остроумным человеком.

Иосиф много лет был в курсе того, что рисует Сысоев. Потом в какой-то момент он испугался, пошел в КГБ и сказал, что Сысоев антисоветчик.

Слава прекратил с ним все отношения. Прошло много лет. Сысоев отсидел за свои художества. (Иосиф, кстати, не имел отношения к посадке.) К Славе пришла подруга детства Чайника и сказала, что тот страшно казнил все эти годы и хочет приехать к нему в гости.

Приехал Чайник и попросил у Сысоева прощения. Славик его простил, а потом мне сказал:

— Человек совершил подлость, но раскаялся и попросил прощения. Это настолько редкая вещь в современном мире — в моей жизни это единственный случай. — А потом задумчиво добавил: — Может, он действительно сумасшедший?

Славина мама была тишайшая, деликатнейшая женщина. Она никогда не повышала голоса и вела себя очень достойно. Ее родная сестра Валентина была полной ее противоположностью — властная красавица, не терпящая возражений, резкая, всегда чем-то недовольная.

Чайник пришел к Славе и застал Валентину. Посмотрел на нее, послушал и сказал:

— Сысоев, вот твоя мать!

Как-то раз Валентина рассказывала о своей молодости и о том, кто за нею ухаживал:

— Ходил тут один, Армашка Гаммер, маленький, страшенький, мне он совершенно не нравился.

Оказалось, что она имела в виду миллионера Арманда Хаммера.

Сысоеву на работе в художественном комбинате работяги говорили:

— Сысоев, ты, наверное, еврей. Не пьешь, и глаза какие-то грустные.

Один рабочий в художественном комбинате ругался:

— Эти жида пилят на скрипочках, а мы должны на станках гробиться!

Сысоев ему ответил:

— Ты свое детство провел в подворотнях — соседей пугал, пил, курил да харкал, а этот еврейский ребенок с утра до ночи на скрипочке упражнялся. Кто тебе мешал тем же заниматься?

Когда Сысоева увольняли из художественного комбината, он раздраженно сказал директору:

— Ко мне никаких претензий никогда не было. План моя бригада выполняла, пить я не пил.

Парторг, который был при этом, грустно посмотрел на него и заметил:

— Лучше бы ты пил...

Сысоев пришел в гости к Мише Рошалю, и они пошли за бутылкой. До закрытия магазина оставалось несколько минут, а в винный отдел стояла большая очередь. Миша пошел с черного хода договариваться с рабочим. Тот посмотрел на него неприязненно и сказал:

— Такой молодой, а уже еврей — без очереди лезешь.

Слава много лет назад поехал в путешествие по Вологодской области. Пришел к Ферапонтову монастырю и любуется видом, открывающимся оттуда: вся Вологодчина как на ладони.

Какой-то местный житель подошел к нему и спрашивает:

— Красиво?

— Очень, — ответил Слава.

Мужик посмотрел на Сысоева, протянул руку вдаль и произнес:

— А там дальше — лагеря, лагеря, лагеря...

Когда Сысоев понял, что «запахло жареным», он взял свои самые антисоветские рисунки, позвонил одной иностранной даме — она работала в Москве корреспондентом — и попросил их спрятать.

Дама бережно взяла их, прижала к груди, как ребенка, и унесла.

Больше Слава их никогда не увидел. Мы приехали в Париж, встретились с этой женщиной, и Сысоев спросил, когда сможет получить свои рисунки. Дама, когда-то хорошо говорившая по-русски, вдруг перестала его понимать. Потом наконец пролепетала, что рисунки очень далеко... На том все и закончилось.

Сысоев рисовал новую картину. Я подошла и говорю:

— Опять цвета серо-буро-малиновые.

Слава посмотрел на меня и сказал:

— Дураку полработы не кажут.

Славина мама не пришла к нему на суд.



Я сказала ей:

— Даже к убийцам матери приходят на суд.

А она так объяснила свой поступок:

— Я боялась, что у меня случится сердечный приступ. А судьи вменяют это Славе в вину.

## 2

Мы выехали в Голландию по частному приглашению в 1989 году. До этого нас не выпускали на Запад. Приглашение прислал Август Диркс. Августа знала вся «левая» московская тусовка. Мне он напоминает сказочного Иванушку-дурачка. У Августа есть два брата. Когда умерли родители и оставили хорошее наследство, братья поровну разделили его. Один брат купил дом, другой вложил деньги в фирму, а Август купил корабль, на котором еще, похоже, ходили в поход викинги. Корабль от старости и ржавчины тихо разваливается сам по себе, но Август в полном восторге живет на нем и радуется.

Художник Никита Алексеев, когда узнал, что мы живем в Амстердаме, сказал:

— Амстердам напоминает мне дачу: маленький, уютный, и всегда идет дождь.

В Амстердаме мы познакомились с девушкой. У нее была кличка Авария. Она всем рассказывала, что знала в совершенстве французский язык, потом попала в аварию и совершенно забыла его.

Мы сидели в «Цирке» — это голландская организация по культурным связям с Россией. Ее организовал Август Диркс. И тут вошла Авария. Она была роскошно одета, подошла к нам, и нас познакомили. Это явление Сысоев вспоминает по сей день:

— Вошла не женщина, а дьявол с усами, ноги волосатые, кривые, копыта раздвоенны. Тут же бросилась ко мне целоваться. У нее в аварии не только французский отбило.

Мы приехали первый раз в Германию по приглашению организации AIDA. Это отделение Amnesty International, которое защищает деятелей искусства. Славу защищала гамбургская секция «Аиды», которую возглавляет Сибилла Алерс. Сысоев сказал ей, что благодаря их защите он смог выжить — не попал в сумасшедший дом, и в лагере к нему относились корректно. Сибилла заплакала от счастья, а я искренне позавидовала ей: ради таких минут стоит жить на свете.

Из Амстердама мы уехали в Париж — там выходила Славина вторая книжка. В это же время должна была открыться выставка его работ. Галерею нашла Николь Занд.

— В этой галерее выставлялся Ролан Топор,— сказала она,— а тебя французы русским Топором называют.

Мы пошли в гости к Ролану Топору, он показывал нам свои работы, пили вино из бутылок с этикетками, нарисованными Топором. Топор долго показывал Славику новейшие рисовальные принадлежности, а потом оба признались друг другу, что дорогушие ручки лежат без дела, а рисуют оба перышками «за копейку» — какие раньше в школьную ручку вставлялись.

Мы были в Париже в гостях у художника Оскара Рабина и выпивали. Пришел Александр Глезер. Когда Сысоев сидел в зоне, Глезер издал его первую книгу. Слава поблагодарил Шуру за участие в кампании защиты, и Глезер вдруг начал долго рассказывать, что книга, которую он издал, не принесла ему прибыли и так тяжело было ее распространять. Сысоев слушал, слушал, потом спрашивает:

— Может, я тебе еще и должен?

Славин галерейщик Вернер Таммен — симпатичный западный немец, который методично изживает из себя по капле немца. Он постоянно опаздывает, теряет ключи от машины, забывает где-то важные бумаги. Вечером он приезжает домой, когда уже нет ни одного места для парковки машины. Тогда он ставит машину в неположенном месте. Каждое утро приходит полицейский и вешает квитанцию со штрафом на его машину. Вернер снимает бумажку, кладет на стол рядом с другими, не оплачивает их и продолжает ездить как ни в чем не бывало. Наконец полиция теряет терпение, его лишают прав на полгода, заставляют заплатить все штрафы и отправляют на так называемый «идиотен-тест», то есть проверить его умственные способности. Как сказала его подруга Габи:

— Разве нормальный человек может из раза в раз совершать идиотские поступки?

Мы провожали Машу с дочками на западноберлинском вокзале. Стояли и ждали поезда. Вдруг рядом с нами остановилась большая группа людей. Слышим: наши соотечественники. Шумят, суетятся, в руках музыкальные инструменты — целый оркестр.

Маша смотрит на них с неприязнью и тихо говорит:

— Ну вот, теперь и не сядешь спокойно, смотри, сколько их.

Сысоев подумал и громко сказал:

— Когда будем посековские листовки раскидывать — сейчас?

Музыкантов как ветром сдуло.

Подошел поезд, мы посадили Машу с девочками, а Слава довольно сказал:

— Видишь, а ты боялась, что мест не будет. Вагон пустой оказался.

Лена Кешман, когда узнала, что мы поселились в Германии, написала мне в письме: «Как я тебе завидую, ты можешь теперь Гессе в подлиннике читать».

Я смеялась до колик в животе. В то время я работала в одной фирме плюс занималась неквалифицированным физическим трудом: делала ремонт в квартире, которую мы нашли с невероятным трудом, а жили в общежитии на краю Восточного Берлина в малюсенькой комнатке. Слава много рисовал, и свет горел всю ночь. Я вставала каждый день в пять утра, уходила и приезжала в семь вечера еле живая. Ужинала и падала замертво. По-моему, это было единственное время в моей жизни, когда у меня не было потребности читать вообще, а уж Гессе в подлиннике тем более.

В Берлине выходила газетенка на русском языке. Сысоев так охарактеризовал ее:

— Это оккупационный листок времен войны, который раболепно восхваляет немецкий порядок. Девиз газеты — ни капли собственного мнения.— Потом добавлял: — Главный редактор всю жизнь верой и правдой советской власти служил, так что ему не в новость задницу лизать.

Мы познакомились с сыном писателя Льва Гинзбурга, и это было единственное его достоинство, которым он, как сын лейтенанта Шмидта, всячески пользовался. Гинзбург ходил по немецким организациям, которые выдают стипендии, говорил, что он сын того самого Гинзбурга, который написал роман про истребление немцами евреев, и что он тоже хочет написать роман.

Немцы давали ему много раз стипендии, а Гинзбург этим беззастенчиво пользовался.

Славина мама пожаловалась мне на боль в колене.

Я ей отвечаю:

— Было бы странно, если бы у вас в таком возрасте оно не болело.

На что она резонно замечает:

— Но вторая коленка у меня ведь не болит.

Женя Попов приехал к нам в гости, и мы пошли покупать подарки его жене Свете, которая только недавно родила Ваську. Пришли на крытый рынок, таких в Берлине сохранилось только три. Женя ходил по рынку, внимательно все рассматривал, потом говорит:

— Это музей материальной культуры.

Мы пожаловались Жене Попову, что здесь невозможно купить «толстые» литературные журналы — приходят с большим опозданием да и стоят очень дорого. Женя сказал:

— А вы свой журнал сделайте.

Так начался наш журнал «Остров».

Нашим главным спонсором была Нина, владелица книжного магазина «Радуга».

Сысоев спросил Сергея Каледина:

— Сережа, кого ты видишь на месте Ельцина?

— Аллу Пугачеву, — ответил он. — У нее поклонников полстраны, да и вообще баба компанейская.

Я пришла с работы домой. Сысоев испуганно посмотрел на меня, приложил палец к губам и тихо сказал:

— Мамочка, там у нас пьяный классик спит.

Сысоев научил нашего кота разным трюкам. Мы этим гордились и считали его очень умным. Одна моя подруга, когда звонит мне, каждый раз спрашивает:

— Ну что, кот еще не заговорил?

Володя Тольц, сотрудник радио «Свобода», узнав, что я нахожусь в Русском доме на Friedrichstrasse, ехидно заметил:

— Сидишь в гэбэшном гнезде?

— А ты от цэрэушного привет передаешь? — обиделась я.

Андрей Мальгин был у нас в гостях в Берлине со своим молодым сотрудником Эдуардом Дорожкиным. Эдик, умный и образованный юноша, очень грамотно и эмоционально возражал Мальгину. Когда у Мальгина не нашлось больше аргументов, чтобы ему ответить, он сказал:

— Все. Молчать. Уволю.

Эдик обиженно замолчал, правда, ненадолго.

Когда Аида Сычева узнала, что Сысоев занялся изданием журнала, страшно разгневалась:

— Такой замечательный художник, а занимается совершенно не своим делом! Его нужно обратно в совдепию отправить, да чтобы КГБ преследовало, вот тогда он перестанет дурака валять и снова возьмется рисовать.

Сысоев, который очень хорошо относится к Аиде, задумчиво отметил:

— Может, она и права, но пусть лучше сама туда едет.

Риммочка Снурникова поступила работать в немецкую организацию, которая знакомила немцев с историей и обычаями еврейского народа. После этого она с гордостью говорила:

— Я теперь еврейкой работаю.

Моя знакомая, стопроцентная еврейка, пожив в общезитии, где были в основном ее соплеменники, с ненавистью сказала:

— После общения с ними хочется вступить в общество «Память».

Наш сосед, пожилой интеллигентный немец, проработавший всю жизнь учителем в школе, когда узнал, что мы русские, начал вдруг долго оправдываться, рассказывать, что во время войны он служил писарем в штабе, а затем добавил: «Простым солдатом». Сысоев потом прокомментировал:

— Все они простыми солдатами были да писарями.

Виктор Ерофеев был в Берлине и подарил нам первый том из своего трехтомника; остальные тогда еще не вышли. Сысоев с удовольствием разглядывал отлично изданную книгу, потом задумчиво сказал:

— Бунина откроешь — «Темные аллеи», Куприна возьмешь — «Олеся», а у Ерофеева сразу — «Говнососка».

Женя Попов сказал Сысоеву:

— Вам нельзя знакомиться с Горенштейном, вы через пять минут подеретесь.

Сысоев выслушал и добавил:

— Нам хамы не нужны, мы сами хамы.

Инна Шафир с друзьями отдыхала в Испании. Они познакомились с парой симпатичных немцев. Эти немцы никак не могли запомнить имена ее спутников. Инна объяснила:

— Смотрите, все очень просто — это Володя, так звали Ленина.

— О, понятно, — закивали немцы.

— А это Никита, так звали Хрущева.

Немцы покивали, а потом сказали:

— Что же нам говорить, у нас обоих отцов Адольфами звали.

Женя как-то заметил:

— Мы с Ерофеем выступали всегда в паре: я в роли пьяницы, а Витя в роли бабника.

Сергей Каледин очень любит давать советы и учить жить. Как-то раз он напился и сломал замок от подъезда, за который были заплачены огромные деньги. Чтобы починить его, надо было заплатить почти столько же, сколько стоил сам замок. Женя Попов позвонил наутро Каледину и говорит:

— Сережа, я вот по какому поводу хотел с тобой посоветоваться.

Каледин обрадовался и приготовился слушать.

— Как ты думаешь, что нужно делать в такой ситуации: люди с большим трудом достали сложнейшей конструкции замок, заплатили за него большие деньги, тратили свое личное время, чтобы по-человечески организовать жизнь, и тут один гад напивается и одним движением ломает этот замок. Что бы ты посоветовал с этим мерзавцем сделать? — елейным голосом спросил Попов.

Каледин тут же ответил:

— Да убить этого гада мало! Ну прости засранца, виноват, я все сделаю, что от меня зависит, исправлю и заплачу.

На короткое время он перестал давать всем советы и всех учить жить.

Я подарила Людмиле Стефановне Петрушевской сысоевскую иллюстрацию к ее пьесе «Мертвая зона». Она долго смотрела, потом говорит:

— Ленин должен криво улыбаться, так по тексту.

Я робко заметила, что, по-моему, он криво улыбается.

Петрушевская строго посмотрела и сказала:

— Не так криво, как бы хотелось.

Петрушевскую спросили, как она работает с режиссерами, когда ставят ее пьесы. Она ответила:

— Нормально работаю. Вот Виктюк десять лет назад поставил мою пьесу, с тех пор я с ним и не разговариваю.

Петрушевская рассказывала:

— У меня есть знакомая пара бомжей. Они работают слепыми. Как-то вечером вижу, идут они домой с работы, палочка за ненадобностью под мышкой, идут себе под ручку. Вдруг мимо собака пробежала, один из них обернулся и закричал: «Смотри, гуляш побежал!»

Мама Ольги Завадовской настаивала, чтобы я послушала «Евгения Онегина» на немецком языке. Я бешено сопротивлялась, мотивируя тем, что боюсь испортить впечатление от оперы. Просто страшно Пушкина на немецком слушать.

Инна Штейн, выслушав эту историю, философски заметила:

— Мне теперь ничего не страшно, я «Порги и Бесс» на латышском слушала.

В Берлине живет потрясающая женщина — Сун Комарова. Вообще-то ее зовут Ира, и ее девичья фамилия Ким. Она кореянка. Когда она вышла замуж и взяла фамилию мужа, получилось бы смешно, как она сама сказала, с ее внешностью быть Ирой Комаровой.

Друзья называли ее ласково Sun (солнышко). Так она себя переименовала на восточный лад: Сун.

Родной дядька Сун — замечательный писатель Анатолий Ким, который, с ее слов, оказал большое влияние на ее развитие.

Сун — разносторонне талантливый человек. Она пишет прекрасную прозу и стихи по-немецки, рисует и прекрасно поет. Работает в музыкальной школе и преподает вокал.

В двух номерах «Острова» были напечатаны ее повести.

У Сун сложное положение в Германии. Они с Борей просили политическое убежище, но им отказали. Обычно людям, которые прожили в Германии больше пяти лет и не были замечены ни в каких нарушениях да еще и работают, дают вид на жительство. Но только не Сун. Она приходит в полицейское управление, одетая, как примадонна, ни одной просительной нотки в голосе, на лице написано нескрываемое презрение к сидящим там служащим. И они мстят ей тем, что отказывают в продлении вида на жительство. Сысоев ей сказал:

— Ты бы хоть прикинулась серенькой мышкой, а то ходишь, как королева. Чиновники любят, чтобы перед ними унижались.

Игорь Губерман подарил Сысоеву свою книгу и надписал: «Слава, ты русский гений. С древнееврейским приветом. Губерман».

Губерман с Сысоевым делились своими впечатлениями о зоне, как два бывалых зека. Потом Сысоев начал жаловаться, что он до сих пор не реабилитирован. Губерман сказал:

— Слава, не связывайся с реабилитацией. Не уподобляй себя им. Есть древнееврейское проклятие: «Чтобы вам быть рабами ваших рабов». Они рабы своих рабов, и этим все сказано.

Игорь Губерман сказал мне:

— Когда нас с тобой начнут приглашать в гости те, к кому тебе идти не хочется, скажи: «Губерман уже такой старенький, только сидит и плачет».

Мы с Виктором Ерофеевым пошли к Вере Лурье. Вера очень интересно рассказывала о своей жизни, о встречах с Андреем Белым, Константином Вагиновым и другими знаменитостями.

Когда мы от нее ушли, я сказала Виктору:

— Замечательная беседа, — приду и все запишу.

— Я тебе запишу! — пригрозил Ерофеев.

Вера Лурье рассказывала, что за ней ухаживал, как она сказала, Костя Вагинов. И показала фотографию, на которой она сидит в обнимку с красивым молодым человеком. Я осторожно спросила:

— А он вам совсем не нравился?

— Ну что вы! Мы все были влюблены в Гумилева.

Виктор Ерофеев попросил познакомить его с какими-нибудь интересными людьми, чтобы написать статью о русских в Берлине. Я познакомила его с Людой Мамедовой. У нее был пятилетний контракт в Немецкой опере. Она пела в «Макбет» главную партию.

Мы ужинали в ресторане, Виктор вежливо и отстраненно расспрашивал Людочку о ее жизни. Когда речь зашла о спутнике жизни, Людочка пожаловалась, что ей очень нелегко найти партнера. Виктор первый раз с интересом посмотрел на собеседницу.

— А в чем дело? — спросил осторожно.

— Вот, например, возьму я два яблока, приложу к глазам, потом натяну осторожно черный чулок на голову, прослежу, чтобы яблоки на нужном месте выпирали, встану у двери и выжидаю, когда любимый пройдет. Голос у меня хорошо поставлен, издам звук и смотрю на реакцию. Ну если от таких безобидных шуток человек в обморок падает, то о чем вообще говорить? А у меня еще столько интересного припасено.

Виктор с каким-то сладострастием выслушал эту историю и сказал:

— Я думаю, наше знакомство надо продолжить.

Я рассказываю Наташе Бретшнайдер про какого-то еврея, который меня дико подвел. Наташа философски замечает:

— Евреи тоже разные бывают.

Один из наших эмигрантов обманул Общину на триста марок. Когда ему начали пенять за это, он ответил:

— Что вы от меня хотите? Так меня воспитала советская власть.

Инна собирается в книжный магазин. Я прошу купить мне Шатобриана.

Она мне говорит:

— Что ты! Тебе Сысоев еле Фрейда разрешил читать.

Инна мне говорит:

— Одно из четырех: да-да или нет-нет.

Мои друзья пригласили к себе Фридриха Горенштейна. Слушали его целый вечер, потом, когда он уходил, сказали, что было очень приятно и что встреча им много дала.

На что Горенштейн ответил:

— А мне было неприятно, и встреча абсолютно ничего не дала.

Кира Сапгир сказала про Илью Кабакова:

— Пока Илюша все грибы с одной полянки не соберет, не уйдет оттуда.

Патрик Шёне, немецкий врач-ортопед, сказал Жене Попову:

— У вас с ногой ничего страшного, все будет в порядке.

— Спасибо, доктор, я хоть и рукой пишу, все равно хорошо, что нога будет здоровая.

Был литературный вечер Татьяны Толстой и Александра Шарипова. Все вопросы были только к Толстой.

Олег Юрьев сказал про Татьяну Толстую:

— Это у них наследственное. Заполнять собой все пространство.

Татьяна Толстая сказала про современных писателей, живущих в России, что они думают только о материальных благах. На что Женя Попов заметил:

— Сама она в своем Принстоне, или как его там, поди тоже не на велосипеде ездит.

Игорь Губерман рассказывал про Жванецкого, что у него очень молодая жена и маленький ребенок. Я сказала:

— Не понимаю, зачем нужно в таком возрасте жениться на таких молодых.

Сысоев и Губерман хором воскликнули:

— Потому что очень хочется!

Генрих Сапгир пришел к нам в гости с Сашей Лайко.

Посмотрел на стены и сказал:

— О, как много работ на стенах прибавилось!

Мы с Сысоевым промолчали. Когда он приезжал в прошлый раз, висели те же самые работы, просто Генрих был сильно выпивши и ничего не помнил.

Про Александра Глезера Генрих сказал:

— Он с Нарбиковой разошелся, а она с ним нет, не отстает от него.

Генрих Сапгир с Сашей Лайко опоздали, и Саша оправдывался:

— Ты знаешь, сели обедать, решили выпить по одной рюмке, а выпили больше, сама понимаешь...

Я спросила:

— Саша, зачем днем пить?

Лайко воскликнул:

— Вечером же рюмку не видно!

Спросили у Генриха Сапгира, как дела у нашего общего знакомого Оскара Рабина — художника, живущего в Париже.

— У Оскара к Богу свои претензии,— сказал Генрих.

Генрих Сапгир рассказал:

— Кира (бывшая жена Генриха) купила себе роскошное норковое манто и пришла в нем на вечер Евгения Рейна в Париже. После выступления подошла к его жене Наде, которая продавала Женины книги, и говорит:

— Подари мне, пожалуйста, книгу, а то у меня нет денег.

Надя посмотрела на нее и сказала:

— На норковое манто у тебя деньги есть, значит, и на книгу найдешь.

Когда один известный писатель едет из Германии в Москву, у него всегда огромная, неподъемная сумка с вещами, которые он любовно выбирает для дочки и жены.

Сысоев попросил писателя взять с собой несколько номеров «Острова» для Жени Попова.

— Что ты! — замахал руками писатель.— Мне нельзя поднимать тяжелое, у меня будет отслоение сетчатки.

И взял один экземпляр.

Мы сидели у замечательного писателя Анатолия Приставкина, выпивали и говорили о современной литературе. Томас Решке, переводчик Приставкина на немецкий, сказал, что считает Горенштейна современным Достоевским.

Приставкин надулся и молчал весь вечер.

Томас Решке приехал в Москву и пошел в редакцию получать причитающиеся ему 180 рублей за переводы. Отстоял очередь в кассу, назвал свою фамилию и сумму. Кассирша долго писала, потом подала ведомость на подпись, Томас увидел чужую фамилию и сумму 440 рублей. Решке сказал кассирше, что фамилия тоже иностранная, но не его.

Женщина стала на него орать, что она долго писала, что она не виновата и так далее. Он настоял на своем, со скандалом получил причитающуюся ему сумму и ушел.

Я говорю:

— Она, наверное, потом всем рассказывала, какой честный немец попался.

А Решке с горечью сказал:

— Да она всем говорила: «Какой дурак немец попался!»

У Сысоева было пять жен. Я шестая. Меня он называет «шестое чувство седьмой любви».

У Сысоева есть подруга — художница Алена Кирцова. Славик ее нежно любит. Она одна из тех, кто помогал ему скрываться. Алена в молодости была необыкновенно хороша, и, так же как у Сысоева жен, у нее была вереница мужей. Как-то они сидели и считали, у кого больше, — получилось, что у Алены. Она ему задумчиво сказала:

— Ну у тебя большой перерыв был — бега плюс лагерь.

Когда мы выпустили первый номер «Острова», нас завалили своими рукописями местные берлинские евреи — рассказами, стихами, мемуарами. Каждый хотел прийти и отдать драгоценный материал лично в руки. Думали, что при личном контакте точно напечатают.

После этого начались трудности.

Звонок:

— Это редакция журнала «Остров»? По какому праву вы срываете печатание моих стихов? Я требую их напечатать. Они такие жизнеутверждающие. Вот вы в первом номере напечатали стихи Щербины. Она там рассуждает о смерти. Кстати, она еще жива?

Другой звонок:

— Это Кац.

— Добрый день.

— Вы будете печатать мои стихи?

— Если мы будем печатать, то сразу даем автору знать об этом.

— А все-таки?

К нам в Берлин приехал на гастроли бард Вадим Егоров. Мы с ним знакомы очень много лет. Познакомились мы так. Звонит мне мой приятель и зовет в гости к своему другу: посидим, поболтаем, попоем.

Приехали, познакомились, сидим, выпиваем, я и начала рассказывать:

— Представляете, была вчера на вечере песни, все уже деградируют, ничего интересного не пишут. Я без всякого удовольствия слушала, а когда один дурак вышел и спел: «Шукшин, мой милый», — я встала и ушла.

Наступила гробовая тишина. Мой приятель повернулся к хозяину дома и сказал:

— Вадик, я ведь тебе тоже говорил убрать эту фразу.



Игорь Губерман на концерте обычно говорит:

— Поднимите, пожалуйста, руки, кто уже был на моем концерте.

Поднимается лес рук — почти все присутствующие. Губерман довольно замечает:

— Ну я вижу, что почти никто не был.

И повторяет прошлогоднюю программу.

В Русском доме должна была состояться выставка Сысоева под эгидой «Московских новостей». Помогала красавица Наташа Голицына — вешали работы в ее галерее и по всему периметру в фойе. Мы развесили уже почти все работы, в том числе несколько нелицеприятных коллажей с Ельциным. Смотрим: какой-то маленький, серенький, как мышонок, в сереньком костюмчике — второй раз встретишь и не узнаешь — рассматривает работы и осуждающе качает головой. На пальце крутит по-хозяйски ключи и говорит, указывая этим пальцем:

— Эти работы с Ельциным снять немедленно!

Я говорю, что не сниму, а сама спрашиваю Голицыну:

— Кто такой?

Она поясняет, что это новый зам. директора по хозяйству, то есть завхоз.

Потом пришел директор и грустно сказал:

— Мне очень нравится творчество Сысоева, но если эти работы не снимут, то снимут меня.

И я убрала три работы с Ельциным.

Так Сысоев доказал, что он не ко двору ни при одной власти.

Я спросила у Голицыной, почему она мужу не хочет дать свою фамилию.

Наташа со смехом ответила:

— Если я всем своим мужьям буду давать фамилию Голицын, знаешь, сколько князьев разведется?

Смехов Веня спросил Сысоева по телефону:

— Я на автобанах в тридцати километрах от Берлина. Как лучше всего въехать в Берлин?

Сысоев не задумываясь ответил:

— Лучше всего на танках.

Игорь Губерман был в отпуске в Италии, в Вероне. Какие-то русские женщины узнали Игоря и попросили разрешения сфотографироваться с ним на память. Попрощавшись с ними, он услышал, как одна другой сказала:

— Видишь, не зря в Верону съездили.

Я рассказала Сысоеву про Верону, а Слава меня высмеял:

— Да это Губерман сам про себя эти истории придумывает!

Одно время в Риге было такое правило: в трамвай можно было входить только в переднюю дверь. Если ты входил в другую, то тебя уже поджидал контролер со штрафом. Раечка, Иннина мама, ехала с рынка с тяжелыми сумками, вошла в заднюю дверь и нарвалась на контролера, который потребовал штраф.

Раечка ему говорит:

— Вы знаете, я еду с рынка и истратила все деньги. Я тут краковской колбаски купила, возьмите, она очень свежая.

Питерского поэта Сергея Давыдова разбил инсульт. Он долго и тяжело оправлялся после болезни. И вдруг узнал, что его приятель, живущий на одной с ним лестничной клетке, тоже лежит с инсультом. Давыдов встал, с огромным трудом доковылял до соседа, сказал ему: «Инсульт-привет!» — и пошел обратно домой.

Как-то я спускаюсь по лестнице и слышу, как сверху бежит мой сосед, молодой симпатичный парень. Он хотел, чтобы я его пропустила, и, пробегая мимо, сказал:

— Шнель, шнель!

У меня подогнулись колени, и я поняла, что такое генетическая память.

Митя Хмельницкий, будучи сам стопроцентным евреем, выбрал себе образ борца с евреями. Один раз я пришла с работы домой и слышу, как Слава говорит ему по телефону:

— Митя, отстань от евреев, ну что они тебе плохого сделали?

К Мише Маневичу приехал родственник из Донецка. Вышел на улицу и воскликнул:

— Да у вас тут одни иномарки ездят!

Я собиралась в Москву, и друзья меня спрашивают:

— Неужели Сысоев будет сам ходить в магазин?

— Зачем? — ответила я. — Куплю ему все, как на дрейфующую льдину, и перезимует без меня.

Дина Рубина, когда узнала, что я предпочитаю русских мужчин, назвала меня «половой антисемиткой».

Я привезла Ольге учебник русского языка Розенталя. Оля только что вернулась из Бостона, где гостила у друзей, увидела учебник и говорит:

— Смотри, как интересно! А в Бостоне у моих друзей учебник английского — Левенталья.

Сысоев прочитал в газете, как Валерия Новодворская назвала всех эмигрантов протоплазмой. Слава послал копию этой статьи Буковскому, и он ответил Сысоеву: «Наш старый принцип — умри, но дело сделай — она поняла по своему, и у нее осталось только "умри"».

«Остров» мы делали практически втроем: Сысоев, Дима Сорокин и я. Дима Сорокин, бывший москвич и наш берлинский сосед, делал макет на компьютере. Сорокин вообще разносторонне талантлив: он окончил московский физтех, пишет стихи, профессионально занимается фотографией да еще и потрясающе поет. Как у многих талантливых людей, у него один недостаток — чудовищный характер. С Сысоевым он не очень задибался, а на мне отыгрывался. Как-то приходит к Славе и говорит:

— Все, я с твоей женой работать не могу! Выбирай: я или она.

Слава выслушал и спрашивает абсолютно серьезно:

— Ты предлагаешь мне развестись с Ларисой и жениться на тебе?

Я привезла Дину Рубину из аэропорта. Мы вытянули вдвоем из багажника тяжеленный чемодан с книгами и думаем, как его тащить на четвертый этаж. Вдруг идет сосед с пятого этажа, здоровается, молча берет чемодан и несет наверх. Дина чуть не прослезилась от умиления. Я ему говорю:

— Билли, это моя подруга из Израиля, она тебе очень благодарна.

Он посмотрел на нас, улыбнулся и произнес:

— Скажи ей, что не все немцы плохие.

Когда мы въехали в нашу берлинскую квартиру, все соседи познакомились с нами. У нас в подъезде восемь квартир — по две на этаж. Все приглашали нас посмотреть, как они живут, делились новостями, помогали, чем могли. И только одна соседка странно смотрела на меня. Глядя на нее, я думала: «Ну надо же, никогда не скажешь, что немка, типичная русская женщина».

А как-то она подходит и тихо говорит:

— Вы знаете, у меня ведь отец русский.— И дальше рассказывает: — В сорок пятом году моя мама познакомилась с русским офицером. Они полюбили друг друга. Скоро должна была родиться я. Родители решили пожениться. Когда об этом узнали в части отца, его в двадцать четыре часа отправили в Россию. Больше мы о нем никогда ничего не слышали. Мама много лет пыталась разыскать его, писала запросы, но все без результата.

Я сказала:

— Давайте напишем, может, сейчас это поможет.

Она грустно посмотрела на меня и ответила:

— Мама уже умерла.

После объединения Германии Инна поехала в Дрезденскую галерею. Зайдя в тамошний туалет, с омерзением отметила, какая у них грязь. Мужчина, который подавал там бумажные салфетки, неприязненно сказал:

— Вечно этим русским все не так! Сами-то, наверное, ничего собой не представляете.

Инна повернулась и на прекрасном немецком языке ответила:

— Зато я вижу, какую хорошую карьеру сделали вы.

После объединения на территории бывшей ГДР две русские женщины стояли в очереди в кассу и болтали. Среди прочих покупок у них была туалетная бумага. Немец, стоявший сзади, услышал русскую речь и спросил:

— С каких это пор русские начали пользоваться туалетной бумагой?

Одна женщина обернулась и тут же ответила:

— С тех пор, как вы перестали нам задницу лизать.

У Лени Прудовского в Москве были приятели Фальковичи. Когда они переехали в Берлин, мы стали поддерживать с ними отношения. Фалькович очень часто ездил в Москву. Как-то звонит Леня и говорит, что надо встретить Фальковича: Прудовский послал Славе прессу — то, что необходимо Сысоеву для работы.

— Причем,— добавил он,— иди вместе с Ларисой, газет и журналов много, а они тяжелые.

У нас тогда еще не было машины. Мы поехали на вокзал, подошли к поезду и увидели, что Фальковичи занимают целое купе и оно до потолка заполнено шмотками. Фалькович увидел нас, радостно улыбнулся, протянул пакетик, в котором лежало ровно пять газет (остальные он просто выбросил), а потом деловито сказал:

— Слава, помоги мне вещи перетаскать.

Потом Фалькович кому-то жаловался:

— Почему нас Слава с Ларисой не любят? Мы к ним так хорошо относимся.

Фрида записывает для Славы русскую программу телевидения. Он скрупулезно просматривает все программы, а потом комментирует. Как-то посмотрел совещание высших военных и милицейских чинов, пришел ко мне и говорит:

— Это сборище воров в законе.

Ольга Завадовская послала видеопленку своего питерского концерта подруге Алисе. Концерт прошел удачно, его очень украсило выступление Исаака Шварца, который вначале сказал об Ольге несколько теплых слов.

Я была в Москве и передала Алисе кассету с выступлением. Через какое-то время Оля звонит Алисе и спрашивает о ее впечатлениях.

Алиса отвечает:

— Шварц так долго трепался.

После концерта Александра Дольского мы поехали на ужин к его знакомым Вале и Ларисе. Валя — старинный приятель Дольского. Он был много лет мужем и аккомпаниатором Жанны Бичевской. Лариса приготовила потрясающий ужин. Сидели до трех часов ночи и беседовали. Лариса весь вечер хвалила стихи и песни Дольского. Под конец она произнесла такую фразу:

— Дольский — это сегодняшний Пушкин.

Когда мы ехали домой, Саша сказал:

— Я и не знал, что у Вали жена — такая умная женщина.

К нам в гости пришли симпатичные люди — Лика и Юлий. Разговор зашел о литературе и упомянули Виктора Ерофеева. Лика воскликнула с пафосом:

— Я как прочитала его «Жизнь с идиотом» — сразу поняла, что это мое!

И строго посмотрела на мужа.

Мама Марины Крутоярской попала в больницу с приступом печени. Это была клиника при университете Патриса Лумумбы. К ней подошел темнокожий врач и представился. Мама его первым делом спрашивает:

— Вы из какой страны?

Врач называет африканскую страну. Мама задает вопрос, который ее интересовал всегда больше других:

— Скажите, пожалуйста, а у вас в стране есть евреи?

— Есть.

Она удовлетворенно кивнула и продолжила допрос:

— А много у вас евреев?

И врач выдал:

— А у нас кто богатый, тот и еврей.

Когда Слава услышал про убийство Галины Старовойтовой, он позвонил в Москву Жене Попову и в сердцах воскликнул:

— Что это за страна, где убивают таких людей?!

На что Женя ему ответил:

— Приезжай и наводи порядок.

Лена Тихомирова издала брошюру «Русские писатели в Германии». Я позвонила и поздравила Лену с завершением огромной работы. Тогда Леночка пожаловалась:

— Начали звонить писатели и высказывать претензии. Один спросил, не положено ли ему гонорара за то, что упомянули его имя. Позвонила поэтесса и была страшно недовольна тем, что слово «визажистка» на немецкий перевели, как косметичка. Она в молодости работала по такой специальности.

Я рассказала Славе, и он саркастически произнес:

— Подумаешь, написали, что вместо макаронной фабрики работал на вермишелевой.

Жена Саши Лайко Таня похвалила мои эпохалки:

— Молодец, у тебя очень здорово получается! Вот Олеша тоже всякую ерунду в записную книжку записывал, а потом хорошая книга получилась.

Наши берлинские знакомые Дора с Яшей были в Израиле, и их повезли на реку Иордан — место крещения первых христиан. Было жарко, Дора вошла в реку и начала обдавать себя водой. Наши евреи, с которыми они были на экскурсии, закричали:

— Что вы наделали? Вы теперь окрестились!

Мой сын Саша был в Стокгольме и прочитал объявление в газете: «Новый русский имеет наличными 2,5 миллиона. Купит дом на набережной».

В Стокгольме, как Саше объяснили его друзья, дома вдоль набережной не продаются и не сдаются. Они, как правило, передаются по наследству. Но что характерно: «новые русские» там живут.

Саша Абрамзон рассказал, как его знакомый, бывший начальник милиции в подмосковном поселке Ильинка, построил дачу — точную копию КПЗ, в которой он всю жизнь проработал, увеличенную в 15 раз.

Степа Левин был свидетелем разговора двух «новых русских». Один другому с гордостью сказал:

— Ну расстреляют нас обоих, это понятно. Но в моей даче хоть детский садик устроят, а у тебя с такой архитектурой ничего не сделаешь.

Анна Григорьевна, Фридина мама, была очень остроумная женщина. Когда кто-то ей дарил то, что, как говорится «на тебе, убоже, что нам негоже», она говорила:

— Из недорогих и в полосочку!

Мы живем в Берлине в старом доме, которому больше ста лет. К нам часто приходят печники, электрики и другие службы проверять, все ли в порядке. Как-то раз открываю дверь: на пороге стоят трое симпатичных немцев, у которых очки поблескивают золотистой оправой, им нужно проверить газовое отопление. Сысоев увидел их и спрашивает:

— Это кто такие?

Я объяснила, что рабочие, пришли проверять газовый прибор.

Слава комментирует:

— Эти немецкие рабочие выглядят лучше, чем у нас профессура в Московском университете.

Я рассказываю Славе:

— Ты представляешь, у Инны появилась гениальная идея: собрать с моих персонажей деньги на издание книги.

Сысоев отвечает:

— Тогда напиши про Березовского.

Шура Белорусец познакомился в Берлине с человеком, который в Москве когда-то был директором магазина «Колбасы» на Колхозной площади. Они поружились. Как-то этот директор сказал Шуре в шутку:

— А вот в Москве я бы тебе и руки не подал. Ко мне сам Юрий Никулин ходил за продуктами.

### 3

Наконец я поехала в отпуск в Израиль. Это был 96-й год. Меня встречали самые близкие школьные друзья — Вова Рабинович, Паша Грандель и Юра Штерн. Мы не виделись много-много лет, страшно сказать, сколько. Павлик занимает большой пост в Министерстве авиации Израиля, Штерн заседает в Кнессете, представляя новую русскую партию, и только Рабинович работает простым программистом, но я его, как говорила Фрида, «тоже очень люблю». Когда я увидела ребят, мне показалось, что это их отцы, а потом поняла, что мальчики так постарели. И сразу подумала: а вдруг я тоже на маму-красавицу стала похожа?

Викторину Токареву спросили, как она относится к Дине Рубиной.

— Дина Рубина мне очень нравится,— ответила Токарева,— она красивая женщина.

Губермана выгнали из газеты Эдуарда Кузнецова. У него были сложные отношения с замом по имени Авраам. Губерман все время его подкалывал да и создавал нерабочую атмосферу в редакции.

Как-то раз в редакцию приехал Анатолий Щаранский и спросил Губермана, как у него дела.

Губерман ответил:

— Больше всего мне хочется, чтобы Авраам родил Исаака и ушел в декретный отпуск.

После этого Кузнецов прервал контракт с Губерманом.

Дина перед поездкой в Москву прошла инструктаж Моссада.

— В первое такси не садитесь.

— Но второе может только через два часа появиться.

— Все равно. И вообще, когда уходите из отеля, сообщайте, куда идете. Мы очень бережно относимся к перевозу останков наших граждан на родину.

Знакомая Дины работает в клинике по пластической хирургии. Звонит ей одна пациентка и спрашивает:

— Скажите, сколько стоит приталить живот?

Рабинович повел меня на экскурсию в Старый город. Перед Яффскими воротами стояли молоденькие солдаты и проверяли сумки туристов. Они были такие красивые, вели себя достойно, широко улыбались, и я сказала Рабиновичу:

— Володь, спроси: можно я с ними на память сфотографируюсь?

Они оба посмотрели на меня, засмеялись и без акцента произнесли:

— Ну, конечно, можно!

К Штерну на юбилей пришла его помощница, красавица Талия, йеменская еврейка. У нее на шее было серебряное украшение, напоминавшее ошейник. Оно мне очень понравилось. На следующий день мы гуляем с Фридой по Тель-Авиву и находим такое же ожерелье. Я примеряю его, продавщица хвалит, а я, посмотрев на себя в зеркало, замечаю:

— Да, если Талия похожа в нем на египетскую жрицу, то я напоминаю лошадь в сбруе.

Сестру Лены Штерн Таню очень заинтересовали мои эпохалки. Она подходит ко мне и говорит:

— Издавай скорей свою книгу, я, когда в туалет иду, всегда книжку с собой беру, очень люблю там читать.

Мы сидели у Штернов в теплой школьной компании. Самые близкие друзья прилетели из России, Америки и Германии. Пришел Марк Хазин — израильский друг Штернов. Познакомился с ними сразу же, как они приехали в Израиль, почти двадцать лет назад. Он моментально вписался в компанию. Сидим, болтаем, и Марк, что-то рассказывая, произносит:

— Я, как человек, двадцать семь лет живущий на Западе...

Саша Шипов сразу уточнил:

— На западе Иерусалима?

Марк Хазин уехал из Одессы в эмиграцию, когда ему было восемнадцать лет, так и не побывав на знаменитой одесской толкучке. Мама не пускала его, говоря: «Тебя там задушат».

Через девятнадцать лет он вернулся в Одессу, и первым желанием было пойти на барахолку.

Друг, которому он это сказал, воскликнул:

— Ну что ты, тебя же там задушат!

Марк все-таки пошел на толкучку и потом рассказал:

— Иду я в толпе и чувствую, что мама с другом были правы: сейчас меня задушат, дышать просто нечем. Я попытался чуть-чуть раздвинуть локти. Вдруг слышу: «Мужчина, выньте из меня свой локоть!»

Мама Марка Хазина кричала своей соседке в Одессе:

— Мадам Тепер, наши дети дерутся, снимите своего сына с моего, а то это плохо кончится!

— Не буду, пусть его немного проучат!

Через короткое время:

— Мадам Хазина! Снимите своего сына с моего, а то это уже плохо кончается.

Марк Хазин вместе со своим братом-близнецом Игорем поступал в Одессе в художественное училище. Брат прекрасно рисовал классические этюды, нужные для поступления. Экзамен проходил в большом помещении, где все вместе рисовали. Игорь сначала нарисовал себе, а потом они поменялись местами, и он же нарисовал Марку. А Марк только крутился вокруг листа, прищуривался, подносил карандаш, якобы что-то подправляя.

Потом один из экзаменаторов, принимая работу, спросил:

— Почему эти две работы так похожи?

На что ему кто-то подсказал:

— Да ведь это же близнецы рисовали.

Я рассказала Дине Рубиной, что, когда развелась с первым мужем, ко мне приехал свататься друг моего детства — достойнейший человек, прекрасный врач, но я ему отказала, потому что у него уже были жена и ребенок.

Дина выслушала и говорит:

— У меня в детстве была подруга. Нам было по восемнадцать лет. Она любила женатого человека, но боялась разбить семью. И она пришла посоветоваться со своим отцом — умным евреем. Он все выслушал, дал ей в руки вареное яйцо и сказал: «Поставь его». «Но это невозможно». «А ты все-таки попробуйся». Она берет яйцо и ставит. Оно, естественно, упало. Отец ударил им по столу, яйцо смялось и встало. «Сначала надо разломать, а потом поставить», — сказал отец.

Дина помолчала, потом добавила:

— Я очень хорошо помню эту историю.

Я спросила Дину про Губермана. Она рассказала:

— Игорь сейчас в Италии. Одно туристическое бюро устраивает поездки под таким названием: «Поездка в Италию с Окунем и Губерманом». Саша Окунь — прекрасный знаток итальянской архитектуры, искусства, разбирается в местных винах и т. д. Он делится с туристами своими познаниями. А когда я спросила Игоря, что он там делает, он со смехом ответил: «А я выхожу из автобуса».

Штерн поехал в Нью-Йорк на Всемирный еврейский форум, где он выступал с докладом. Это было вскоре после его эмиграции, он был еще очарован Западом и немного наивен. В это же время эмигрировал Олег Попов, который жил тогда в Нью-Йорке.

Юрик рассказывает:

— После заседания я решил поехать к Олегу. В одной руке чемодан, в другой — «дипломат». Вдруг я понимаю, что адрес Олега записан на бумажке, которая лежит в пальто, а пальто в чемодане. Я поставил «дипломат» рядом с собой, положил на асфальт чемодан, расстегнул его и ищу адрес. В это время ко мне подходит какой-то человек, типа пуэрториканца, наклоняется, показывает на мою коленку и говорит: «У вас брюки испачканы», — и протягивает салфетку.

Я смотрю на штанину, она в каком-то кетчупе, и думаю: какие в Америке живут вежливые люди! Беру салфетку, начинаю вытирать штанину, оборачиваюсь — нет ни пуэрториканца, ни «дипломата». В нем ничего ценного не было, кроме документов и бумаг.

Иду в полицию. Они выслушали и говорят: «Вы за этот час семьдесят пятый!» И просят заглядывать.

На протяжении трех дней хожу в полицию, спрашиваю, как идет расследование. Наконец я им надоел, и они говорят: «Вы пойдите и поройтесь в близлежащих помойках, в которые воры, как правило, выбрасывают бумаги и документы».

Иду к контейнерам, расположенным рядом с тем самым местом, и начинаю рыться в мусоре. Вдруг вижу: навстречу идет председатель Всемирного еврейского форума и с ужасом смотрит на меня. Я улыбаюсь и иду к нему навстречу, чтобы все объяснить. Он бросился бежать от меня, как от прокаженного, я за ним, но он еще быстрее припустил от меня. Так я его и не догнал.

И Штерн прокомментировал:

— Этот еврей решил, что я уже попросил в Америке политическое убежище и роюсь на помойках, чтобы добыть себе пропитание.

Наташа Попова, жена Олега, рассказала про американскую школу:

— Главная установка в школе на то, чтобы ребенок был харру. У одних наших знакомых дочка — философского склада ума, часто бывает задумчивой. Родителей вызвали в школу: ваш ребенок не харру. Они пытались объяснить, что ребенок задумывается. В школе сказали: «Не надо, он должен быть харру!»

## 4

Я приехала в Москву после долгого перерыва и сидела у Анатолия Приставкина в его кабинете на Старой площади. Мы звонили в Берлин. Толя хотел у нас остановиться, но не знал, примет ли его Слава без меня.

Телефонов было много, один даже с гербом, но все с дисками, которые надо крутить. Было все время занято. Набирать приходилось по двенадцать или четырнадцать цифр.

— Что это у вас в Кремле телефоны, как в начале века, — сказала я и добавила нецензурное слово.

Приставкаин побледнел и показал пальцем на потолок. И я поняла, что магия преследования сохранилась.

Над квартирой Ахмадулиной живет Сережа Каледин.

Белла спросила у Жени Попова:

— Что это за ребенок там у Калединых целый день топает и прыгает?

— Так это сам Каледин и прыгает! — радостно ответил Женя.

Василий Павлович Аксенов сказал мне:

— В Москве невозможно работать. Там сплошные презентации да вернисажи.

Я искала для Инны в Москве книгу Диккенса «Дэвид Копперфильд». Поехала на Олимпийский проспект, где сейчас расположен книжный рынок, и методично обхожу всех букинистов. Ни у кого нет. Спрашиваю одного:

— В чем проблема? Вроде Диккенс никогда не был дефицитом.

Человек объясняет:

— К нам недавно фокусник из Америки приезжал — Дэвид Копперфильд. Так молоденькие девчушки на следующий день приехали и всего Диккенса раскупили.

Помолчал, а потом грустно добавил:

— Наверное, решили, что это один и тот же персонаж.



На книжном рынке я ходила со списком. Показала список старику-книжнику. Он с удовольствием зачитывал вслух названия, потом с уважением сказал:

— Список-то у вас какой хороший, сейчас редко такой встретишь.

Володя Янкелевский внимательно рассматривал альбом Пикассо. Потом отложил и сказал:

— У Пикассо много слабых работ, а у меня все — одна к одной.

Пикассо сказал про Толю Зверева, что считает его лучшим рисовальщиком России. Когда Володя Янкелевский узнал об этом, грустно произнес:

— Он просто друзей не знал.

У Виктора Ерофеева эпитафия к новой книге: «Бог един» и подпись: «Бог». А я подумала: «Читай — Ерофеев».

Памятник Высоцкому на Страстном бульваре произвел жуткое впечатление — как будто карлик вышел из леса.

Жванецкий привез друга детства Додика с женой в свой новый трехэтажный дом. Додик с женой ходят и нахваливают — дом действительно впечатлял. Жванецкий принял поздравления и сказал:

— Здесь каждый камень — это мой аплодисмент.

Сидим у Жени Попова, Света приготовила прекрасный ужин. Общаемся. Женя подарил мне журнал «Знамя», в котором напечатан его новый роман «Зеленые музыканты», и пожаловался, что его пришлось сильно сократить. Света говорит:

— По-моему, он от этого хуже не сделался.

Женя обиделся:

— Вот уж писатель о писателе всегда хорошее скажет.

Московский поэт С. сидел у нас в гостях и рассуждал:

— Надо Славе выставку сделать в Москве, приезжай, я помогу, чем смогу.

Приезжаю в Москву и звоню С. Он говорит:

— Я же литератор, не художник, ну чем я могу помочь?

Женя Попов затеял суд с Феликсом Кузнецовым, требуя, чтобы тот отдал самиздатовский вариант альманаха «Метрополь».

Адвокат Кузнецова заявил, что экземпляр находится у Кузнецова в архиве. На что Женя ответил:

— Это все равно, что Геббельс будет хранить архивы белорусских партизан.

У Фриды в Москве живет подруга Люба. Она замечательный врач.

Люба не может сейчас существовать на свою зарплату и рассказывает:

— У меня есть брат. Ему всю жизнь ставили меня в пример. Я была отличница, а он двоечник. Я защитила диссертацию, работала в кремлевской больнице, а он где-то работал ни шатко ни валко... Так вот, сейчас он работает на таможне, и если бы не он, то я бы точно пошла по миру.

Увиделась со своей школьной подругой Леной, с которой не встречалась много лет. Та абсолютно не изменилась, такая же молодая душой, как и прежде. У нее последние годы был возлюбленный — профессор-филолог, известный интеллектуал. Лена, будучи сама образованной женщиной, заметила:

— Знаешь, я, когда начала с ним жить, как будто на курсы повышения квалификации попала.

Я хочу опять поехать в Москву и спрашиваю Сысоева:

— Слава, ты же русский человек — неужели тебя не тянет на родину?

Сысоев с горечью ответил:

— Я для них как был уголовником, так и остался.

Сысоев уговаривал меня напечатать эпохалки, ругал за излишнюю скромность. Я ему ответила:

— Хватит нам одного гения в семье.

Наконец я позвонила Кристине Линкс, она работает в немецком издательстве «Volk und Welt», и говорю:

— Тиночка, извини, но я здесь кое-что написала и хочу тебе показать.

Кристина испуганно спросила:

— Сколько страниц?

Я отвечаю:

— Двести примерно.

Услышав это, Тина радостно воскликнула:

— Молодец, не каждый может вовремя остановиться!

Я прочитала мемуары Эммы Герштейн. Они мне очень понравились. Она их опубликовала, когда ни одного персонажа не осталось в живых.

И я подумала: «Вот доживу до девяноста лет, тогда и опубликую книгу. И никто про меня не скажет: врет, как очевидец».



Александр МЕЛИХОВ

---

## Прививка невозможного

Два весьма видных деятеля московского образования, люди вполне практические, произносили имя «Мильграм» с таким пиететом, что это даже разогрело во мне хладящую кровь двух учителей — отца и матери, не знавших и не желавших знать в жизни ничего прекраснее провинциальной школы. Сочетание «Мильграм — Сорок Пятая школа» звучало в устах моих собеседников примерно так же, как «Станиславский — Московский Художественный театр», — как нечто безусловно известное любому мало-мальски культурному человеку. Я стал наводить справки и узнал, что Мильграм в течение вот уже сорока лет ровно в восемь утра стоит на крыльце своей Сорок Пятой и пожимает руку каждому ученику — да-а...

У выдающегося человека должны быть и недоброжелатели, загадал я, и этот критерий тоже не подвел: «А, Мильграм, Сорок Пятая школа — это уж такая сверх-элитарность: телекамеры, спонсоры, компьютеры, поездки за границу — все по высшему разряду, а *нутра* нет!»

После такого контраста я стал искать встречи гораздо активнее.

По прямому номеру трубку никто не брал, пришлось перезванивать секретарше. «Школа, школа! — вероятно, уже не первый раз повторила она. — Вас что, не устраивает ответ?» Саркастическая дама... Когда я выразил желание связаться с директором, она отчеканила мне тот номер, по которому я уже не сумел дозвониться. Впрочем, когда я назвал писателем, она смягчилась (а еще говорят, что литература утратила престиж!) и пообещала посмотреть, правильно ли у Леонида Исидоровича лежит трубка.

Ироническая хрипотца в его голосе была приятным сюрпризом — можно было расстегнуть пару пуговиц. Встречу Леонид Исидорович назначил мне после окончания учебного дня.

Я ожидал, что снаружи Сорок Пятая облицована слоновой костью, а внутри компьютеры громоздятся друг на друге, как клетки в крольчатнике, но школа с виду оказалась самой что ни на есть средней. И вестибюль как вестибюль — только напротив входных дверей сиял шаржированный портрет директора с чрезвычайно гипертрофированным носом. Чувствовалось, однако, что и в реальности, или, как теперь выражаются, «по жизни», тоже было что гипертрофировать.

За те четверть часа, что оставались до назначенного времени, я побродил по коридорам, заглянул в классы, в столовую — если бы я выбирал для кино съемок совершенно среднюю школу, то здесь даже линолеум был протерт абсолютно достоверно. Нестандартными были только два диплома у канцелярии: «Школа года»-96 и «Школа года»-97. Какой-то педагогический классик, чуть ли не Ушинский, рекомендовал начинать осмотр учебных заведений с отхожих мест, но до них я не добрался.

На директорской двери висела табличка с огромным носом в профиль и надписью «Mr. Milgram, principal». Mr. Milgram предложил мне утонуть в глубоком кресле у его стола вполне любезно, но не слишком рассыпаясь. Он напомнил мне сильно расплывшего и ничуть от того не комплексующего режиссера Товстоногова (однажды при посещении БДТ публика даже устроила ему овацию). Нос на двери казался мне чрезмерно утонченным в сравнении с носом за дверью.

Пока principal, извинившись, с кем-то о чем-то договаривал, я исподволь осмотрел кабинет. Много вещей, по-видимому, случайных, как это всегда бывает у любимцев, которых заваливают подарками: комната моего отца тоже была заставлена и заложена кубками, альбомами, барельефами Владимира Ильича Ленина... Но у Мильграма за спиной висело большое фото смеющегося Сахарова.

Еще — на той же стене тщательно выплетенный длиннющий кнут (пряник — настоящий, тульский — куда-то временно запропастился). На другой стене табличка, включающая всю земную мудрость: дай мне смелости изменить то, что я в силах изменить, спокойствия — смириться с тем, что я изменить не в силах, и мудрости — отличить первое от второго. Земной мудрости, я подчеркиваю, ибо бывает еще и неземная: нет ничего прекраснее, чем гибель во имя невозможного, говаривал романтик Ницше. Но что странно — гибель во имя невозможного иной раз приносит поразительные практические результаты: человек, явно потерпевший поражение, становится, извините за выражение, путеводной звездой для тысяч, миллионов... Звездой прекрасной и опасной, как все прекрасное в чрезмерной дозировке.

По дороге я успел сочинить несколько вопросов к будущему персонажу. Первый — как его занесло в школу? В пору моего отрочества как-то само собой считалось, что всякий мало-мальски крутой парень должен быть моряком, ученым, артистом, космонавтом, флибустьером, а учительство — удел женщин и неудачников. Второй — что он противопоставляет соблазнам примитивной «крутости», которые сегодня так агрессивно прут со всех сторон, в том числе с телеэкранов, которые вроде бы должны как раз защищать общественное сознание от вульгарных образцов успеха? Третий вопрос — как сам Мильграм справлялся и справляется с тремя главнейшими социальными силами, имя которым власть, деньги и — самая могущественная сила — хамство? Четвертый вопрос — есть ли у него особый педагогический метод? И последнее — правда ли, что он изо дня в день, начиная с восьми утра, пожимает руку всякому сюда входящему, не различая, подобно солнцу, чистых и нечистых?

После этого беседа наша, как полагается, пошла скакать с предмета на предмет от Парижа до Находки, и только в метро я сообразил, что все мои вопросы Мильграм запомнил и так или иначе каждого коснулся. Собеседник он редкостно чуткий: не выказывая никакой специальной предупредительности, он фиксирует каждую твою реплику и, казалось бы, не прерывая монолога, тут же учитывает и использует ее — что, конечно, не может не располагать. Да, сорок лет подряд он действительно ровно в восемь стоит на крыльце, но руку пожимает только избранным и чаще всего с каким-то скрытым смыслом, обычно ироническим: а, мол, Витя, давно тебя не видел!

Каким ветром занесло в школу? Случайно, он вполне прилично окончил истфак Московского университета, но как космополита с пятым пунктом и сына сразу двух врагов народа, женатого на иностранке, его, кроме школы, никуда не брали, так что в школу он пришел как во временное пристанище — «но эта сволочная штука так затягивает!»

В университете он проучился двенадцать лет с перерывом на две войны, — правда, до Финского фронта его поначалу довести не успели. В тридцать девятом первый курс забрали в армию целиком, и только нашему герою пришлось для этого трижды писать Ворошилову. Ворошилов раздобылся до того, что позволил Мильграму остаться в рядах Советской Армии аж до сорок шестого года.

В воинскую часть он попал изумительную — студенты и донецкие шахтеры составляли, по его словам, восхитительный сплав, отношения были незабываемо чистыми, — даже СМЕРШ побеспокоил всего один раз, укоров перепиской с единоплеменницей самого Муссолини (папа его будущей жены, крупный деятель Итальянской компартии и первый редактор газеты «Унита», сидел в итальянской тюрьме, а после войны заседал в итальянском сенате). Это рефрен всех его рассказов — повсюду ему попадались изумительные люди, честь знакомства с которыми необходимо было каждый день заслуживать заново. Везло, как говорится, на людей. Что причина этого везения в нем самом, что своим даром идеализации он пробуждает в людях лучшие их качества (у кого, конечно, они есть), — такой вариант толкования собственной судьбы как будто даже не приходит Леониду Исидоровичу в голову.

Вывернитесь наизнанку, но будьте счастливы, иначе воспитателя из вас не выйдет, — чтобы претворить в жизнь эти слова Макаренко, Мильграму, кажется, не пришлось делать никаких специальных усилий: имея не биографию, а антибиографию, как выразился один его приятель (все анкетные данные — наихудшие), он, очевидно, считает себя везунчиком. И на фронт удалось выпроситься, и с фронта вернуться, и в часть попасть идеальную, и притом сравнительно безопасную — не пехотную, не танковую, не летную, а артиллерийскую. И здесь нашего везунчика всего раз-то и контузило — на два дня потерял слух, и всех делов.

Десятилетиями помнить удачи и примеры людской доброты и порядочности при довольно рассеянном отношении к неудачам и подлостям (не в тот момент, когда он их видит — тут он способен врезать, а при подведении жизненных итогов) — в этом, пожалуй, первая составляющая формулы Мильграма.

Войну он закончил в Бреслау. Смотрел на тамошние дома, деревни и, как многие другие, думал, что теперь такие будут и у нас, — люди же увидели, как можно устроить

свою жизнь. Эти мысли не остались незамеченными советским руководством — началась борьба с космополитизмом, с преклонением перед иностранщиной. Мильграм окончил университет в пятьдесят первом году, уже на пороге «дела врачей», но благодаря судьбе или обаянию, которое, впрочем, является неотъемлемой частью его судьбы, не был даже исключен из партии, несмотря на целых два антипартийных высказывания на семинарах. Первое — он оспорил ту очевидность, что Молотов заменил Литвинова как более авторитетный и опытный дипломат: Мильграм полагал, что еврей Литвинов на этом этапе просто не мог представлять советскую внешнюю политику. Второе — Мильграм своим умом дошел до того, что количество и качество продукции обеспечивается конкуренцией. «Как, а соцсоревнование, а сознательность? ..» Один из парадоксов позднего социализма заключался в том, что о необходимости конкуренции первыми заговорили самые сознательные.

В партии его оставили, а в Москве нет — через три года во время распределения ближайшая вакансия отыскалась только в Архангельске. Люди его там встретили, как вы догадываетесь, изумительные, он преподавал в техникуме, а начальство показывало ему строящийся дом в рекламных сполохах полярного сияния и божилось дать ему здесь квартиру, если он окончательно переберется в Архангельск вместе со своей итальянкой. И он был бы уже не прочь, но жена понимала, что расстаться с Москвой означало бы окончательно оторваться от родины... Хотя впервые съездить в Италию ей позволили только после смерти Сталина. Она вполне могла бы там остаться и жить, как подобает дочери сенатора, но она выбрала Россию с ее Мильграмом и народной властью, чтобы пахать, как во всей человеческой истории, может быть, умели пахать только советские женщины. «Как вы могли променять такую страну на Мильграма?» — и поныне подшучивают над ней знакомые, побывав в Италии. И она неизменно отвечает: «Я променяла ее не на Мильграма, а на социализм».

«Короля делает свита, а мужчину делает его жена», — сквозь обычную саркастическую хрипотцу в голосе Мильграма даже глухой расслышал бы гордость. Если бы он совершил какую-то низость, он не только сам себе не простил бы, но главное — ему не простила бы жена. Да и друзьям он не смог бы смотреть в глаза — у них настолько было не принято уважать что-либо, кроме личных достоинств, было настолько принято презирать чины и зарплаты... Это, пожалуй, можно счесть вторым слагаемым формулы Мильграма: выбирать себе таких друзей и хранить о них такое высокое мнение, чтобы их суд оказался весомее тех соблазнов и угроз, которыми располагают три мощнейшие социальные силы. (Я-то, грешный человек, предпочитаю друзей, которые, если что, всегда снизойдут...)

Чтобы ненароком не задержаться на высокой ноте, Мильграм поспешил привести изречение Михаила Ромма: удачно жениться — выгащить ужа из мешка с гадюками. А он, наоборот, вытащил гадюку из мешка с ужами, но зато с ней никогда не было скучно, — так он однажды на телепередаче выразился о своей жене, которую явно обожает после пятидесяти трех лет совместной бурной жизни. Он гордится и ее умом («Она умнее меня»), и ее ядовитым язычком, и ее красотой — под прозрачным пластиком в его бумажнике она по-прежнему чеканная красавица.

Отправляясь на фронт, он сдал комнату в Москве, в обмен получив справку, по которой он, вернувшись, должен был получить равноценную «площадь» в течение десяти дней. Когда, и в самом деле вернувшись, богатый жених, он похвастался этой справкой перед будущей тещей, та вышла из себя: как, стольким людям негде жить, а ты, молодой парень, хочешь кому-то перебежать дорогу — будешь жить у нас! Справка была вывачена и разорвана. «Мне больше ничего не оставалось, как жениться».

Однако я не позволил ему ускользнуть в шуточки: «А было ли в вашей жизни что-то такое, чего вы не можете себе простить?» И ему снова приходится взять серьезный тон. На Ленинградском фронте однажды был обещан орден плюс отпуск тому, кто приведет языка. Пылкий влюбленный, ради отпуска он решил рискнуть; без всякого опыта, без всякой подготовки группа таких же, как он, отправилась в тыл к финнам. Попали под обстрел — финны великолепные снайперы, — отсиделись на нейтралке под сгоревшим танком, начали уходить по своим окопам... И Мильграм прополз мимо неподвижно лежащего солдата, не поинтересовавшись: а вдруг он жив? Метров через десять он спохватился, вернулся — тот был мертв, — но забыть, что сначала он все-таки прополз мимо, Мильграм не может и сейчас.

Второй случай — в университете громили знакомого парня, и он тоже не удержался, присоединился к хору. И третий — уже в Сорок Пятой у него работала блестящая учительница и великодушный человек — и спилась, пришлось уволить. Он многих вытаскивал или выгонял, но эта засела в сердце — я даже не очень понял почему. «Так чем же вы виноваты? Может быть, ничего нельзя было сделать?» Он горестно пожал плечами: кто, мол, знает?..

То, что советским кадровикам в его анкете представлялось подмоченностью, на

самом деле было специфической родовитостью. До войны на улице Горького рядом с нынешней булочной Филиппова располагалась отель «Люкс», вход в который контролировался строже, чем вход в наркомат, — в «Люксе» проживали вожди подпольных компартий: Тольятти, Готвальд, Тито, Пик, Димитров, — в таком вот соседстве явился на свет наш герой. Его отец, по первой профессии механик, малообразованный, но смелый и темпераментный еврейский парень, имеющий в запасе еще два родных языка, немецкий и польский, был захвачен грандиозной утопией и, как половина коминтерновцев, сделался разведчиком. Сидел в Германии (еще за революционные похождения), в Голландии; в Греции был арестован во время встречи с завербованным им начальником департамента греческого министерства иностранных дел, затем его на кого-то обменяли, а в Москве расстреляли. Этот странствующий рыцарь мировой революции, атлет и красавец, ухитрился окончить Институт красной профессуры и поработать ученым секретарем института экономики, куда не был обвинен в создании подпольной организации для борьбы с советским руководством: прекраснотушные идеалисты, упертые фанатики, бесшабашные авантюристы всегда бывают нужны нарождающемуся тоталитаризму только для сокрушения своих более либеральных противников, а потом — от смелых и идейных никогда не знаешь, чего ждать...

— Эстетически эти люди привлекательны... — уклончиво сказал я, чтобы не договаривать вторую половину правды: но смертельно опасны.

— Они были и по-человечески привлекательны, — насторожился Мильграм. — Я читал дело своего отца, он не признал себя виновным ни по одному пункту.

Орел, кто спорит... Но мужество ведь не может служить оправданием социально разрушительной деятельности?

Для ума — да. Но душа наша далеко не так практична. Мудрый романтик Шиллер считал, что в эстетическом отношении сила для нас важнее, чем ее направленность, и если в художественном произведении разбойник, спасаясь от погони, проявит мужество и находчивость, мы невольно будем за него «болеть», если бы даже в реальности постарались передать его в руки правосудия. В искусстве, где мы свободны от реальных забот и ответственности, мы можем дать волю тем вечно юным глубинам нашей души, которые умеют ценить такие вещи, которые далеко не укладываются в наши же сознательные представления о пользе, как нашей личной, так и общественной. И если вернуться к вопросу, какого рода «крутость» Мильграм противопоставляет соблазнам вчерашних и сегодняшних дней, то прежде всего я назвал бы привычку ощущать личную причастность к мировой истории, к таким ее деятелям — фанатикам, идеалистам, авантюристам, — в сравнении с притязаниями которых амбиции всех сегодняшних коммерческих и политических звезд смотрятся амбициями чемпиона ЖЭКа по шахматам против честолюбия Гарри Каспарова.

Для тех педагогов, которые хотели бы перенять какие-то «приемы» Мильграма, игнорируя романтическую закуску его личности, я даже подумывал дать этому очерку название «Какими вы не будете». В последние (довольно продолжительные) годы Мильграм уже переменял двух завучей, которых готовил себе на смену, — они слишком много думали о себе, чтобы соответствовать невыказанным целям мильграмовской команды, — что от нее, разумеется, не укрылось. И, боюсь, это не чрезмерное, а минимальное требование: педагог, не являющийся носителем какой-то большой сверхличной мечты, исповедующий практичный культ личного успеха, не может иметь у юношества серьезного авторитета, ибо за воротами школы ученики наблюдают личный успех в гораздо более впечатляющих версиях, в сравнении с этими образцами даже преуспевающий директор — почти неудачник. А Мильграм в своем роде покруче Березовского. Я думаю, юные «сорокапятчонки» прекрасно чувствуют, что им пожирает руку человек, на чьем лице лежит кровавый отсвет великих мечтаний и великих трагедий, с высоты которых просто невозможно серьезно относиться к погоне за бабками и бабами. (Хотя Мильграм знает толк в женской красоте — за красивые глаза или какую-то иную деталь экстерьера он может простить даже руководящую должность. Вздохнув при этом: «Жаль только, что вы так морально устойчивы».)

Утопизм как энергичная готовность перестраивать мир по простеньким чертежам, понятным любому неглупому механику, чудовищен. Но прививка утопизма, наделяющая личность неутолимым стремлением к чему-то лучшему, не позволяющая счесть потребности социального успеха высшим человеческим назначением, — без этой прививки мир не просто превратится в унылое болото, но едва ли вообще долго протянет: даже экологические проблемы сегодня требуют прямых жертв ради неведомых потомков, а наркотики быстро подбирают тех, кто прежде еще долго мог влачиться за жизнью в качестве «лишнего человека», не нашедшего захватывающей сверхличной цели.

Пожалуй, в отношении с коммунистическим начальством Мильграму могла повредить скорее его идейность, чем безыдейность. В шестьдесят восьмом, после вторжения в Чехословакию, Мильграм собрал учителей и заявил, что мы соверши-

ли преступление перед нашей идеологией. Силен. Только кто эти «мы», перед какой «нашей»? «Мы» — это, насколько я понимаю, вся наша страна, он никогда не отделил себя от нее, и сегодня ему отвратительно выражение «эта страна», «в этой стране». Он несколько раз упоминал, что не мог бы жить в Израиле, в Америке — умер бы от скуки: развитая технология без главной роскоши — человеческого общения... Но я подозреваю, что, если бы туда перенесли его родную кухню со всеми друзьями и даже школу с ее прославленным номером популярного пушечного калибра, он бы там все равно затосковал, потому что один из главных предметов роскошного общения с друзьями для него, я уверен, — Россия: это моя страна, с напором говорит он.

А «наша идеология» — это, судя по всему, какой-то очищенный от насилия и лжи вариант коммунистической идеологии (впрочем, без насилия как главного преобразующего средства она уже не коммунистическая). Мильграм по собственной инициативе поспешил объявить, что коммунизм, конечно, утопия и не должен превращаться в злободневную политическую цель, но в качестве мечты он по-прежнему считает эту фантазию прекрасной и благотворной. И, поколебавшись, я вынужден отнести преданность этой мечте к важнейшим составным источникам его энергии и обаяния.

Старые большевики, старые коммунисты, подчеркнул он, были религиозные люди, были альтруисты.

— Альтруисты?!

— Ну да, они не тянули одеяло на себя.

— Не тянули в материальных потребностях. А в психологических... В потребности, скажем, любой ценой навязать миру свое представление о справедливости...

— Но Ленин хотел, чтобы люди жили хорошо...

— Ленин хотел, чтобы люди жили *правильно*.

И впервые Мильграм не подхватил реплику собеседника, а начал говорить, что Ленин ушел от Маркса, что средством изменения мира для Ленина была власть, а в своем стремлении к власти он был макиавеллистом... Повеяло мучительно знакомым: прекрасная цель, искаженная негодными средствами. Во избежание недоразумения мне хотелось высказаться со всей ясностью, что я считаю смертоносной именно цель коммунистов, ибо их стремление подчинить миллионы людей какой-то одной, пускай самой сверхгуманистической, цели неизбежно требует армии надзирателей, — еще Спенсер писал, что при социализме люди попадут в зависимость от собственных уполномоченных... Но это был единственный случай, когда Мильграм, заметив в собеседнике желание возразить, не приостановился выжидательно, а продолжал говорить как по-накатанному: Маркс хорошо знал «тот» капитализм, но он не мог предвидеть технологической революции, а в целом он был выдающимся мыслителем... Я снова хотел возразить, что, подметив одну кратковременную тенденцию, экстраполировать ее на все будущие времена и строить на основе этого одностороннего наблюдения грандиозную и смертельно опасную преобразовательную деятельность... Мне стало ясно — Мильграм согласится обсуждать эти вещи лишь в особом разговоре, с особым человеком, вызывающим особое уважение и доверие, — у меня не было оснований претендовать на такую роль. А позже я понял, что он вообще не любит дурно отзываться о друзьях молодости, — даже столь прекрасная добродетель, как верность, имеет свои издержки.

На следующем заходе Мильграм сообщил, что по политическим своим взглядам он социал-демократ. Я постарался выслушать это с максимальной почтительностью. Выдающийся социальный мыслитель Серебряного века Павел Иванович Новгородцев, высланный Лениным на знаменитом «философском пароходе», еще в десятки годы выделил в сочинениях Маркса две взаимоисключающие тенденции — стремление обеспечить наемным работникам достойную жизнь в существующем обществе и стремление разрушить это общество во имя будущего земного рая, где исчезнет вечный конфликт между мечтой и реальностью. Борьбу этих начал Новгородцев проследил и в марксистских съездах — борьбу, в результате которой в Европе победила конструктивная социал-демократия, а в России деструктивный большевизм, удержавшийся у власти лишь благодаря отказу от утопизма во имя тоталитарной державности. Которую Мильграм испытал на себе куда более жестоко, чем мы с вами. Но я бы очень удивился, если бы он из-за этого шархнулся в либеральную утопию в самом примитивном ее (шкурническом) варианте: каждый, дескать, должен беспокоиться о себе, а от этого и общество будет развиваться гармонично, — люди мильграмовской заправки всегда будут серьезнейшим образом относиться к обществу как целостной структуре.

Мильграм до сих пор полагает, что Горбачев упустил исторический шанс создать в России цивилизованную социал-демократическую партию, однако лично мне шанс этот представляется сомнительным. Кто пошел бы в эту партию, если коммунистическая верхушка почти целиком желала все оставить, как было, а массы без всяких стратегических планов хотели прежде всего насолить этой верхушке — тогда как интеллигенция пребывала во власти убогой иллюзии, будто введе-

ние частной собственности само собой установит благоденствие и справедливость? (За рынок прежде всего выступали те, кто обладал лишь внерыночными ценностями.) А если бы такая партия все-таки возникла и каким-то чудом обрела власть, как она ввела бы частную собственность, когда у населения не было денег ее выкупить? Как эта партия организовала бы конкурентное производство в сверхмонополизированной и сверхмилитаризированной экономике? Как она сумела бы позаботиться о социальных нуждах населения, когда эти нужды были и есть почти диаметрально противоположны потребностям обновления, требовавшим массовой ликвидации неконкурентоспособных производств? Может, теоретически это и было осуществимо, да и то...

Идеалом для него является шведская модель, пояснил Мильграм: государство слабо вмешивается в производство, но очень активно — в распределение доходов. При этом некий приличный минимум обеспечивается всем — конкурентная борьба ведется лишь за его превышение. Однако мне показалось, что Мильграм не склонен очень уж тщательно продумывать будущее социал-демократическое устройство России и конкретные пути к нему — ему достаточно представлять общественный идеал с той степенью детализации, которая позволяла бы ему занимать четкую внутреннюю позицию в ежедневных и ежечасных проблемах, поджидающих его в школе.

Например, в проблеме отношения к богатству и богачам. Разумеется, Мильграм — категорический противник бабувистского равенства, требующего даже уравнивания дарований, он, напротив, стремится к тому, чтобы одаренные становились еще более блестящими. Он противник и прудоновского равенства — никто не может обойтись без остальных, а потому «от каждого по способностям — всем поровну»: из попадающих в его руки денежных крох (это метафора — денег в руки он не берет, все спонсорские пожертвования принимаются только через банк) он доплачивает учителям по-разному, от пятидесяти до ста долларов. Он считает совершенно нормальным делом, когда один зарабатывает в два, в три раза больше другого. «А в тысячу?» Он запинаясь. Но в целом он ничего не имеет против того, чтобы кто-то нажил миллионы — и тратил миллионы на благотворительность. А богатство ради богатства — это... Мильграм брезгливо передергивает плечами, словно говоря: «Это такой моветон...»

Мне хочется напомнить ему слова Петра Бернгардовича Струве из столько в последние годы цитировавшихся «Вех»: чтобы создавать богатство, надо его любить. Но успеваю воздержаться от нашей вечной упростильской манеры: если уж любить, то непременно всем. Что говорить, общество, во всем своем составе презирающее богатство, обречено на бедность. Но общество, во всем своем составе обожающее богатство, обречено на ничтожество. И даже, подозреваю, на технологическое отставание.

Но ради дела способен ли Мильграм на компромисс с денежным мешком — социальной силой номер два? Да, способен. Чтобы свозить учителей за границу или что-то построить для школы, он готов просить помощи у спонсоров, хотя это ему до крайности неприятно. Но нет такой силы, которая заставила бы его поступиться качеством обучения: он не примет самого «выгодного» ученика, если тот не подходит школе по знаниям и потенциалу, — иначе говоря, если он будет мешать учить других. Недавно роскошный папаша нового помета — в кашемировом пальто, с золотой цепурой на шее — в обмен на прием своего наследника обещал взять школу на содержание. Мильграм его выгнал. А совсем на днях один бывший ученик перевел некую сумму специально для учителей: «Но чтобы эти деньги не попали в руки тех, кто учит моего сына», — вот это по-рыцарски!

Все, кто хоть раз платил или получал «черным налом», догадываются, до какой степени Мильграм сковал себя этим правилом ни в чем не переступать даже самый дурной закон («дура лек...»). Притом что в последний год он потерял десять прекрасных учителей — кто ушел в частную школу на тысячу долларов, кто на подобные же доллары в какой-то предвыборный аппарат...

— А я слышал, что вокруг вас спонсоры, спонсоры — тридцать пять тысяч спонсоров.

— Наша школа имеет полмиллиона долга на картотеке за коммунальные услуги — у московского правительства не хватает денег. У нас не было ни одного капитального ремонта. Но на ремонт государство рано или поздно даст, а на бассейн нет. Наш основной контингент — дети научных работников, я стараюсь с них ничего не брать, да и брать особенно нечего. Но мы вступили в международную организацию бакалавриата, это дает возможность нашим ученикам поступать в любой университет мира — только в последний выпуск восемь человек уехали за границу... Американцев удивляет уровень наших ребят, но на Западе считают, что главное — не сумма знаний, а умение добывать знание. Хотя лучше бы сочетать и то, и другое. Наши ученики теперь тоже работают над самостоятельными проектами...

Но бакалавриат требует жертв (членских взносов), потому кое в чем приходится поступаться принципами — принимать кое-какие родительские взносы в Фонд помощи школе (но кто не может, не платит). Скучно повторять, но, по сегодняшним за-



конам, даже на столь необходимые надбавки учителям самой щедрой фирме пришлось бы тратить собственную прибыль. Хотя на школьный бассейн или трудовой комплекс она может направить налоговые отчисления (Мильграм, как в старые добрые времена, продолжает учить столярному, слесарному, швейному делу).

— Но ведь для учителей можно отпилить кусок бассейна...

— Я не умею, — горестно признается Леонид Исидорович. — Я боюсь... Если бы не мой нос... — пытается он шутить, но я подозреваю, что и самый восхитительный нос картошкой не сумел бы развязать ему руки: думаю, чувство безупречности перед законом является важнейшим источником его неуязвимости в отношениях... С детьми? Вероятно, отчасти и с ними, но главное — с социальной силой номер один: с властью. Его независимость, без которой, мне кажется, ему жизнь не в жизнь, всегда основывалась на том, чтобы все делать в десять раз лучше, чем могут потребовать, и при этом не нуждаться в начальственных поощрениях, находя упоение в самой работе — именно упоение: учитель, который не упивается работой, не может подняться выше ремесленничества, убежден Мильграм.

— Вам и сейчас нравится работа?

— Я наслаждаюсь ею, я купаюсь в ней — такое скопление юных морд с хорошими глазами!..

— Кстати, вы когда-нибудь прибегаете к пафосу?

— Я никогда ни к чему специально не прибегая. Но иногда возникают ситуации, которые невольно требуют серьезности. Например, двадцатого августа девяносто первого года заврону собрал нас, чтобы дать наставление: наше дело — учить детей и ни во что не вмешиваться. Я встал и сказал, что наше дело — осудить ГКЧП. Но никто меня не поддержал. Хотя в кулуарах все подходило, солидаризировались и благодарили. Может возникнуть еще какая-то ситуация — кража, например. В пятом-шестом классе иногда возникает детское воровство, но если вовремя дать по мозгам, на этом и кончается. Был случай, когда сын нашего же бывшего ученика украл портативный магнитофон... Я могу очень сильно ударить словом. Потом этот парень через много лет, уже взрослым человеком привез мне подарок...

Но, чтобы иметь право ударить словом, Мильграм в каких-то отношениях должен чувствовать себя абсолютно незапятнанным. Этот максимализм, несомненно, имеет свои издержки, но в чем-то он даже практичен: он не только позволяет «смотреть детям в глаза», но и вызывает уважение начальства. Да, да, самые прагматичные, а то и циничные люди, с младых ногтей усвоившие земную мудрость типа «Плетью обуха не перешибешь» и «С волками жить — по-волчьи выть», довольно часто бывают способны уважать честность. Но только совершенно незапятнанную: наименьшее пятнышко Санчо Пансы на панцире Дон Кихота разрушает рыцарский образ без остатка: ага, он такой же, как мы! Мильграм в течение года работал завучем, на которого было невозможно не обратить внимание, вкалывал в власть; его несколько раз выдвигали на директорский пост, но не утверждал райком — утвердил лишь в школе, переходившей в другой район, а та возьми да и останься в прежнем. В московском образовании было и есть хорошее начальство. С главой сегодняшнего департамента Л. П. Кезиной он долго не сближался — инаугурационное ее выступление чем-то ему не показалось. Только когда проходил первый обмен между американской и советской школой и Мильграм отказался от поездки в пользу своего завуча, Кезина пожелала познакомиться с этим странным директором, и тогда он увидел, что это профессионал, болеющий за дело. И за тех, кто его делает, — она много сил на это положила. Теперь он считает себя членом ее команды. Хотя и это для него еще не причина отказаться от своего саркастического юмора, иной раз и с черным отливом. Когда в Кезину стреляли (дико слышать, но таковы сегодня педагогические будни), Мильграм после ее выздоровления приветствовал любимую начальницу таким комплиментом: «Вы похорошели, вас каждый год надо отстреливать».

Сталкиваясь с самодурством, никогда не скрывал своего отношения. И первые пять — семь лет директорствования было трудно. В школе никогда не висело ни одного генсека или члена Политбюро, из райкома требовали, но потом отступились. Могли бы сместить? Естественно. Ушел бы в рядовые учителя. Должность ему была нужна только для того, чтобы воплотить свое представление о школе. Но если воплотить не дают, к чему тогда и должность? В первые годы звонили, просили повысить оценку тому или иному отпрыску — он отвечал, что не хочет унижать отпрыска заниженными требованиями. И постепенно отстали. Начали считаться. И, подозреваю, даже гордиться. Русский человек и в падении чит святость, верил Федор Михайлович Достоевский.

На мелкое хамство учеников он отвечает иронией, а крупного, агрессивного не помнит — наверно, помогает авторитет высшего существа (надо видеть, с какой миной он это произносит). Но неизвестно, что стало бы с этим авторитетом, если бы не этот же его максимализм, если бы, скажем, он не исключил из школы родную племянницу, запустившую занятия. «Какой ужас!» Леонид Исидорович горестно пожимает плечами: а что, мол, было делать?.. Он должен уверенно смотреть детям в глаза.

Да-а, дороговато приходится платить за безупречность... Отогнав тень Павлика Морозова, я задал вопрос: «Ваше представление о счастье?» — уже ожидая классического «Бороться!». Но Леонид Исидорович недовольно вздохнул: «Не надо этого писать. Это звучит дешево, фальшиво, но... Я счастлив, когда мне удастся что-то сделать для людей». — «Для людей или — через них — для дела, которым они заняты?» — «Для людей. Я не раз выбивал квартиры для своих учителей, но, если бы они были плохие учителя, я не стал бы этого делать. Однако я люблю делать добро и просто так. Нищим всегда подаю. Хотя в последнее время давать рубль стесняюсь, а больше не могу. Нет, я вообще люблю помогать людям. Когда человек в беде, я отношусь к нему лучше, чем когда он на коне». И, подумав, вполголоса добавил: «Я делаю добро не для того, чтобы люди это помнили. Но, когда они забывают, это бывает очень горько».

Без иронического забрала у него очень грустное и усталое лицо, у этого победившего Рыцаря Печального Образа. Любить людей гораздо мучительнее, чем дело, которому они служат: от людей невольно ждешь ответной любви. И он купается в ней. Но для идеалистов бывает мучительно даже струйка неблагодарности.

«Я счастлив, — размышляет он, — что мои учителя посмотрели мир, побывали в Италии, во Франции, но в каждую поездку я включаю кого-то из обслуживающего персонала, хотя дело этого вроде бы и не требует». Зато требует справедливость (как он ее понимает).

— Росту качества способствует конкуренция. Но совместима ли конкуренция с идеалами братства?

— У нравственных людей совместима. Меня бесят директора, которые подбирают учителей менее ярких, чем они сами. Вот у меня и завуч, и многие заместители, и многие учителя умнее меня, и я от них подпитываюсь. И дома я раб матриархата и очень доволен этим рабством. Если человек заслуживает, я бываю рад его победе.

— Так вам что, вообще незнакомо чувство зависти?

— Наверно, знакомо... Если другая школа в чем-то обскакала... Но я никогда не позволю себе это проявить. У меня был один коллега, который любил видеть свое имя в печати, — так я всех журналистов посылал к нему.

Мильграм, я думаю, уже давно состязается лишь с собственным представлением о совершенстве. Практичных принципов умеренной социал-демократии для таких личностей бывает маловато. Социал-демократические принципы обеспечивают людям какие-то минимальные возможности для реализации их дарований, но не указывают им никакого определенного направления, в равной степени поощряя и творчество, и социальный паразитизм. Лидеры же, подобные Мильграму, должны активно двигаться и вести других именно в определенном направлении — к чему-то до конца не ясному, но ощущаемому ими как идеал. Причем идеал не дружеской компании и даже не корпорации, а именно — если я правильно понимаю суть этих редких личностей — идеал всечеловечества. Меньшим их трудно воодушевить. И — подозреваю — в глубине души таковы мы все: вдохновить нас, пробудить в нас жертвенность способны лишь нечто великое и совершенное, а потому — неосуществимое. Но любому педагогическому коллективу, замахивающемуся на что-то незаурядное, необходим идеалист, мечтающий о невозможном: без этого зернышка самый роскошный коктейль пьянить не будет. Да, да, утопизм — смертельно опасная социальная болезнь, но без его прививки (вопрос в дозе) невозможны ни поэт, ни воспитатель (тот, который звучит гордо). Не зря человечество в лице своих пассионариев всегда ставило себе лишь те задачи, которое не могло осуществить. Даже трезвая позитивная наука совершала самые великие свои открытия не тогда, когда считала себя скромной служанкой производства, еще одной «производительной силой», но тогда, когда верила в высочайшее свое назначение, несопоставимое даже с самой наимолезнейшей практической деятельностью.

«Увеличивать власть человека над природой и освободить его от подчинения предрассудку — поступки более почтенные, чем порабощение целых империй и наложение цепей на выи народов», — уже в пятилетнем возрасте заявляло Лондонское королевское общество. Великий Ньютон усматривал в научной деятельности божественную миссию. Скромнейший Фарадей полагал, что правительственные награды за ученые заслуги должны быть такими, чтобы никто, кроме ученых, не мог их добыть. Гениальный Гельмгольц признавался, что главным его мотивом было не благо человечества, а неодолимое стремление к знанию; науку же он ощущал не столько полезным, сколько *святым* делом. Сверхгениальный Пуанкаре многократно повторял, что отыскание истины — единственная достойная цель человеческой деятельности. Избавить людей от страданий может и смерть, доставить богатство может и узкокольный практицизм — однако зачем? Наука полезна не потому, что помогает создавать какие-то машины, но, наоборот, машины полезны потому, что доставляют человеку новые возможности заниматься наукой.

Эта вознесенность над человеческими страданиями и заботами отдает даже неким имморализмом, однако Пуанкаре восклицал: любовь к истине не есть ли сама мораль?

Пожалуй, трижды величайший здесь все же махнул через край, ибо для такой сверхсложной системы, как современная цивилизация, вряд ли возможна одна мораль на всех — требования морали неизбежно должны противоречить друг другу. Врач не может поклоняться в точности тому же, что солдат, ученый — тому же, что музыкант, рабочий — тому же, что финансист, — хотя все эти профессии, несомненно, необходимы обществу. И ценность каждой социальной группы, выполняющей какую-то частную функцию, заключается прежде всего не в товарах и услугах, которые она производит и оказывает, а в тех святынях (необсуждаемых сверхличных ценностях), которым поклоняется ее элита, или, если хотите, аристократия: товары и услуги лишь следствия ее духовных устремлений. Миру необходима и научная аристократия, и военная аристократия, и рабочая аристократия, и крестьянская аристократия, и финансовая аристократия. Но трагизм социального бытия заключается прежде всего в том, что все эти святыни противоречат друг другу, а потому слишком часто стремятся не дополнять, а подминать друг друга: стремление один из частных культов превратить в культ-гегемон является, быть может, важнейшим источником упростибельского утопизма.

Единственный культ, который в своей школе признает Мильграм, — это культ знания. «Знания или истины?» — «Знание должно вести к истине...» — «Есть мыслители, которые подгоняют знания к заданному ответу...» — «У нас бывают доклады и начетнические, но бывают ищущие истину». — «А культ науки?» — «Это зависит от учителя. Но лично я ставлю перед собой задачу воспроизводства интеллигенции. Ямбург пытается учить всех вплоть до дебилов и делает это блестяще, но это может только Ямбург, а я отбираю». — «Элиту?» — «Смотря кого называть элитой...»

Недавно ему предложили по совместительству \$ 4000 в месяц во вновь создающейся частной школе под Москвой: плата за обучение предполагалась \$ 40 000 — «для элиты со всей России». Мильграм только рассмеялся: «Какой элиты — интеллектуальной или денежной?» Ему и впрямь не хватает деловых качеств: правительство Москвы к юбилею подарило ему квартиру, а он никак не может ее обменять на нужный район, но и сдать на это время считает аморальным. «Почему?» — «Мы не пойдем друг друга». Еще бы, где уж нам!.. И в школе своей он готовит не интеллектуалов, а интеллигентов — это чисто российское, разъясняет он: интеллектуалы, которые способны что-то сделать для других. Трудовые лагеря, шефство над детьми с церебральными нарушениями — все это учеников очень захватывает. «Стараемся воспитывать достоинство, честность и доброту», — подытоживает он хмуро. Чего же лучше, когда интеллектуал обладает честностью и добротой и вместе с тем не стремится к утопическому гегемонизму своих ценностей, как к этому склонен был его дореволюционный предок, норотивший заменить понимание социальных реалий совестью, разрушавший терпимое во имя невозможного... Но в наше время утопизм шкурничества пока что гораздо опаснее, чем утопизм прекраснодушия. Хотя... Они друг друга стоят.

Бывшие ученики, случается, укоряют альма-матер, что их выпустили в жизнь в розовых очках. Но судьба самого Мильграма очень выразительно демонстрирует, что дар идеализации — драгоценнейший дар богов: розовые очки не только искажают жизнь, но и преображают ее в лучшую сторону. А вот черные очки — это проклятие.

— Нет, не заповедник, но нравственный оазис, хотелось бы верить, у нас есть. Мы стараемся создать мир, в котором богатство и связи ничего не значили бы, где каждый стоил бы столько, сколько стоят его личные достоинства, его ум и характер.

Это, конечно, не скромная социал-демократия — та вполне уважает (и правильно делает) и власть, и богатство, она старается лишь несколько ограничить их могущество (абсолютно необходимо осознание социальной реальности) в пользу еще и личных дарований (отличаясь от просвещенного либерализма только дозировкой). Воспоминания об утраченном рае, где были важны только личные доблести, вероятно, и становятся для мильграмовских учеников тем будоражающим идеалом, той мечтой о невозможном, которой для самого Мильграма был мираж коммунизма.

— А что вы противопоставляете соблазнам внешнего мира — культу материального успеха?

— Демократию. Когда кто-то пытается шебуршиться, кичиться папиными деньгами, папиным чином, его ставят на место сами ребята. Будут игнорировать, куда-то не пригласят...

— Интересно. Демократия, защищающая аристократизм... Мне кажется, вы демократ в сфере материальных прав и аристократ в сфере духа.

— Что вы называете аристократизмом? Я столько раз встречал благороднейших людей самого плебейского происхождения...

— Аристократизмом я называю стремление служить каким-то сверхличным

ценностям, независимо от того, выгодно это или невыгодно, одобряется большинством или не одобряется.

— Я вообще-то не склонен теоретизировать. Просто в каждом конкретном случае поступаю так, как велют мне мой ум и моя совесть.

— Я поясню. Представим писателя — ну что-нибудь вроде Кафки: он пишет романы, а подавляющему большинству населения, «народу», они на фиг не нужны. Должен ли он бросить их писать или должен по мере сил продвигать?

— По мере сил продвигать.

— Но вот он победил, он всемирно признан. Имеет ли он право теперь потребовать тысячекратного вознаграждения?

— Нет.

— Это я и называю демократизмом в сфере материальных прав и аристократизмом в сфере духа. Этот аристократизм и утратила прогрессивная советская интеллигенция: провозгласив «Рынок всегда прав!», она отняла у себя важнейшую опору — веру в свое высокое предназначение.

— Мне ужасно жаль, что интеллигенция исчезает, именно этому я по мере сил стараюсь противостоять.

— Противостоять распаду может только аристократизм, а интеллигенция не только от него отказалась, но еще и возглавила свое уничтожение, провозгласив хамский принцип «Ты стоишь столько, сколько за тебя дают». В области фабричных товаров это, конечно, совсем неглупо, но даже в области материальных прав провозгласить равенство профессионала и невежды, праведника и прохвоста...

— Кстати, я за равенство материальных прав вовсе не в диогеновой бочке. Я люблю хорошо поесть, я доволен, что у меня есть «Жигули»... Я за все удобства, которые дает современная цивилизация, но только за те, которые для нее нормальны, из-за которых не нужно лезть вон из кожи.

Он за комфорт, но против роскоши. Сколько бы он ни уверял, что не очень-то склонен теоретизировать, однако проблемы макромира всегда при нем и в будничных делах. В отлично изданном (я не оговорился: *изданном*) выпускном альбоме Мильграм напущивает своих питомцев не прописями, относящимися к микромиру профессиональных или семейных забот, но весьма масштабными социологическими суждениями: в сегодняшних либерально-демократических преобразованиях очень важно делать акцент на обеих частях этой формулы; по мнению чистых либералов, «не личность для общества», а «общество для личности», но эти положения ни в коем случае нельзя противопоставлять, ибо эта проповедь крайнего индивидуализма в сочетании с нарастающим прагматизмом порождает эгоистов, эгоцентриков; он же верит, что в Сорок Пятой всегда господствовало чувство принадлежности к определенной корпорации («Наши выпускники везде разыскивают друг друга»), и это лишь способствовало развитию лучших сторон каждой личности — у каждой своих, индивидуальных.

Быть может, это и не суждение теоретика — еще в начале прошлого века Бенджамин Констан предлагал различать демократию «древних» и «новых» народов: «древняя» демократия позволяла личности принимать участие в общих решениях, но не позволяла уклоняться от их исполнения; «новая» же демократия стремится защитить от вмешательства частную жизнь. А тому же П. И. Новгородцеву из десятков определений демократии наилучшим представлялось такое: система политического релятивизма. Система, не признающая окончательным никакое государственное устройство и, следовательно, открывающая дорогу... всему. В том числе таким порядкам, которые Леонид Исидорович ни за что бы не одобрил. И тем не менее в его напущивании в тысячу раз больше социологической мудрости, чем в проповедях перестроечных пророков, полагавших себя компетентными экономистами и политологами. Помнится, в эту светлую пору прогрессивная питерская газета заподозрила во мне коммуниста, когда я позволил себе заметить, что Лев Толстой написал «Анну Каренину» не только ради денег и что абсолютно каждое коллективное дело непременно требует хоть крупинцы жертвенности. Уж, казалось, мы и тогда насмотрелись, что бывает, когда личность, вмещающая себе в обязанность думать только о себе, становится министром, директором, генералом... Но ведь то было в дорыночную эру! А рынок все расставит по справедливости.

Классик мировой социологии Эмиль Дюркгейм больше ста лет назад убедительнейшим образом доказал, что вместе с ростом индивидуальных свобод обществу необходим параллельный рост солидарности. И если бы только обществу! Тот же Дюркгейм показал, что упадок солидарности неизбежно сопровождается ростом самоубийств: дельцы утрачивают границы appetitов и, никогда не насыщаясь, готовы рисковать необходимым в надежде обрести излишек; личности же творческие утрачивают цели своих дарований, ибо все умения вырабатываются обществом для служения ему же — презирая общество, ты невольно презираешь и лучшее в себе... Но те-

ория Дюркгейма, вполне почитаемая в ученом мире, не имеет в своем арсенале чарующего мифа, который только и мог бы захватить общественное сознание (для мифа «права человека» хорошо потрудились советская власть, окружив его ореолом гонимости и пропитав кое-какой жертвенной кровью). Сегодня идея братства живет и местами побеждает только благодаря отдельным специфическим личностям, которым ну не интересно жить только ради себя: к ним начинают тянуться им подобные — так и возникают мощные команды, с которыми бывает очень трудно соперничать временным объединениям эгоистов, готовых разбежаться при первых признаках неудачи.

Когда я понял, что Мильграм — одна из таких личностей, вопрос о «методе» почти отпал. Хотя педагогическая наука и может дать кое-какие рекомендации, но интерпретировать в неповторимых ситуациях их все равно будет личность. А личность не передашь. Если в тебе есть изюминка, если ты любишь детей без сюсюканья, если строишь отношения с учителями на взаимоуважении и взаимопонимании... Но кто же этого не знает!

Кому-то могут прийти в голову манеры утонченного джентльмена, а Мильграму пришлось образ ворчливо-любящего папаша, и все только разнежено смеются его грозным запросом: «Где стакан?! Убью!» — и деланной грубоватости укоризн: «Ты негодяй. Я соскучился, а ты не заходишь. Я даже звонил тебе сказать, что ты негодяй. Вот он гораздо больше тебя занят, но все-таки зашел». Оба паренька в футболках счастливо рдеют, а он поворачивается ко мне: «У этих лоботрясов великолепные мамы». «А чем же я занят?» — с робостью влюбленного интересуется один из лоботрясов. «Мне известно чем. Она патологически хороша, будь осторожен!»

Один парень только что поступил в знаменитый вуз, другой его оканчивает, идет в аспирантуру. Эта девочка тоже поступила куда-то сразу в два места — и ей тоже никак не уйти из директорского кабинета. И всех в конечном итоге только умиляет его борьба с роскошью: «В педагогике самое трудное — бабушки. Они дарят внукам какие-нибудь бриллианты, а их одноклассницы начинают чувствовать себя ущемленными». Однажды в школе устроили «ситцевый бал», и некоторые девочки не пришли, оттого что нечем было блеснуть. Тогда-то Мильграм и начал настаивать на школьной форме как форме демократизма. Но в его установлениях в конце концов начинает умилять даже то, что от другого было бы принято как деспотизм. «Я могу иногда и по попке дать — меня спасает, что мне восемьдесят лет». Подкрашенную девочку он подводит к зеркалу, посмотрит, молодая кожа хороша сама по себе. «А ну в туалет — и смыть!» К заросшему парню он может обратиться иначе: «Ты мерзавец, ты нарочно все это отрастил, чтобы я тебе завидовал». Раньше он, случалось, еще и выдавал по два рубля на стрижку, но теперь такие прихоти ему не по карману. Один парень написал в свою защиту целый трактат, но все-таки подстригся, — в общем, серьезных протестов не случилось, хотя из-за стрижки известны целые восстания, как против очередных захватчиков в Древнем Китае, под лозунгом «Рубите головы, но не трогайте волос!». Однако от Мильграма принимается и его «фундаментализм». Максимум кто-то подстрижется налысо — и тоже ничего, посмеются.

Вот когда один паренек из нищей семьи примкнул к «бриголовам», Мильграм уже всерьез пригласил его к себе: «Ну и какова же твоя идеология?» — «Россия для русских, Москва для москвичей». — «А кто твои любимые учителя?» Тот как нарочно перечислил евреев. Хотя Мильграм, естественно, отбирает по мастерству, а не по национальности.

К слову сказать, когда его приглашали в Израиль, тамошний министр образования предложил ему сделать Сорок Пятую базовой школой для изучения иврита и вообще иудаизма. Мильграм отказался: у нас довольно много учителей-евреев, но учеников немного. А кроме того, он абсолютный атеист, даже у Стены плача он не испытал ни малейшего подъема, весьма саркастически воспринимая коллегу, который и записку туда засунул, и... Новообращенный иудей для него так же смешон, как вчерашний партработник в церкви со свечой. Но устроить в своей школе выступление митрополита Питирима — это пожалуется, если тот говорит о церкви как феномене культуры.

Мы снова сидим с Леонидом Исидоровичем уже четвертый час, а в кабинет все заруливают учителя и особенно учительницы, прохаживаются, как у себя дома, садятся, рассеянно наматывают волосы на палец, без спроса берут шоколад из раскрытой коробки. «Бери, бери, — поощряет Мильграм, и угощаемые немедленно начинают бороться с непокорной улыбкой. — И Машке возьми. А ты заметила, на постановке «Ромео и Джульетты» этот негодяй стал целовать мертвую Джульетту прямо взасос и еще на меня при этом поглядывал? Ну ладно, топай домой». И рассказывает, как однажды к нему явился зареванный старшекласник, которого избили сразу трое. Нет, не сразу, оправдывались те, а по очереди: они дрались с ним на дуэли один на один. Из-за чего? А тот, который побитый, хвастался, будто его с одной девочкой связывают отношения Клинтона с Моникой Левински (притом навряд ли врал).

Мильграм подготовил приказ в трех экземплярах: объявить выговор — и так далее,— а потом вручил каждому лично в руки: «Можете носить вместо ордена — вы были правы».

Какая наука даст рецепты на все тысячи непредвиденных ситуаций?

Отправившись получать премию мэра, с дороги, поскользнувшись на бензоколонке, Мильграм угодил в больницу — жена даже обижалась, что ей и там не дают с ним побыть вдвоем. «В такие минуты начинаешь думать, что жил не совсем зря...» — признание из-под забрала. Наверно, похвалы его тоже впечатляют, когда отрываются от насмешливого контрапункта. Когда один из лучших его учеников отвечал совсем уж неотразимо, Мильграм обратился к классу: «Что значит — заранее договорились о вопросах!»

Речь у него становится все более и более усталой, но первым прервать разговор он не может. Я бы уж и рад был пощадить его, но ведь для дела хочется выпытать еще что-то. Снова звонок. «Сейчас выезжаю.— И растроганное пояснение: — Бросила трубку. Злитя. У нее один припев: я эту школу сожгу! Я ведь больной человек,— забывается он,— у меня был инфаркт, нет желудка... Я обещал работать по три часа и теперь каждый день выслушиваю: ну где твои три часа?... После инфаркта, тридцать лет назад, мне дали инвалидность без права работы. Я засунул эту справку подальше, и... Знаете, в чем еще мое счастье? Утром я бегу на работу, а вечером бегу с работы».

В приемной меня укорила уборщица: «Он же здесь с семи часов...» — а сейчас уже половина восьмого. Подозреваю, и секретарша пыталась защитить своего патрона от еще одного доставалы.

Вспомнив завет педагогического классика, я прошусь осмотреть отхожее место. В отдельном кабинетике для учителей все прилично, но бросается в глаза отсутствие туалетной бумаги. Хозяин разводит руками: он уже забыл, когда им что-то выделяли на бумагу, на мел... Да, на бумагу ему явно недостает деловых качеств. Зато бассейн ослепляет и повергает в немоту — кажется, будто ты попал на международные состязания в какой-нибудь социал-демократической Швеции.

Мимоходом Мильграм не раз упоминал, что один их выпускник возглавляет крупнейшую газету, другая выпускница — знаменитый журнал, доктора наук в разговоре всплывали то там, то здесь, но когда я спросил у него «объективку» о достижениях школы: какой процент поступает в вузы, сколько выпускников вышли в профессора и директора, — он сразу же нахмурился: «Да нет никаких достижений, школа как школа». «А «Школа года»-96, «Школа года»-97?» — «А...» — Он отмахнулся, как от полудохлой мухи. Пришлось звонить тем видным деятелям образования, которые так пылко мне его рекомендовали. «Конечно, есть и профессора, и директора, но главное — в этой школе во все времена хранили достоинство, брали уволенных, кого больше нигде не брали». «Это просто лучшая школа в Москве. Все ее выпускники поступают куда хотят, поселяются в том американском штате, который выберут. Эта школа дает максимальную свободу выбора».

Я сообщаю Мильграму, что собираюсь определить его как еврейского Сирано: защищаться не бретерством, а иронией — упоминаний о носе не только не запрещать, но, напротив, позволить этому самому носу в качестве независимого существа, вроде носа майора Ковалева, порхать по всей школе и даже напрашиваться в школьный герб; самому же, солдату и рыцарю, в отличие от носа держаться подчеркнuto небраво, сидеть, открывая из-под обвесающего пиджака невиданные брезентовые подтяжки в солдатский ремень шириной...

— Сирано?.. — Он только что не хватается за голову. — Я умоляю... Не надо меня идеализировать, я совершенно не считаю себя экстраординарной личностью. Я не кокетничаю, — втолковывает он мне, словно я инвалид если не по уму, то по слуху, и вновь перечисляет, насколько все его знакомые и родственники более умны, образованы и принципиальны, чем он.

— Но такой-то и такой-то, которые мне вас рекомендовали, они что, наивные люди?

— Нет, они не наивные люди, — вынужден признать он.

— Так почему же они восторженно отзываются именно о вас?

Он добросовестно размышляет, но через полминуты сдается:

— Я не понимаю причины этого явления. Думаю, заблуждаются. Я совершенно ординарная личность.



Евгений ПЕРЕМЫШЛЕВ

---

## Декабрь

**1.12.1918**

**В** Петрограде открыт Театр марионеток, много позднее получивший название по имени первого руководителя — театр имени Е. С. Деммени. Событие это, если следовать логике культуры, имеет особый смысл. Марионетка издавна воспринималась как символ несвободного человека, живущего под небесами (строки Хайяма: «Кто мы? — куклы на нитках, а кукольник наш небосвод» именно потому и звучат так на русском языке, что переводчик не столько следовал за оригиналом, сколько адаптировал его, вписывая в собственную культуру). Но социальная революция, освобождающая людей, никак не может пройти мимо человеческих подобию, она обязана освободить и их. Собственно, о таком освобождении рассказано А. Толстым в сказке про Буратино. И вот куклы свободны, более того, они получили собственное помещение. Характер времени изменялся, а куклы все оставались свободными, на них больше не отражались социальные эксперименты. Достаточно сказать, что сейчас театр имени Е. С. Деммени — единственный театр в России, где играют марионетки, к тому же в театре необыкновенное собрание старых кукол. Как бы ни оценивали сейчас революцию, этот превосходный театр родился благодаря ей.

**2.12.1901**

На американском рынке появилась одна из немногих вещей XX века, воспетая стихами. В продажу поступили безопасные лезвия, запатентованные еще в 1897 году.

Пластинкой тоненькой «жилета»  
Легко щетину спячки снять,—  
Полуукраинское лето  
Давай с тобою вспоминать,—

писал вечно плохо выбритый О. Мандельштам.

**3.12.1926**

Агата Кристи исчезла из своего дома в Сюррее. Обнаружили ее только 14-го числа. Она проживала под вымышленным именем в отеле «Старый лебедь» в Хэрогейте. Виновица переполоха сказала, что не помнит, как оказалась в Йоркшире. Было это истинной правдой или лукавым розыгрышем, осталось неизвестным.

**4.12.1947**

На Бродвее прошло первое представление легендарной пьесы Теннесси Уильямса «Трамвай “Желание”». Главную роль играл Марлон Брандо.

**5.12.1931**

Взорван храм Христа Спасителя — событие, маркирующее эпоху, ставшее культурным (или антикультурным) знаком. Кончился один исторический период и начался другой. Недаром в песне А. Галича уничтожение храма сопоставлено с уничтожением статуй Сталина, когда сталинский период истории пришел к концу:

Помню, глуп я был и мал,  
Слышал от родителя,  
Как родитель мой ломал  
Храм Христа Спасителя.  
Бассан-бассан-бассана,

Черт гуляет с опером.  
 Храм — и мне бы ни хрена,  
 Опium как опиум...  
 А это ж Гений всех  
   времен,  
 Лучший друг навеки!  
 Все стоим ревмя ревом,  
 И вохровцы, и зэки.

Сознание рядового гражданина эпохи, от лица которого и написана песня, запечатлело (пусть по-разному) оба этих события, а ведь современники редко вообще что-либо запоминают. Память старается вытолкнуть из себя все, ей нежелательное.

**6.12.1921**

Южным территориям Великобритании дарована независимость, но Северная Ирландия так и осталась частью объединенного королевства. И потому впереди были взрывы, кровь и многочисленные жертвы.

**7.12.1941**

Японцы атаковали Пёрл-Харбор. Американский менталитет получил одну из первых и самых сильных травм. Попытки психотерапевтических сеансов, предпринятые в Корее и Вьетнаме, только усугубили болезнь.

**8.12.1982**

В заложники взят памятник Вашингтону, будто подтверждая закон: нынешний век не различает вещь и знак этой вещи, уравнивая их.

**9.12.1905**

Любопытно, что одно и то же произведение может в разные исторические периоды звучать по-разному. И проблема тут вовсе не в интерпретации, а в самом характере времени; достаточно сравнить оперу Рихарда Штрауса «Саломея», созданную по пьесе О. Уайльда, премьера которой состоялась в этот день в Дрездене, и фильм Кена Рассела «Последний танец Саломеи», снятый в 1987 году.

**10.12.1901**

Вручена первая Нобелевская премия. Не стоит оценивать, справедливо либо несправедливо вручались эти премии за достижения в науке, но то, что присуждение премий по литературе носило политический характер, вряд ли подлежит сомнению. Достаточно взглянуть на фамилии многих лауреатов и взвесить, чего же они такое особенное сочинили.

**11.12.1987**

Тросточка, котелок и башмаки Чарли Чаплина были проданы на аукционе. Великого Шарло начали распродавать по частям, это лишний раз подтвердило, что он фигура составная, синтетическая, а не органичная. Именно так его и воспринимали с самого начала европейские авангардисты — Чарли-кубист, Чарли-мозаика (тогда еще отсутствовало понятие «конструктор»).

**12.12.1915**

Первый полет первого цельнометаллического самолета, построенного по проекту немца Юнкера. На глазах всего человечества словно попирались основные законы физики (в действительности физические законы получали лишнее — достаточно веское — подтверждение).

**13.12.1903**

В Америке запатентованы рожки для мороженого. И это тоже — свидетельство прогресса.

**14.12.1900**

Первая публичная лекция, посвященная квантовой теории.

**15.12.1978**

Корпорацией «Филипс» выпущены лазерные диски.

**16.12.1987**

В Италии закончился самый большой за всю историю суд над мафией. Результаты судебного разбирательства, длившегося 22 месяца, таковы: к пожизненному заключению приговорены 13 боссов-мафиози, в качестве свидетелей выступили 1314 человек, из 474 подсудимых 2 убиты, когда их выпустили на поруки во время длительного судебного разбирательства.

**17.12.1903**

В небо поднялись братья Райт.



**18.12.1912**

В Сассексе Чарльзом Доусоном был обнаружен пилтдаунский человек. Заявлено, что окаменевший череп и останки принадлежат самому древнему европейцу, однако в 1953 году доказано, что это подделка и череп принадлежит орангутангу.

**19.12.1908**

Первое представление театра-кабаре «Кривое Зеркало», навсегда вошедшего в историю культуры, ибо здесь поставлена самая великая театральная пародия, знаменитая «Вампука».

**20.12.1917**

В этот день не только образована Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем, ВЧК. В этот день появился один из важнейших символов новой эпохи.

**21.12.1925**

Состоялась премьера фильма С. Эйзенштейна «Броненосец “Потемкин”», фильма, ставшего знаменем советского искусства, но также и событием в искусстве авангарда.

**22.12.1987**

Китайские воры вызвали хаос на улицах города Ксиньянга в северном Китае. Они похитили 2249 крышек от канализационных люков, для того чтобы опять продать их правительственным учреждениям.

**23.12.1922**

Радиостанция Би-би-си начала передавать ежедневную сводку новостей.

**24.12.1974**

Недолгая, но шумная история группы «Битлз» официально завершилась.

**25.12.1989**

Едва ли не впервые в мировой истории был вынесен и приведен в исполнение приговор диктатору. Н. Чаушеску и его жена расстреляны.

**26.12.1943**

«Шарнхорст», последний из крупных немецких боевых кораблей, потоплен королевским флотом Великобритании.

**27.12.1904**

В Лондоне прошло первое представление пьесы Дж. Барри «Питер Пен». Образ мальчика, категорически не желающего расти, постепенно из фантазии сказочника становится фактом действительности. Духовный инфантилизм распространяется все шире, впрочем, теряя при том свою категоричность и принципиальность.

**28.12.1908**

Землетрясение в Мессине, одно из первых столь огромных стихийных бедствий в новом веке; может быть, потому оно так поразило воображение. Рассказывая об эпохе, о нем вспоминал в «Скифах» Александр Блок.

**29.12.1952**

Реликтовая рыба целикант, которую считали давно исчезнувшей, была поймана у берегов Южной Африки. Судьбу несчастного целиканта, которого без всякой жалости истребляют голодные африканцы, можно сравнить только с судьбой самих голодных африканцев, которых без всякой жалости истребляет XX век.

**30.12.1916**

Зверски убит Григорий Распутин.

**31.12.1972**

Во Франции открыт телевизионный канал, который будет через некоторое время отдан только для демонстрации фильмов. И это справедливо. Люди устали от телевизионных новостей, сколь ужасных, столь и однообразных. Они хотят уйти из пространства повседневности.

В № 10 «Октябрь» за 1999 г. в рубрике «Год как век» следует читать: «1.10.1946. Международный военный трибунал, заседавший в Нюрнберге...» (далее по тексту).

Приносим свои извинения читателям.

Владимир БЕРЕЗИН

## Всё нормально

Собственно, заголовок и есть самое главное утверждение.

Существует нормальный процесс, движущийся неумолимо, постепенно, будто рост энтропии во Вселенной. И существуют отклонения, выбросы, иначе говоря — флуктуации.

Такой флуктуацией в литературе бывает появление неожиданного, поражающего текста. Такого, как «Один день Ивана Денисовича». Иногда эти события подбираются вместе, вполне соответствуя статистическим законам, — их участники могут успеть получить известность, а иногда происходит другое: «*Они стояли стройным лесом, в них были вера и доверье. Но их повывбило железом, и леса нет — одни деревья*».

Но от созвездия ИФЛИ нас отделяет все больше и больше времени. Литература сейчас иная.

Магия цифр, то есть чисел, юбилейное время всегда приводит к лихорадочному подведению итогов. Это все же магия цифр, потому что это магия круглых цифр, а проще говоря — нулей. Это магия именно нулей, а не числа «две тысячи». Особенно она заразна в конце тысячелетия (хотя, кажется, теперь все уже свыклись с мыслью, что смена веков и тысячелетий произойдет не через несколько месяцев (я пишу это в октябре), а через год и несколько месяцев — при начале 2001 года.

Подведение итогов, составление списка флуктуаций — занятие прибыльное, но только не всегда корректное в научном смысле.

Часто оно напоминает составление очередного списка Шиндлера, списка, в который все норовят попасть и толкают под руку переписчика.

Возникает суета, мелькание рук, разговоры о вечной ценности того или иного текста. А литература действительно иная. Пророчества и учительство, публичные проповеди, в которых писатель рвал рубаху на груди, давно не в моде. Они перешли от литературы к другим видам человеческой деятельности.

Хотя публичное разрывание рубах на своей и чужой груди — всегда зрелище отвратное. Такие нервные жесты — знак неумения работать со словом.

### Списки шиндлеров

Книгоиздательская деятельность весьма внятно определяется экономической ситуацией. Поэтому вполне очевидно — и никаких открытий тут не сделаешь, — если сказать, что после вполне ожидаемого экономического кризиса 1998 года те издатели, что выжили, снова вошли в русло рутинной работы. В общем, *послекризисное время* напоминает финал одного хорошего рассказа Астафьева: «...тревожно лаяли собаки, торопливо стучали топоры, звенели дисковые пилы — заключенные ремонтировали свое обрыдлое жилье, порушенное ураганом».

Люди живы, люди никуда не подевались и продолжают читать книги. Никуда не подевались и люди, которые эти книги пишут.

Причем тут существует тоже вполне очевидное запаздывание — поскольку роман все-таки пишется не как журнальная статья, а, скажем, год. Попадает в «толстый» журнал и выходит еще через полгода, а то и через год — эти процессы мало отражают колебания рынка.

Между тем, кроме, пожалуй, книги Мураками «Охота на Овец», открытий граничной художественной литературы российской культуры не испытала. Книги Харуки Мураками чрезвычайно популярны в мире уже два десятилетия, это гремучий сплав японской традиции и современной мировой культуры. Гремучий — пото-

му что переворачивает наше представление о Японии и мире вообще, тревожащий — потому что книги эти вполне восточные по своей философии.

Однако мы живем своим. Своим умом и опытом.

Ужасных превращений нет, книги издаются и художественная литература в том числе — вышли книги у Эргали Гера, у Антона Уткина. Несколько книг Олега Павлова. Появились романы Дмитриева и Малецкого.

Тут есть одно отрадное обстоятельство.

Появились вещи, отличающиеся тем, что основаны на актуальном материале, действие которых происходит здесь и теперь. Раньше же хорошая, добротная литература как бы останавливалась на пороге, запаздывала лет на пять-шесть.

Вот три таких мелких замечания прежде, чем мы начнем говорить о книгах. Потому что заинтересовать может много разных вещей.

Скажем, роман Уткина «Самоучки» овеян духом недавнего времени. Запахом ночной Москвы, чужих денег, чужой небедной жизни, «запахом бензина и дорогих духов», как поется в одной неплохой современной песне. Герой в этом романе — только наблюдатель жизни: это не его деньги и не его город, но он о нем свидетельствует.

Роман Малецкого «Проза поэта» еще интереснее — это не просто хороший роман, но роман искусный, интересно написанный. И при этом остающийся очень русским, с какими-то чертами, окружающими героя, с современностью, которая лезет во все щели, и с настоящими традиционными разговорами, которые всегда ведутся в аэропортах и на железнодорожных вокзалах.

Это короткая тема, потому что критика давно уже отписалась по этому поводу.

Вот за что действительно стыдно — так это за наши юбилеи.

Стыдно за отшумевший пушкинский юбилей и за случившийся недавно платоновский. Потому что стыдно за *неиздание* пушкинских и платоновских книг. Естественный, казалось бы, акт уважения к этим писателям — издание собрания их сочинений — не осуществлен. Нет даже переиздания академического собрания сочинений Пушкина. Что в общем-то очень обидно.

Но это — о том, что уже является состоявшейся классикой.

Формализацией же признания современных писателей стали литературные премии.

Чрезвычайно интересно в этом смысле наблюдать за ними, то есть премиями. Литературная премия по сути своей, кроме функции материальной поддержки писателя, его продвижения, являясь в его биографии чем-то вроде докторской диссертации, есть индикатор интереса.

Интереса жюри и интереса номинаторов. Но еще интересны и литературные списки Шиндлера для сравнения читательского интереса и номинаторского.

Сейчас неизвестно, кто станет обладателем Букеровской премии этого года. Однако весь список, короткий список ее, говорит, что премия эта становится внутренне-литературной.

Это и хорошо, и — не очень.

И дело не в том, что для вящей радости нужно срочно кооптировать в короткий список Пелевина или Сорокина. Дело в том, что эта премия становится монотонной, она лишается статусности.

Выбор жюри воспринимается с уважением. Но уважения в литературе мало. Иногда хороша литературная драка, не поножовщина в подворотне, а именно хорошая деревенская драка — не с убитыми, а с парой синяков. С вовлечением в словесную потасовку читателей, иначе такое противостояние превращается в некрасивое битие в буфете Союза писателей, неинтересное даже участникам.

Статусность премии не в количестве денежных нулей, а в приобщении писателя к ряду предшествующих ему победителей. В том, что он выходит победителем в результате общественного спора, а не нормальным образом, спокойным выбором из равных претендентов.

На объявлении короткого списка претендентов на Букеровскую премию, говорят, задавали вопрос: «Ну и кто из этого списка получит признание у читателей?» На что жюри отвечало, что оно, жюри, занимается вечными ценностями, а не сиюминутной популярностью.

Правы в этом смысле обе стороны — только вот проверка вечностью по определению состоится не скоро, а общественный интерес к статусу лауреата истончается.

Впрочем, я займу не самую бесспорную позицию, если буду судить об интересности по тиражам. Выйдет, что самая интересная читателю литература — литература массовая, в чье обезличенное понятие вместе ухнут Пелевин с Сорокиным, Маринина с Дашковой и Берроуз с Винни-Пухом.

### *Идея, овладевшая массами как материальная сила*

Массовая литература не есть ругательное определение. Доказывать это бессмысленно. Это очевидное суждение.

При этом со временем продукт массовой культуры переходит в разряд элитарной.

Один хороший англичанин писал: «Вот, например, фарфоровая собачка, которая украшает спальню в моей меблированной квартире. Эта собачка белая. Глаза у нее голубые, нос нежно-розовый, с янтарными крапинками. Она держит голову мучительно прямо и всем своим видом выражает приветливость, граничащую со слабостью. Я лично далеко не в восторге от этой собачки. Как произведение искусства она меня, можно сказать, раздражает. Мои легкомысленные приятели глумятся над ней, и даже квартирная хозяйка не слишком ею восхищается, оправдывая ее присутствием тем, что это подарок тетки.

Но более чем вероятно, что через двести лет эту собачку — без ног и с обломанным хвостом — откуда-нибудь выкопают, продадут за старый фарфор и поставят под стекло. И люди будут ходить вокруг и восторгаться ею, удивляясь теплой окраске носа, и гадать, каков был утраченный кончик ее хвоста.

Мы в наше время не сознаем прелести этой собачки. Мы слишком привыкли к ней. Она подобна закату солнца и звездам — красота их не поражает нас, потому что наши глаза уже давно к ней пригляделись.

Так и с этой фарфоровой собачкой. В 2288 году люди будут приходить от нее в восторг. Производство таких собачек станет к тому времени забытым искусством. Наши потомки будут ломать себе голову над тем, как мы ее сделали. Нас будут с нежностью называть «великими мастерами, которые жили в девятнадцатом веке и делали таких фарфоровых собачек».

Это написал в девятнадцатом веке Джером Клапка Джером, и время подтвердило его иронию.

Поэтому сейчас пользуются таким успехом в массовой культуре старинные тексты или тексты, имитирующие старину, — хорошим примером могут служить изящно стилизованные книги Б. Акунина. Вроде бы и детективы, ан нет, есть в них стилистический изюм, который придает детективному сюжету литературную прелесть.

Все то, что происходило с массово-популярной книгой за последний год, было определено заранее.

Во-первых, происходил переход точки популярности от любовного романа к криминальной мелодраме. В первые ряды этого движения выходят новые имена, Маринина (превратившаяся из нормального псевдонима в нарицание, в понятие), похоже, уступает часть своей экологической ниши. А в книгах признанных авторов намечается чисто статистический кризис (так, два последних романа той же Марининой существенно ниже по уровню того, что она делала раньше).

Во-вторых, меняется сама роль детектива (то есть увеличивается доля action, появляется так называемый армейский боевик).

Раньше герой имел за плечами опыт войны в Афганистане (как главный действующий персонаж саги о Бешеном, написанной Доценко). Теперь количество спецслужб выросло неимоверно, с такой же жутковатой скоростью увеличилось и количество людей, имеющих боевой опыт. На это обстоятельство чутко реагирует массовая литература.

Ее герои уже включили в послужной список войну в Чечне, освоили азы Интернета, научились стрелять не только из автомата Калашникова, но и из многих других видов смертоносного оружия.

Черты героя массовой литературы являются не меньшим индикатором состояния общества, чем литературные премии.

В-третьих, сохраняется структура, состоящая из читателей и писателей фантастики. Это самое корпоративное объединение, потому что в фантастике, какой бы по стилю она ни была, читатель приближен к автору, несколько раз в году проводятся съезды (или, если говорить языком самих фантастов и их фэнов, «конвенты») с присуждением премий и обсуждением новых произведений. Никто из действующих детективных романистов не может похвастаться массовыми ролевыми играми по собственным произведениям. Фантасты — могут. Они ревностно читают книги своих коллег и не теряют их из вида.

В-четвертых, существует еще один феномен — превращение справочника или словаря в читаемое, почти беллетристическое издание. Во всем мире справочные издания пользуются повышенным спросом, очевидно гораздо большим не только чем «высокая», или «элитарная», литература, но и большим, чем детективы.

Текст хорошего справочника обрастает множеством иллюстраций, схем и одновременно литературных цитат, анекдотов, а также просто ссылок. Справочник превращается в гипертекст. Такая история началась давно, и самым знаменитым литературным текстом в ней был «Хазарский словарь», а словарей, в том числе культурологических, уже не счесть.

Призрак «Хазарского словаря» словно бы витает над «гуманитарными» словарями.

### *Рыба в сетях*

Нормальное развитие словесности в Сети (так, мне кажется, это лучше писать — хорошее русское слово «сеть», написанное с большой буквы, хорошо отражает сущность Рунета, русского Интернета, части Интернета с флексией «.ru»).

Есть два события. Одно не имеет четких временных рамок, другое фиксировано во времени целой цепочкой документов, в том числе судебных.

Есть знаменитая, уже знаменитая история с романом «Голубое Сало».

Мне совершенно неинтересно здесь говорить о самом романе Владимира Сорокина. Это разговор нудный и долгий, и заранее чувствуешь, как вязнешь в болоте аргументов и контраргументов. Дело не в том, хорош или плох этот роман, дело в том, что история не связана с его внутренним содержанием.

Это прецедент. Это первый случай публичной дискуссии по поводу авторского права в Интернете, постепенно переросшая в дискуссию о сетевой литературе.

Все-таки нужно сказать два слова об истории вопроса.

Итак, в издательстве «Ad Marginem» вышел сам роман.

Затем один из знаменитых людей русской Сети — Андрей Чернов, автор кодировки кириллического шрифта КОИ-8, помещает текст на своем сервере, потом оставляет на этот текст, лежащий на уже другом, зарубежном сервере, лишь гиперссылку (то есть путь доступа), но механизм уже запущен.

Сейчас «Ad Marginem» подал исковое заявление в Бабушкинский межмуниципальный суд города Москвы, иск о защите авторских прав.

Самое интересное в этом — не сами события, а аргументы сторон. Пресловутое (и не очень удачное) заявление директора издательства А. Иванова в письме Чернову: «Просим Вас удалить роман «Голубое Сало» с вашего сайта либо согласовать его публикацию с концерном SAAB (Швеция), которая предоставит автомобили, на которых с Вами приедут разбираться», и ответное: «Напоследок только скажу, что по большому счету у Сорокина никаких прав на его текст нет, он не может даже, оставаясь интеллектуально честным, утверждать, что именно он является автором данного текста. Вообще попытки извлечь из своего творчества специальную, а тем более материальную выгоду недостойны и униizerтельны. Творчество рефлекторно и тождественно, например, чиханию или семяизвержению в их необходимости и невозможности их остановить. А если вы еще хотите денег за каждый ваш чих, вы...».

Ну и тому подобное далее — началась большая свалка с участием десятков людей, и в этом шуме высказывались, к примеру, следующие аргументы:

«В таком случае автор и издательство должны потребовать изъятия твердых копий из публичных бумажных библиотек, поскольку это ровно такое же распространение текста, от которого ни автор, ни издатель, ни коллеги последнего на СААБах не получают денег. Если же все эти деятели культуры хотят быть последовательными, то они должны гоняться на СААБах за каждым, кто, купив книжку, дал ее почитать соседу».

Одни люди кричали на других: «У тебя, Чернов, извини, логика скупщика краденого», а другие замечали: «Чернов прав. К сожалению, Сорокин и многие другие авторы, а также их издатели не понимают одного: в сети (особенно RuNete) нельзя оперировать мерками реальности, как то копирайты и прочая дребедень. Им надо привыкать к сети, а не адаптировать новые тенденции под свои закостеневшие рамки».

Все угрожали всем, а некоторые даже так: «Я официально заявляю, что у Иванова не будет возможности трактовать актуальный инцидент как основное выдающееся происшествие в его жизни, ибо жизнь его очень скоро закончится при весьма банальных обстоятельствах».

Сам Сорокин заметил следующее:

«Наверное, русская сеть рано или поздно должна превратиться в эдакую виртуальную Чечню, куда вменяемый человек поостережется соваться. Останутся только Черновы».

Все эти письма активно циркулировали в Сети. Но теперь замаячил на горизонте самый гуманный суд в мире и 146 ст. УК РФ...

Что из всего этого следует?

Да то, что есть прецедент. Есть проблема, которую надо решать здесь и теперь.

Вернемся к тому обстоятельству, которое было названо первым. Оно действительно не имеет четких временных рамок. Это длящийся процесс, который становится все более заметным. Процесс этот — миграция графоманов в Сеть. Сеть чрезвычайно привлекательна для них. Сейчас за 200—300 долларов можно совершенно роскошно издать любые чудовищные стихи. Можно издать любую книгу.

Но за гораздо меньшие деньги можно открыть собственную страничку в Интернете и довольно долго ее поддерживать. Эта страничка будет красива, на ней будет счетчик посетителей, заменяющий понятие тиража.

Как сделать свою страницу посещаемой, в общем, известно. Раньше просто писали в первой строчке: «Секс, наркотики и рок-н-ролл на этой странице не упоминаются». Поиск ведь, который ведет машина, происходит именно по этим ключевым словам, а не по частице «не». В этой шутке есть правда жизни. Самореклама в Сети усложнилась, но она проще, примитивнее и — главное — дешевле, чем это можно представить.

Речь о другом: к сожалению, ни одного текста, написанного собственно для Сети, нет. Художественная литература в Сети отличается чудовищно низким художественным уровнем. Наиболее привлекательными остаются тексты, экспортированные из бумажного, иначе говоря, off-line'ового мира. Удобочитаемые тексты в Сети — это либо очерки, либо эссе в электронной прессе, а то, что пытаются сделать под маркой художественной литературы, до крайности скучно и убого.

И тут мы подходим к самому интересному — изменению стиля.

Мы присутствуем при рождении феномена — сращения в Сети художественной литературы и очерков журналистского плана. Именно они и сетевая эссеистика становятся оппозицией традиционной словесности. Оппозицией тому, что называют художественной литературой, является отнюдь не Маринина. Потому что целевая аудитория, как это модно говорить на ТВ, Марининой совершенно другая. И то, что мы называем, условно говоря, высокой литературой, — это всегда — со времен рыцарских романов — удел примерно 1% человечества. Как во всем мире на протяжении уже нескольких лет только 1% населения пользуется Интернетом.

Впрочем, статистика — лукавая вещь.

Оппозицией творчеству тех писателей, которые писали в «толстые» журналы и издавали нормальным порядком книги, по сути является очеркистика (под очеркистикой я имею в виду как «сетевые», так и «бумажные» актуальные тексты), а не прозаические произведения массовой культуры. Новый стиль этот, переходный между прозой и статьей, был придуман очень давно и иногда ассоциируется с первоначальным вариантом газеты «Сегодня». Другой вехой в становлении этого стиля стал ныне исчезнувший в прежнем виде журнал «Столица».

И вот возникает даже не воинствующая оппозиция, а медленное вытеснение старой традиции. Это связанный художественный текст на любую актуальную тему. Хорошо написанный текст, с грамотными завязкой и развязкой, почти новелла, текст, как правило, именно актуальный. Он короткий, так как должен целиком уместиться на экране компьютера, чтобы его было удобно прочесть. Страница-полторы. Помыслить такие тексты в «толстом» журнале невозможно.

Хотя сборники таких текстов уже появляются в «бумажном» виде и даже номинируются на Букеровскую премию — я имею в виду наличие в коротком списке Малого Букера книги Вячеслава Курицына «Журналистика».

Между тем в русскую Сеть потекли реальные деньги, там стали платить за рекламу. Там стали платить за журналистику. Она стала авторитетным источником информации о книгах и публикациях.

Такой, казалось бы, далекий по стилю от Сети писатель, как Олег Павлов, регулярно выкладывает в Сети свои критические и прозаические тексты.

В Сети возникла система исключительно сетевых литературных изданий, не имеющих «бумажных» аналогов, и, что еще важнее, возникли дискуссии о литературе. Сейчас еще каноны не устоялись, часто нефилтрованные дискуссии мало интересны наблюдателю, но это серьезный фактор отношения к электронному тексту.

Сетевые обзоры журналов, электронные копии самих журналов притягивают тем больше, чем труднее становится получить эти самые журналы в бумажном виде — особенно в провинции.

Все это говорит, что существовавшие параллельно в этом году сетевой и не-сетевой литературные сообщества в ближайшие год-два сольются.

Что касается сетевого издания, конкурирующего с бумажными книгами, то оно остается утопией. По крайней мере ближайшие лет десять технические возможности компьютерной техники не обеспечат такого качества изображения на экранах, такой простоты и дешевизны техники, что мы в одночасье, зайдя утром в вагон метрополитена, обнаружим пассажиров, уткнувшихся в десятки компьютеров, набитых любовными романами и веселой поножовщиной.

### *Следует жить*

Итак, мы меняем год с тремя девятками на год с тремя нулями. Это не означает ровным счетом ничего, кроме влияния оптических свойств этой цифры. Любые изменения в обществе будут лишь наведенными, то есть случившимися в результате массового помешательства по поводу юбилейной даты. В жизни книг, маленьких бумажных зеркал общества, резких изменений не произошло. Их и не ожидается.

Всё нормально.



## 100-летие конца века

Ранним холодным утром декабря 1899 года в кронштадтском Андреевском соборе шла литургия. На клиросе протоиерей Иван Ильич Сергиев, прозванный в народе Иоанном Кронштадтским, пел канон, дирижируя небольшим хором причетников. Манера пения отца Иоанна неизменно поражала всех, кто видел и слышал его впервые, и многим решительно не нравилась. Он резко взмахивал руками, повышал голос в самых неожиданных местах и с таким юношеским вдохновением исполнял привычные ирмосы и тропари, что не только часть высшего духовенства, но даже и некоторые сельские батюшки находили это неприличным для настоятеля.

Однако простой народ любил его наивно и не рассуждая. Одной заочной молитвой отца Иоанна было достаточно, чтобы исцелить безнадежно больного, — слухами об этом полнилась вся Россия, и не было в ней места, где не слышали бы о живом святом праведнике и чудотворце из Кронштадта.

Литургия подходила к концу. Началась общая исповедь. Отец Иоанн сказал строго:

— Те, кто пришел сюда в надежде скорого раскаяния и избавления от всех сомнений и тягости душевной, которые всегда есть свидетельство наших бесчисленных грехов, не просто глубоко заблуждаются, но и по совести не должны причащаться Святых Тайн, ибо они к этому еще не готовы. Только во времена Спасителя было легко каяться — пришел, поклонился в ноги Христу, вылил перед Ним всю душу, оросил слезами Его стопы и сразу получил облегчение и прощение грехов. Разбойник, сказавший на кресте: «Помяни мя, Господи, во Царствии Твоем», — в мгновение ока был исповедан и спасен и «ныне же» оказался в Раю. Но не сравнивайте с ним. Он усладил своей верой последние минуты Богочеловека, когда Он был окружен гонителями, когда Его природа человеческая невыносимо страдала. Вы же должны ежедневно каяться, ежедневно плакать и обещать более не грешить...

В старческом, надтреснутом голосе отца Иоанна было что-то электрическое. В громадном храме, где собралось около пяти тысяч народа, стало душно, как перед грозой. Наконец раздалась первая рыдания. Священник продолжал:

— Я сам, грешный, каждый день молю Господа простить мои беззакония. Я помолюсь о вас, но и вы помолитесь обо мне...

— Куда нам до тебя! Ты за нас помолись!

— Каетесь ли вы? Обещаете ли стараться не грешить?

— Грешны, батюшка! Каемся! Молись о нас!

Отец Иоанн поднял епитрахиль поверх тысяч голов, сказал необходимые слова о прощении грехов и стал причащать. Помогали ему ключарь Андреевского собора протоиерей Попов и дьякон, державшие серебряную чашу со Святыми Дарами.

Началась страшная давка. Десятки жандармов со специально приготовленными решетками бросились в толпу устраивать очередь. Их затолкали. Люди спотыкались о решетки, запутывались в них ногами и валили жандармов на пол.

Во время таких служб бывали жертвы. В лучшем случае люди отделялись ушибами и переломами, но были и смертельные исходы, о которых потом много писали в газетах и сплетничали в обществе. Однажды чуть насмерть не задавили и самого Кронштадтского, полиции тогда пришлось с помощью сабель вызволять отца настоятеля из обезумевшей от любви к нему многотысячной толпы. Говорили, что он тяжело переживал такие истории, но ничего поправить в своей роли главного все-русского батюшки не мог... или не хотел.



Почему-то именно такая картинка, сконструированная мной из различных воспоминаний и свидетельств конца прошлого века, представляется мне наиболее символической не только для того времени, но и для нашего тоже. Казалось бы, XX век должен был рассеять последние иллюзии людей относительно возможности чуда, заставить их верить только в собственные силы. Ничуть не бывало! XX век насыщен мистикой до предела. Если что и развеял XX век, то это гуманистический идеал, то есть веру в то, что «человек звучит гордо».

И опять, как в конце прошлого века, русские люди ощущают себя на пороге... неизвестно чего. Кажется, пройдет год, с ним — век, с ним — тысячелетие, и мы тотчас освободимся от какого-то тяжелого душевного груза, получим отпущение всех грехов, «ныне же» окажемся в раю. Старая проповедь Иоанна Кронштадтского до сих пор большинству из нас сложна и непонятна.

XX век развеял многие иллюзии, но не поколебал одной — веры в то, что жизнь может мгновенно измениться к лучшему. Как-то так сложатся звезды, победит какой-то правитель и проч. Самым тяжелым потрясением для нас будет то, что первый год нового тысячелетия окажется почти *таким же*, как и старый, только *навверняка еще тяжелее*. И уже не будет никакой лазейки для сознания: мол, что ж, конец века, конец тысячелетия... Потерпим еще немного... Еще совсем, совсем немного.

Впрочем, в запасе целый год. Почти со стопроцентной уверенностью можно сказать, что наиболее лакомой темой 2000 года будет обсуждение вопроса, какой год считать первым в новом тысячелетии. Разумеется, не 2000-й, а 2001-й. Стало быть, подождем еще год, потерпим еще год. И уж тогда поднимем бокалы, содвинем разом.

Словно нарочно, канонизация отца Иоанна Кронштадтского приходится на 2 января. Это именно тот день, когда страна начинает отходить после новогодней праздничной лихорадки, когда начинаешь ощущать себя в новом году.

Когда становится еще тяжелей, сложнее и тревожней, чем в прошлом году. На экранах те же самодовольные идиоты, а в троллейбусах те же несчастные и беспомощные граждане.

В этот день хорошо пойти в церковь. И вспомнить там о старой проповеди отца Иоанна Кронштадтского, которую он любил в разных версиях повторять: «Те, кто пришел сюда в надежде скорого раскаяния и избавления от всех сомнений и тягости душевной... не просто глубоко заблуждаются, но и по совести не должны причащаться Святых Тайн, ибо они к этому еще не готовы».



## ***В несколько строк***

**Владимир НАБОКОВ. КОММЕНТАРИИ К «ЕВГЕНИЮ ОНЕГИНУ» АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА. М., НПК «Интелвак», 1999. Тир. 11 600 экз.**

Того, может быть, не желая, внезапно мы очутились перед провалом: конец эпохи, конец века и конец тысячелетия. И потому какие-либо оценки, умозаключения бессмысленны; во-первых, им еще не вышло время, а во-вторых, они попросту неуместны, ибо вряд ли что-то изменят; сначала надо занять более устойчивое положение и лишь затем выносить вердикты. А потому сравнения и даже случайные совпадения сейчас значительней любых оценок. Забавно, когда на книжной полке встают рядом комментарии к пушкинскому роману, выполненные снобом и эстетом В. В. Набоковым, и комментарии, составленные Ю. М. Лотманом, человеком, нарочито травестировавшим собственный образ. При всей обстоятельности труды эти куда меньше говорят о пушкинском творчестве, чем о творчестве их составителей. А уж то, что редактора набоковского фолианта величают Татьяна Ларина, переводит ситуацию в ранг абсурдизма либо постмодернизма (как кому угодно).

**Мишель САНУЙЕ. ДАДА В ПАРИЖЕ. М., Научно-издательский центр «Ладомир», 1999. Тир. 2000 экз.**

У режиссера Жана Люка Бенекса в его превосходном фильме «Дива» есть некий персонаж: лицо, отмеченное вырождением, на голове наушники от плеера. Когда этот персонаж никого не убивает, просто слушает некую, скрытую ото всех музыку, наслаждение захлестывает его. И в течение всего фильма зрители изнывают от любопытства: какую такую необыкновенную музыку слушает этот дебил? И вот в самом конце мертвый персонаж падает, наушники с его головы сваливаются, и раздается мелодия, которой дебил наслаждался. Незатейливость ее — кажется, это какой-то популяризованный Бетховен — потрясает. Все. Механизмы сознания обнажены, вывернуты наизнанку. Точно так же произошло с дадаизмом. Детективно-авантюрная история его завершилась. Началась эпоха объемистых монографий (хороши они или плохи — не важно, очевиднее всего, если хороши). Открылась темная, зияющая пустота, не заполненная ничем. Тут уместно и другое сравнение — именно такую пустоту видит ребенок, оторвавший голову картонной лошадке.

**ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ИСТОРИЯ МИРОВОГО ТЕАТРА. М., БММ АО, 1999. Тир. 3000 экз.**

Под иллюстрациями авторы монографии, вышедшей несколько лет назад в Англии на языке оригинала, подразумевают не одни картинки, но тексты, будь то воспоминания свидетелей событий, старые афиши либо рекомендации актерам, собирающимся разыграть какую-нибудь пьесу. Впрочем, иллюстрациями служат и собственно картинки, и, взглядывая в них, можно прийти к неожиданным сопоставлениям. Так, на гравюре, запечатлевшей спектакль театра кабуки, видны блюда с едой, которую прихватили с собой зрители. А в театре «Летучая мышь» зрители устраивались за длинным столом и тоже закусывали во время спектакля, но ели не домашние припасы, а купленное в театральном буфете. Авторы монографии понимают, что подобные мелочи и характеризуют исторический период.

**Зинаида ГИППИУС. ДНЕВНИКИ. В 2-х книгах. Кн. 1 и 2. М., НПК «Интелвак», 1999. Тир. 5000 экз.**

Возможно, дневники эти представляют интерес и сами по себе, но куда большую ценность они имеют как свидетельство эпохи. Следует лишь учитывать, что хорошо изданных и откомментированных свидетельств одной из сторон в последнее время появилось немало, а вот мнение стороны противоположной едва ли не совсем списано со счетов. Между тем дневники Вс. Иванова или мемуары В. Шкловского, написанные по следам событий, столь же любопытны, как дневники З. Гиппиус, да и повествуют они часто о тех же событиях, но увиденных под иным углом.

**Л. ДОБЫЧИН. ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ И ПИСЕМ. СПБ., «Журнал “Звезда”», 1999. Тир. 2000 экз.**

Перелистывая эту книгу, опять убеждаешься, что Л. Добычин — писатель не такой крупный, как привыкли его представлять. И уж тем более неверно было бы

видеть в нем жертву режима. В основе его трагедии добычинский взгляд на мир. Маргиналы гибнут при любом режиме, и тоталитарном, и насквозь демократическом, они — по определению — существуют на самом краю.

**Димитрий Александрович ЛЕВИЦКИЙ. ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ АРКАДИЯ АВЕРЧЕНКО. М., 1999. Тираж не указан.**

Монография эта признана образцовой, более того, считается, что это одна из лучших книг, изданных в эмиграции. И действительно, написанная замедленным, чуть архаизированным языком, книга не похожа на привычные литературоведческие работы, при том, что она переполнена фактами, часто введенными автором в научный оборот. И вовсе для нас непривычно истинное уважение ученого к выбранному им герою, которым окрашена каждая строка.

**Умберто ЭКО. ОСТРОВ НАКАНУНЕ. СПб., «Симпозиум», 1999. Тир. 10 000 экз.**

Безотказно срабатывающий механизм массовой культуры: автор пишет все хуже, а успех его у читателей все выше. Дурно сочиненный роман аудитория принимает за интеллектуальную, специально затрудненную прозу, и это ей льстит. Между тем закон неременен: хорошая книга не может быть скучной. Но читатели в подобном случае, сами не отдавая себе отчета, выступают как потребители, им нужна не книга, им достаточно знака, что перед ними книга, неудобочитаемость кажется им непременным атрибутом высокоумного чтива.

**Александр КАРТАШОВ. ТРИПТИХ: ТЫ. ОБЕРЕГ. ЛЕГЕНДА. (Б. м.), издательство «Шар», (б. г.). Тир. 1000 экз.**

Автор прекрасно изданных поэтических книг — известный тульский художник, и, как раз памятуя об этом, следует читать его стихи. В них довольно причудливо чередуются зрительное и вербальное восприятие мира.

Вянет день. Арабски растений  
Повторяют узоры оград.  
Под апсиды персидской сирени  
Входят тени в заброшенный сад.

Сирень, и верно, похожа на арабски, но пространственный образ подкреплен словесным, автор упоминает не просто сирень, — сирень персидскую. Так же на выполненных автором иллюстрациях рисунок пересечен стихотворными строчками, и из сопряжения зрительных и вербальных координат рождается своеобразная «роза мысли». Может быть, именно потому А. Карташов назвал свой триптих «Крестоцвет».

**ФРАНЦУЗСКАЯ ГОТИЧЕСКАЯ ПРОЗА XVII—XIX ВЕКОВ. М., Научно-издательский центр «Ладомир», 1999. Тир. 2500 экз.**

Довольно спорные рассуждения автора вступительной статьи о том, что же такое готическая проза, искупаются произведениями, объединенными в сборнике. Хотя и тут вероятно сомнение: и Бальзак, и Мопассан, и Гюлье переводились в России очень широко и в отличие от Бореля либо Казота, также здесь представленных, ни в коем случае не воспринимаются как сочинители, работающие в готическом жанре. Мнению исследователя противоречат сами тексты, точнее, тональность творчества того или иного писателя.



## ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Уважаемый господин Ананьев!

Прошу Вас опубликовать некоторые поправки к воспоминаниям Б. Н. Лесняка о В. Т. Шаламове (1994, № 4).

Б. Н. Лесняк утверждает, что В. Т. Шаламов находился в больнице Беличьей два с половиной года. Это — естественное невнимание к доходяге «лагерных богов» — главного врача Н. В. Савоевой и фельдшера Б. Н. Лесняка. У Лесняка в памяти слились два пребывания в больнице Шаламова, перемежаемые работой в угольных забоях, доплыванием, голодом, холодом. Осенью 1943 г. Шаламов лежит в палате врача П. С. Калембета недолго — в декабре 1943 г. он уже на прииске «Спокойном».

«В моем характере нет услужливости. Поэтому я не мог стать хорошим санитаром, хотя возможность к этому была. И понимая, что ненависть моя сильнее меня, я и не пытался сделать карьеру санитаря» (Воспоминания В. Шаламова. «Знамя», 1993, № 4, с. 158).

Снимать сапоги с пьяного фельдшера — на это не всякий способен, и Шаламов не способен. Это к вопросу о «нелюбви» Шаламова к физическому труду. Не совсем корректно со стороны людей, имевших прислугу (дневального), как главврач Н. В. Савоева и фельдшер Б. Н. Лесняк, рассуждать о нелюбви лагерного доходяги к труду.

На прииске «Спокойном» Шаламов встретил конец войны. Но летом 1945 г. попал на Беличью опять. «Атомную бомбу и конец войны с Японией я встретил в должности культорга больницы Беличьей. Это было, пожалуй, самое счастливое мое колымское время» (там же, с. 160).

Но уже осенью 1945 г. Шаламов — на ключе Алмазном, а потом — в штрафной зоне «Джелгала» (за побег). Так что двух с половиной лет «нагуливания мяса» никак не получается.

Хотелось бы также в подробных и оснащенных ссылками на справки воспоминаниях Лесняка увидеть описание его визита в Магаданское Управление КГБ 15 мая 1971 г. Как же он упустил такую сенсационную подробность?

Туда он и отдал все имевшиеся у него экземпляры рассказов Шаламова, заботливо осведомив заинтересованных лиц об имени и адресе автора.

10 ноября 1971 г. он покаялся в этом В. Т. Шаламову («Знамя», 1995, № 6, с. 158).

Варлам Тихонович написал «Вставную новеллу» об этом эпизоде, заменив имя Лесняка на «Гусляка» в память о Беличьей (ЛГ, 1993, 8.09).

Вот этот прискорбный эпизод и был причиной разрыва отношений «Моего Шаламова» с Б. Н. Лесняком.

*С уважением И. СИРОТИНСКАЯ*

Меня познакомили с Вашим письмом, Ираида Павловна. Удивляюсь, с чего бы Вы вернулись к моему очерку о Шаламове?! Отрывки из него напечатаны впервые еще десять лет назад. Когда-то нас поссорило слово «донос». Теперь Вы вновь на меня нападаете, уже средствами, недостойными интеллигентного человека, каковым я считал Вас! Почему позволяете себе оскорбительный тон по отношению ко мне и тем более к Н. В. Савоевой, выходявшей, вынынчившей Шаламова, после чего он никогда больше не держал лопаты в руках? Два года и два месяца прятала Савоева Варлама от глаз начальников. Это подтверждают документы архива МВД. Думаю, что благодаря ее усилиям мир читает сейчас «Колымские рассказы» Шаламова. Зачем Вы пустили в письмо бог знает что, не имеющее отношения ни ко мне, ни к моим воспоминаниям?

Ответ на обвинения, высказанные Вами, Вы и читатель найдете в главе «Испытание страхом» моей книги «Я к вам пришел!», продающейся сейчас в московских книжных магазинах.

Вы сравниваете мое сухое документальное повествование с «новой прозой» Шаламова, принципы которой Варлам перенес и в свою биографию. В Вашем письме нет ни одного факта. Вы не были с нами в нашем несчастье, не являетесь даже свидетелем.

То, что Савоева и я сделали для Шаламова в «его самые трудные египетские дни и ночи», продиктовано нашей профессией, человечностью и гражданским долгом. Это относилось не только к Шаламову.

*Борис ЛЕСНЯК*

# Содержание журнала «Октябрь» за 1999 год

## ПРОЗА

АНАНЬЕВ Анатолий. <b>Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России.</b> Версии, основанные на истори- ческих свидетельствах, фактах и документах. Книга третья. X 3	КРАКОВСКИЙ Владимир. <b>Один над нами рок.</b> По- весть. VIII 3	ПЬЕЦУХ Вячеслав. <b>Русские анекдоты.</b> V 83
АЛЕШКИН Петр. <b>Два рас- сказа.</b> VII 76	КРУСАНОВ Павел. <b>Три рас- сказа.</b> IV 78	ПЬЕЦУХ Вячеслав. <b>Дневник читателя.</b> XI 105
БАБАЯН Сергей. <b>Письма чи- тателей.</b> Рассказ. IV 60	КРУСАНОВ Павел. <b>Укус ан- гела.</b> Роман. XII 41	ОТРОШЕНКО Владислав. <b>Приложение к фотоальбому.</b> Роман. II 3
БЫКОВ Ролан. <b>Дочь болот- ного царя.</b> Киносказка. Предисловие Леонида Филатова. XI 68	КРЫШТАЛЬ Олег. <b>Даже молча мы кричим...</b> Фраг- менты из книги. VI 89	РОШИН Михаил. <b>Камера Му- хина.</b> Рассказ. V 120
БУЙДА Юрий. <b>Последний.</b> Рассказы. V 97	ЛЕВИТИН Михаил. <b>Чешский студент.</b> Повесть. VI 43	СОЛОУХ Сергей. <b>Новые кар- тинки.</b> VIII 105
ВАРЛАМОВ Алексей. <b>Купол.</b> Роман. III 3	МАКАРОВ Анатолий. <b>Каки- ми вы не будете.</b> Рассказ. III 97	ФЕРЕ Георгий. <b>Три разбойни- ка с большой дороги.</b> Русская народная святочная сказка. XII 122
ВАСИЛЬЕВА Светлана. <b>Песнь странствий.</b> XII 102	НАЙМАН Анатолий. <b>Любов- ный интерес.</b> Роман Фраг- мент Романа. I 3	ХАЗАНОВ Борис. <b>Два рас- сказа.</b> V 64
ВИШНЕВЕЦКАЯ Марина. <b>Цветок маренго.</b> Рассказ. VIII 98	НАЙМАН Анатолий. <b>Статуя командира.</b> Рассказ. VI 70	ШКЛОВСКИЙ Евгений. <b>Рас- сказы.</b> VII 89
ГОЛЯВКИН Виктор. <b>Три рас- сказа.</b> Предисловие Анатолия Наймана. II 109	НАЙМАН Анатолий. <b>Непри- ятный человек.</b> Роман Фрагмент Романа. IX 3	ЮРСКИЙ Сергей. <b>Западный экспресс.</b> V 38
ГОСТЕВА Анастасия. <b>Поте- рянная фотопленка.</b> Рас- сказ. X 128	НАХАПЕТОВ Родион. <b>Влоб- ленный.</b> II 51	IX 72
КАНОВИЧ Григорий. <b>Шелест срубленных деревьев.</b> Не вы- мышленная повесть. VII 3	ПАВЛОВ Олег. <b>Эпиграфия.</b> Вольный рассказ. I 74	
КАНТОР Владимир. <b>Радио- приемник.</b> Рассказ. X 121	ПАВЛОВ Олег. <b>Запой, или Сказка о последнем казаке.</b> Рассказ. V 78	
КЛЕХ Игорь. <b>Смерть лесни- чего.</b> Повесть. III 59	ПАВЛОВ Олег. <b>Школьники.</b> Повесть. X 95	
КЛИМОНTOBИЧ Николай. <b>Последняя газета.</b> Роман. XI 3	ПЕТРОВ Григорий. <b>Родо- словное древо.</b> Рассказы. IX 112	
КОКОВКИН Сергей. <b>Мара- фон.</b> Рассказ. XI 145	ПЕТРУШЕВСКАЯ Людмила. <b>Лабиринт.</b> Рассказы. V 10	
КОСТЮКОВ Леонид. <b>О сча- стливой любви.</b> Рассказ. IX 101	ПОЛЯНСКАЯ Ирина. <b>Плач- карта.</b> Рассказ. VIII 116	
	ПОПОВ Евгений. <b>Три песни о перестройке.</b> Спрологом, эпи- логом и эпиграфом. I 56	
	ПОПОВ Евгений. <b>Новая ат- мосфера.</b> Рассказы. V 109	
		<b>Новые имена</b>
		ОРЛОВА Тамара. <b>Муза.</b> Рас- сказ. * НЕНЫТЬЕВА Нани- ша. <b>Белое поле.</b> Стихи. * ПАСТЕРНАК Аркадий. <b>На деревню к дедушке.</b> Рас- сказ. * РУДНЕВ Геннадий. <b>От снега до снега.</b> Стихи. * МАКАРОВА Людмила. <b>Мар- мазетка.</b> Мартовская за- рисовка. * КОРОБОВ Ми- хаил. <b>Дебильная сумка маде- ин Джарен.</b> Рассказ. * САКСОН Леонид. <b>Покину- тые острова.</b> Стихи. XII 3
		<b>Нечаянные страницы</b>
		БАСИНСКИЙ Павел. <b>Граж- данин мира.</b> Исповедь патри- ота. IV 96

КРЕЛИН Юлий. **«В начале было Слово».** Глава из книги воспоминаний.

X 163

СЫСЮЕВА Лариса. **Берлинские эпохалки.** Предисловие Евгения Попова.

XII 132

ХАЗАНОВ Борис. **Понедельник роз.**

X 133

ЯКОВЛЕВ Александр. **А мы едем за туманом...**

III 118

### Искусство перевода

Загадки Альбиона. Вступление и перевод с английского Л. Володарской.

I 107

Примириться душа не может... Стихи Д. Г. Россетти в переводах Т. Кладо. Вступление и публикация Л. И. Володарской.

XI 153

### ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ПЛАТОНОВ Андрей. **«Жить ласково здесь невозможно...».** Публикация М. А. Платоновой. Вступительная статья Н. Корниенко. Подготовка текста Е. Антоновой, М. Гах, О. Капельницкой, Н. Корниенко, Н. Малыгиной, Л. Суматохиной, Е. Шубиной, Е. Яблокова.

II 119

ПЛАТОНОВ Андрей. **Война. Товарищ пролетариата.** Рассказы. Публикация М. А. Платоновой. Вступление Д. С. Москвоской. Подготовка текста и примечания Д. С. Москвоской, Е. А. Рожнецовой.

VII 101

### ПОЭЗИЯ

АНДРОНОВА Татьяна. **Безымянная свобода.**

IV 3

ЗАГОТОВА Светлана. **Шелковый путь.**

VIII 52

КРАСНИКОВ Геннадий. **На декабрьском причале.**

XII 99

КУЧКИНА Ольга. **Жизнь проливается, как вода...**

III 94

МОРИЦ Юнна. **На случай отравления надеждой.** Стихи. Эссе.

V 4

МЫСЛИЦКИЙ Феликс. **Три стихотворения.**

XII 130

НАЙМАН Анатолий. **Полет пчелы.**

II 45

НАУМОВА Елена. **Между небом и землей.**

XI 63

ОТРОШЕНКО Владислав. **Пасхальные хокку.**

V 61

ПОЛИЩУК Дмитрий. **Новые стихи.**

I 53

ПУРИН Алексей. **Вечные фавулы.**

X 92

ПУЧКОВ Владимир. **Четыре стихотворения.**

III 116

ПУХАНОВ Виталий. **Мерцает, высится изъям...**

IX 68

РИЗДВЕНКО Татьяна. **Ночь выныривает в утро...**

IX 98

САЛИМОН Владимир. **Веселые плясуны.**

III 55

ФИЛАТОВ Леонид. **Возмутитель спокойствия.** Авантюрная комедия в двух частях по мотивам одноименного романа Леонида Соловьева.

VI 3

VII 44

### ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

БАТКИН Леонид. **Тягостные заметки.**

III 135

БУРТИН Юрий. **Три Ленина.** Нэп в свете теории конвергенции. Окончание.

I 127

ВЯЛЫЦЕВ Александр. **Русский формат в конце века.**

I 154

ГОРЕНШТЕЙН Фридрих. **Под звездами балканскими (балканский кошмар).**

VI 143

К 90-летию выхода в свет сборника «Вехи». Александр СКИДАН. **Прослойка.\*** Павел КУЗНЕЦОВ. **Сироты-отцеубийцы, или Рожденные от идеи: постскриптум к трагедии интеллигенции.\*** Александр СЕКАЦКИЙ. **Тайна Кашея Бессмертного.**

VI 152

КАНТОР Владимир. **Умирал ли дракон? От советского к постсоветскому насилию.**

II 154

КЛЕХ Игорь. **Поезд № 2.** Путевой очерк.

XI 159

ЛИСИЧКИН Геннадий. **Ловушка для реформаторов.**

VII 145

МЕЛИХОВ Александр. **Если соль перестанет быть солевой.**

IV 171

МЕЛИХОВ Александр. **Привика невозможного.**

XII 163

РАЙКИНА Марина. **Москва закулисная.**

VIII 140

СЕКАЦКИЙ Александр. **Рабы немцы.**

VIII 136

СЕКАЦКИЙ Александр. **Искусство и диверсия.**

X 166

СУКОНИК Александр. **Театр одного актера.** Выбранные места из переписки.

III 142

ФЕРЕ Георгий. **Граид-опера ориенталь советик.**

IX 146

ХОЛМОГОРОВ Михаил. **Путешествие по воду.**

VIII 157

### ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

ПРИШВИН Михаил. **Дневник 1923 года.** Публикация и примечания Я. Гришиной. Вступление Я. Гришиной и Н. Полтавцевой.

VIII 121

### Галерея

ВУЛЬФ Виталий. **Ангелина Степанова в конце века.**

XI 134

**Чувство и речь.** К 80-летию Александра Володина.

Сергей ЮРСКИЙ. **Попытка монолога.\*** На шаре тесняком столпились мы... Беседа с А. Володиным.\* Александр ВОЛОДИН. **Стихи разных лет.**

I 87

### «Бывают странные сближения...»

МИХАЙЛОВА Наталья. **«Об Онегине далеко...».** Английская киноверсия русского романа.

XI 178

ПИСИГИН Валерий. **Две доро-  
гоги.**  
IV 130  
V 135

### Северное измерение

АЛЕШКОВСКИЙ Петр. **Раз-  
картошка, два картошка.**  
I 160  
КРАВЦОВ Константин. **Цвет  
мерзлоты.**  
IX 134

### Переписка по Цельсию и Фаренгейту

ГРИЦМАН Андрей. **Симпо-  
зион, или Пир искусств.** Рус-  
ские художники в Париже.  
IX 142

### Год как век

Рубрику ведет Евгений ПЕРЕ-  
МЫШЛЕВ.  
II—XII

### ВОСПОМИНАНИЯ, ДОКУМЕНТЫ

«Если бы можно было иметь  
ключ от сердца...». Переписка  
Алексея Лосева с Ольгой По-  
зднеевой. Вступление Елены  
Тахо-Годи. Подготовка текста  
и публикация А. А. Тахо-Годи.  
VI 111

КОВАЛЬ Юрий. **Монохрони-  
ки.** Публикация Натальи Ко-  
валь. Вступление и подготов-  
ка текста Юлия Файта.  
VII 101

ЛЕСНЯК Борис. **Мой Шала-  
мов.**  
IV 111

МОШКОВСКИЙ Анатолий.  
**Георгий, сын Цветаевой.**  
III 130

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

АЗАРОВА Н. И. **Пушкин-  
ский роман Льва Толстого.**  
IX 177

АФАНАСЬЕВ Сергей. **Игорь  
Иртеньев — зеркало русской  
капиталистической револю-  
ции.**  
IV 184

БЕРЕЗИН Владимир. **Всё  
нормально.**  
XII 178

ВЛАСЕНКО Алексей. **Кате-  
гория «ужасного» в эстетике  
Волошина.** Культурологиче-  
ский этюд.  
IV 178

ВОЛГИН Игорь. **От «Октяб-  
ря» до «Октября».** Записки  
конформиста.  
V 176

ГАНДЕЛЬСМАН Владимир.  
**Подтверждающий эпитет.**  
VIII 169

ГАЧЕВ Георгий. **Слово и  
Власть.**  
VIII 179

ГРИЦМАН Андрей. **«...Мы  
входим — я и тень моя».** Набо-  
ков в Монтрё.  
VIII 174

КЛЕХ Игорь. **В огне не горит,  
но тонет в воде.**  
X 186

КОБРИН Кирилл. **Исповедь в  
двух частях.\* Дневник тридца-  
тирехлетнего, или Около  
того.**  
V 180

МАЛЫГИНА Нина. **Поворо-  
ты американского сюжета  
Андрея Платонова.**  
VI 168

МЕЛИХОВ Александр. **«Со-  
страшной жадой песнопен-  
ня...».** К 185-летию со дня  
рождения М. Ю. Лермонтова.  
X 179

ПЕРЕМЫШЛЕВ Евгений.  
**Хрипатый классик, или Мы в  
очереди первыми стояли.**  
V 187

ПОРУДОМИНСКИЙ Влади-  
мир. **Педагогическое путеше-  
ствие.**  
IX 158

ХАЗАНОВ Борис. **Дневник  
сочинителя.**  
I 176

ЯКОВЛЕВ Александр. **Чисто  
литературные мечтания.**  
VIII 185

### Панорама

Сергей ФЕДЯКИН. **Быть са-  
мим собой** (Олег Павлов.  
Степная книга. Повествова-  
ние в рассказах).\* Н. ЛУ-  
КАС. **Единственная новость**  
(Игорь Померанцев, NEWS.  
Стихи. Проза).\* Владимир  
КИВЕРЕЦКИЙ. **Письмо в  
редакцию.\* Петр КИРИЛ-  
ЛОВ. Водяные знаки красо-  
ты** (Владимир Гандельсман.  
Долгота дня).\* Павел ГУРЕ-  
ВИЧ. **Свобода или произвол?**  
(Владимир Кантор. «...Есть

европейская держава». Рос-  
сия: трудный путь к цивили-  
зации).

III 161  
Алексей ВАРЛАМОВ. **Двести  
граммов российского сыра**  
(Каролина Де Магд-Созп.  
Юрий Трифонов и драма рус-  
ской интеллигенции).\* Дмит-  
рий БАК. **«Куда меня ты, сло-  
во, завело?..»** (Василь Стус.  
Твори [Сочинения]).\* Олег  
ПАВЛОВ. **Детский рай**  
(Александр Яковлев. Пешком  
из-под стола).\* Елена ОЗ-  
НОВКИНА. **Случайный ки-  
нематограф жизни** (Сергей  
Каледин. На подложке золо-  
той).\* Александр ЛЮСЫЙ.  
**По Пушкинскому завету** (Ми-  
хаил Шульман. Набоков, писа-  
тель: манифест).

VII 176  
М. АБАШЕВА. **Эпилог и он**  
(«Вольные рассказы» Олега  
Павлова).\* Валерий ЧЕРЕШ-  
НЯ. **Смертный Эдип** (Влади-  
мир Гандельсман. Эдип).\* Ген-  
рих ЛЯТИЕВ. **56-й том СС**  
(В. И. Ленин. Неизвестные до-  
кументы. 1891—1922).\* Алек-  
сандр ЛЮСЫЙ. **Буддизм по-  
русски** (Олег Шишкин. Битва  
за Гималаи. НКВД: магия и  
шпионаж).

XI 178

### Русское поле

КУРИЦЫН Вячеслав.  
III 184  
VII 185

### В стиле реплики

МЕЛИХОВ Александр. **За-  
чем нужны премии?**  
VIII 187

ПАВЛОВ Олег. **О бедной  
«Nomenklatur'e» замолвите  
слово.**  
IX 187

### «Это светлое имя — Пушкин»

ШУЛЬМАН Эдуард. **Веселое  
имя.**  
II 170

КОБРИН Кирилл. **Волокита  
и завистник.**  
II 184

КОБРИН Кирилл. **Полтава.  
Клад. Сон.**  
VI 186

По страницам Онегинской энциклопедии. Вступление и составление Н. И. Михайловой.

III 169  
VI 176

### *Мелочи жизни*

БАСИНСКИЙ Павел. Выйти из круга.

I 189

Проплаченная культура.

II 188

Перемелется — мука будет?

III 188

О понимании.

IV 188

Не плачь, не жалуйся, не про-  
си.

V 188

Вымысел и Промысел.

VI 189

А слон идет...

VII 188

Победители и побежденные.

IX 189

«Какой черт сидел во мне...»

X 188

Авгиевы конюшни.

XI 189

100-летие конца века.

XII 184

### *В несколько строк*

Рубрику ведет Б. ФИЛЕВ-  
СКИЙ.

I—XII



По итогам конкурса на соискание стипендии **Альфа-банка** и **Московского Литфонда** для поддержки литераторов, работающих над новыми произведениями, экспертная комиссия, состоящая из представителей ведущих литературно-художественных журналов, приняла решение присудить 15 стипендий следующим писателям: Инне БЕРНШТЕЙН, Наталье ВАНХАНЕН, Алексею ВАРЛАМОВУ, Игорю ВИНОГРАДОВУ, Игорю ВОЛГИНУ, Людмиле ВОЛОДАРСКОЙ, Борису ЕВСЕЕВУ, Николаю КЛИМОНТОВИЧУ, Кириллу КОВАЛЬДЖИ, Владимиру РОГОВУ, Михаилу РОЩИНУ, Леониду СИТКО, Юрию СУРОВЦЕВУ, Семену ФРЕЙЛИХУ, Михаилу ХОЛМОГОРОВУ.



В канун Нового года  
редакция журнала «Октябрь»  
благодарит всех авторов за сотрудничество.

***Почетным упоминанием***

мы хотим отметить писателей, чьи произведения украсили  
страницы нашего журнала в 1999 году:

***Ролан Быков*** Дочь болотного царя киносказка. ***Алексей Варламов***  
Купол роман. ***Григорий Канович*** Шелест срубленных деревьев  
повесть. ***Игорь Клев*** Смерть лесничего повесть. ***Юрий Коваль***  
Монохроники. ***Владимир Краковский*** Один над нами рок повесть.  
***Алексей Лосев*** Переписка с Ольгой Позднеевой. ***Олег Павлов***  
Школьники повесть. ***Вячеслав Пьецух*** Дневник читателя. ***Борис***  
***Хазанов*** Понедельник роз. ***Сергей Юрский*** Западный экспресс.

***Петр Алешкин*** рассказы. ***Юрий Буйда*** Последний рассказы. ***Виктор***  
***Голявкин*** рассказы. ***Марина Вишневецкая*** Цветок маренго рассказ.  
***Людмила Петрушевская*** Лабиринт рассказы. ***Ирина Полянская***  
Плацкарта рассказ. ***Евгений Попов*** Три песни о перестройке  
рассказы. ***Михаил Роцин*** Камера Мухина рассказ.

***Александр Володин*** Чувство и речь стихи и беседа. ***Юнна Мориц***  
На случай отравления надеждой стихи, эссе. ***Владимир Салимон***  
Веселые плясуны стихи. ***Леонид Филатов*** Возмутитель  
спокойствия авантюрная комедия в стихах.

***Павел Басинский*** цикл эссе Мелочи жизни. ***Леонид Баткин***  
Тягостные заметки статья. ***Игорь Волгин*** Записки конформиста.  
***Виталий Вульф*** Ангелина Степанова в конце века статья.  
***Фридрих Горенштейн*** Под звездами балканскими статья.  
***Владимир Кантор*** Умирал ли дракон? статья. ***Кирилл Кобрин***  
цикл статей.

*Премий журнала «Октябрь»  
за 1999 год удостоены:*

**Николай Климонтович**

«Последняя газета»

роман

№ 11

**Анатолий Найман**

«Любовный интерес» и «Неприятный человек»

роман фрагмент романа

№№ 1, 9

**Владислав Отрошенко**

«Приложение к фотоальбому»

роман

№ 2

**Татьяна Андропова**

«Безымянная свобода»

цикл стихов

№ 4

**Мария Платонова**

*и авторский коллектив: Е. Антонова, М. Гах, О. Капельницкая, Н. Корниенко,  
Н. Мальгина, Д. Московская, Е. Рожнецва, Л. Суматохина, Е. Шубина,  
Е. Яблоков*

за публикацию литературного наследия **Андрея Платонова**

№№ 2, 7

**Наталья Михайлова**

*и авторский коллектив: Е. Агеева, А. Аникин, В. Баевский, С. Белехова,  
В. Викторович, Л. Волосатова, Е. Вольская, Е. Гречаная, Г. Гуменная,  
Д. Гуревич, Л. Ивченко, А. Илюшин, В. Кошелев, Г. Краснов, А. Кулагин,  
Н. Марченко, М. Михайлов, А. Наумов, В. Невская, А. Невский, Н. Нечаева,  
Л. Певзнер, А. Песков, Е. Пономарева, Е. Потемина, С. Романюк, Е. Сгробнева,  
М. Строганов, М. Супоницкая*

за публикацию «Онегинской энциклопедии» 1995—1999 гг.

**Премия «Дебют»**

**Павел Крусанов**

«Укус ангела»

роман

№ 12